

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (422)

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Вечеслав Казакевич. «Славно было читать вместе с вьюгой...» *и др.* 3
Мария Ватутина. «В дни, когда Бог открывает свои склады...» *и др.* 89
Виталий Пуханов. «Мы тихарились средь гробов...» *и др.* 94
Герман Лукомников. «Не Бабель, но...» *и др.* 100
Валерий Черешня. После Греции 112
Сергей Рыженков. разное 115

ПРОЗА
Сергей Шикера. Стень. *Роман. Предисловие Вадима Ярмолинца* 6
Валерий Мухарьямов. Ассоль. *Рассказ* 97
Наталия Черных. Мелкая сошка. *Рассказ* 103
Олег Зоберн. «Голоса при выходе» *и др. рассказы* 121

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
Дмитрий Воробьев. «Тысячеглазая толпа» *и др.* 128
Кужак. «В Духе Образа Перед Никем» *и др.* 129
Гоша Игорян. «Д.О. Ночь на водоёме» *и др.* 131
Анастасия Усачёва. «Когда – тихо, идёт расследование – дождь...» *и др.* 133
Александр Павлов. «05:30 a.m.» *и др.* 135

ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ
Разговоры с Андреем Пермяковым: Виталий Пуханов, Алексей Алехин 136

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Хранитель. Е. Я. Архиппов. Письма Д. С. Усову. *Подготовка текста, примечания, вступительная заметка Татьяны Нешумовой* 153

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Олег Рогов. Книга стихов о Чеченской войне 209
Сергей Трунев. О провинции без провинции 210
Василий Чепелев. Мужчины не плачут 212
Андрей Пермяков. Что будет дальше? 215

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Три неожиданных фильма 218

© «Волга», 2009

Вечеслав КАЗАКЕВИЧ

* * *

Славно было читать вместе с вьюгой:
«Жили-были старик со старухой...»
Сколько лет пролетело с тех пор!
Лучше понял я русский фольклор.

Увлеченно с вареньем и чаем
ту же фразу глотает малец.
Верит он, это сказки начало...
Знаю я, это сказке конец.

* * *

На себя в витрину гляну косо
и невольно замедляю шаг:
седовласый, синеглазый, с красным носом
стал похож я на российский флаг.

Посмотрите, юноши, на старца!
Что он может думать и хотеть?
Только бы еще потрепыхаться,
только бы еще пошелестеть!

* * *

Вот брызнули кровь из тебя и моча!
Врачи в тебе иглами шарят.
А где-то средь битого кирпича
хрустальный скрывается шарик.

В сиянье его целиком погрузись,
стань блеском без смысла и дела.
И, если сумеешь, опять возвратись
в свое вопиющее тело.

* * *

В речку плюется труба водосточная,
рядом цапля торчит худосочная.
– Пошлите, о боги, рыбешку ей! –
сказал добродушно один дуралей.

Вечеслав КАЗАКЕВИЧ родился в 1951 году в поселке Белыничи Могилевской области. Окончил высшее военно-политическое училище и филологический факультет МГУ. Работал в музее-заповеднике Чехова в Мелихове, переводчиком в НИИ, в архиве. С 1993 живет в Японии, профессор университета Тояма. Автор книг стихов «Праздник в провинции» (1985), «Кто назовет меня братом?» (1987), «Лунат» (1997), «Ползи, улитка!» (2004), «Жизнь и приключения беглеца» (2006), книги прозы «Охота на майских жуков» (2009). В Токио в переводе на японский язык вышла книга эссе «Прославление заката» (2004).

Переглянулись с готовностью боги.
Вмиг у него подкосились ноги,
туфли слетели, хвост появился,
и он в ревущей воде очутился...

* * *

Дед чинил потасканные сети,
бабушке не снились миллиарды.
Ехали в разболтанной карете
плюшевый цилиндр и бакенбарды.

Что потом в сей местности случится,
мы в начальной школе проходили:
расстреляли бывшую царицу,
а ее корыто поделили.

* * *

Детства рассыпались небылицы,
будто любимое старое кресло.
Долго шагал ты за Синею Птицей.
Все! одряхлела она и облезла.

Еле плывет над землей зарубежной,
пух оставляет на гребнях кустов,
и наполняет слюной и надеждой
встречных и поперечных котов.

Нет больше сил по свету носиться!
С розы собачьей сшибает росу.
Ладно уж, падай, Синяя Птица.
Дальше тебя на руках понесу.

* * *

В чистом поле камень замаячил...
– Тпру! – богатыри сказали хором.
– Ну, в какую сторону поскачем? –
и по горизонтам шарят взором.

Звездный круг с натугой небо крутит,
счет потерян спорам и годам.
Трое конных как застыли на распутье,
так и ныне там.

Принцесса датская

Спи, принцесса, спи, хорошая!
В страшном муромском лесу
из сухой твоей горошины
уж давно сварили суп.

Хмурые правдоискатели
спорили вокруг котла:
как подобная вкуснятина
под матрац попасть могла?

Всем известно – не горошины
под боками беглецов,
а прихожая с галошами,
двор с собакой, мать с отцом.

* * *

Рубашка толстая и в клетку,
большая птица на пакете,
рука с цветов зеленых веткой…
Я все внимательно заметил!

Но облака взбежала пена,
и сразу непонятно стало,
какая птица песни пела,
и что за клетка ей мешала.

Я помню, звали ее умницей,
но что теперь мне с нею делать,
когда я выхожу на улицу
из грома номер 39?

* * *

Вертишь в пальцах карандаш,
и влезает в сердце блажь:
взять бы этот карандаш
и вонзить себе бы в глаз!

Это не подсказка Бога,
это не проделки зла,
это просто тень Ван Гога
навестить меня зашла.

* * *

Пускай насупленный сэнсэй
к себе в квартиру поднимается,
пускай с супругою своей
в прихожей грустно обнимается.

О нет, не на этаж второй, –
я на корабль всхожу по трапу,
я у Медведицы Большой
прошу сверкающую лапу.

* * *

Над уснувшей станцией Икомою
тихо проплывало насекомое,
в лунное далекое дупло,
может быть, меня в руках несло.

Небоскребом камера хранения
посреди стояла поля зрения.
Грустно я сказал: «Ну, что, конец?»
И тихонько прозвучало: «Нец!»

Сергей ШИКЕРА

Стень

Роман

Оптимистическая история о преодолении обстоятельств времени и места (О романе Сергея Шикеры «Стень»)

В 1933 году Виктор Шкловский попытался объединить в литературную школу группу одесских авторов на основании их якобы западноевропейской ориентации. Попытка не имела успеха, хотя о школе продолжают говорить по сей день, особенно в среде южнорусских культуртрегеров и литераторов. Если бы роман живущего в Одессе автора Сергея Шикеры «Стень» был написан не в 90-е прошого века, а в 20-е, Шкловский получил бы бесценный аргумент в подтверждение своей теории. «Стень» можно назвать типичным образцом западноевропейского экзистенциального романа как раз той поры, когда выступил со своей теорией известный литературовед.

В «Стени» не найти знакомой читателю Одессы, не услышать ее знаменитого говора. Язык Шикеры совершенно не ассоциируется с языком его знаменитых земляков, хотя не менее живописен. Но эта живопись другого рода. В ее основе нет установки на создание обильного потока ярких метафор. Ее образность зиждится на той степени описательной точности, к которой вполне применим термин «хайдеф», используемый для обозначения изображения высокого разрешения. И хотя автор указывает на время действия романа – 1983 год, в нем не найти явных примет того времени. Внимательный читатель опознает их в плакатах по гражданской обороне с полезными советами на случай ядерного нападения, портвейне №72 или стремлении пассажиров городского транспорта сэкономить три копейки на проездном талоне. В остальном персонажи «Стени» никак не подвержены влиянию сил, доминировавших в тогдашней жизни или настроениям общества, находящегося на пороге гигантского социального катаклизма. Разворачивающийся в вымышленном приморском городе Лидии сюжет мог иметь место сто лет назад и, вероятно, не покажется устаревшим еще через сто.

Читатель, пробившийся через несколько первых глав сумасшедших размышлений и записок героя – почтальона Ильи Тимницина, пытающегося сформулировать – что же из себя представляет его альтер эго (Я равен я минус двойник), становится наблюдателем истории, которую можно было бы назвать мистической, если бы не ее абсолютная реальность. Находящийся на грани самоубийства Тимницин втянут то ли приятелями, то ли обстоятельствами в странную игру, цель которой – достижение психологических состояний, носящих названия больших европейских городов. Цель – достойная безвыходности провинциального существования! У игры есть теоретическая основа – книга некоего Андрея Решетилова «Опыт сравнительной метатопографии городов Мадрида и Лидии». Что же это за наука, что за состояния? Ответ грозит лишить читателя того катарсиса, который вполне может вызвать ошеломительный финал романа, подводящий конец мучительному душевному поиску героя самого себя, его примирению с окружающим.

Роман «Стень» ждал публикации больше 10 лет и, как ни жестоко это прозвучит, ожидание дало по крайней мере один положительный эффект. В 90-х опьяненный свободой и ужасающийся порожденным ею произволом, с головой погруженный в политику и создающий свою новую историю российский читатель вряд ли оценил бы по достоинству книгу, герой которой выясняет отношения исключительно с самим собой. И если для некоторых россиян, чей муторный и нищенский быт мало чем отличался от быта персонажей «Стени», засветили в 90-х спасительные огни заграницы, то у почтальона Ильи Тимницина выход был другой – в окончательную потерю ощущения реальности, в сумасшествие. Рискну

Сергей ШИКЕРА родился в 1957 году. С 1978 живет в Одессе.

предположить, что, создавая Тимницина, Шикера «заземлял» новую постсоветскую реальность с ее нищетой и безнадегой, в которой сам оказался, на своего героя, именно для сохранения собственного душевного здоровья.

Парадоксальным образом роман, все действие которого, кажется, происходит в сыроватых сумерках лидийских улиц, мутном электрическом свете неприбраных спален и пропитанных пьяным юмором (порой заставляющим смеяться до слез) кухонь, оставляет светлое чувство, которое, хочется верить, испытают вслед за автором этих строк и другие читатели «Стени».

Вадим Ярмолинец
18 августа, 2009 г. Нью-Йорк

Стень ж.; тень человека // больной, хилый, испитой или изможденный человек; // подобие человека, привиденье и притом бол. в знчн. своего двойника. // Отраженье, образ, вид человка в зеркале...

Владимир Даль.
Толковый словарь живого великорусского языка

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Тьфу!

На очередном повороте Тимницын выскочил-таки из сновидения – путаного, громоздкого, мучительного. Обе стрелки будильника и продольная грязная трещина сошлись у цифры 6; прислушался: тикает.

Перевитый простыней, бессмысленно глядел в серый потолок, и вот то ли приснилось ему, то ли придумалось... Придумалось или приснилось? (Скажем так: привиделось в тонком сне). Будто: зеленоватые сумерки, родная Безменовка, а из-за поворота навстречу плюгавенький такой, низкорослый, пьяненький, мать твою, хрестоматийный (сапоги, ватник, машущий треух), словом: мужичонка выносит в обнимку огромное зеркало, которое, то и дело тычась в слепое безменовское небо, со склизкой головокружительной стремительностью отражает все подряд. Только не это! Назад! Далее погоня: переулок, подворотня, двор (и это уже Яма!), деревянная лестница, яростный топот преследователя, застекленная по пояс дверь, коммунальный коридор и одна забота: оглядываясь по сторонам, ища какой-нибудь выход, не зачерпнуть бы краешком глаза ту запретную часть коридора, где в настигающем зеркале уже наверняка отражена спина! Выхода нет. Зато есть жестокий закон перспективы: чаще, крепче, больнее колотятся в стены локти, а волосы все строже приглаживает потолок, повелевая втянуть голову в плечи, пригнуться, согнуться, опуститься на четвереньки и втискиваться, втискиваться... под надсадный треск костей и перекрытий...

Тимницын открыл глаза, вскочил, заметался по комнате между кроватью и окном; постанывал при этом как от зубной боли (в довершение сходства прижатая к щеке пятерня). «Мерзость, дерьмо, паскудство» и т. д., включая непечатные, – словно раздавал оплеухи.

В кухне звенел бубен и пела мать.

Стол, ручка, тетрадь. На мгновение замер.

«Сон с мужиком, несущим зеркало. Предел. Если уже и подсознание фальшивит, то, хотя причем здесь подсознание, какое еще к черту подс», – слабевшая с каждой буквой авторучка пересохла, а обросшее ворсом перо под пропорционально растущим нажимом начало с подневольной яростью рвать бумагу. Тимницын выругался, метнул проштрафившейся ручкой в стену, отыскал

среди бумаг карандаш. «Фальшь подсозн и т. д. – ерунда! Снова вранье, и это – трижды! включая и вот это – последнее, и опять, и вновь, и вот это, вот это – самое последнее свеженькое и...» И подобно вошедшему в кровожадный азарт убийце, наносящему своей уже бездыханной жертве все новые и новые удары, никак не мог оторваться, пытаясь вполне стенографической вязью передать злое, нетерпеливое, наружу рвущееся мычание. Кончилось тем, что раздраженно плюнул на страницу, комкая ее и пяток других, вырвал, а на освободившейся измятой смиренно записал: «Сон (сон?): мужик с зеркалом. Тьфу!»

Устало отбросив карандаш – так отбрасывают лом, кирку, лопату – достал из стола бумажный кулечек, высыпал на ладонь с два десятка таблеток; косясь на стакан с водой, припорошенной ночной невесомой пылью, подумал: оставить записку и сжечь дневник – успею... вот только какого, спрашивается, черта надо было все это – тьфу! – сейчас писать – а?..

Взял стакан, огляделся. Эх, если бы перед уходом и все это можно было бы как-нибудь, одним махом уничтожить!.. Замусоренная, сто лет не убиравшаяся комнатушка: грязный пол, желтенькие в темных пятнах обои, пыльная мебель и безрадостный ландшафт постели – развороченная, омытая холодным водянистым светом, она казалась вытесанной из мрамора, и не верилось, что бесчисленные морщинки, складочки и складки в мертвенномутномуторных неподвижных тенях оставлены еще горячим телом.

Тимницын замер в замешательстве: мысль о возвращении в постель, о лежании, о сне, о снах (да еще ввиду только что пригрезившегося) была отвратительна, невозможна, невыполнима.

Внизу на перекрестке в снежной жиже барахтались, рычали автомобили.

Тимницын стоял у окна и терпеливо ждал, когда итоговая черта, которую подводило под его решением покончить с собой каждое следующее мгновение, достигнет, наконец, предельной отчетливости (вот и Виктор, тут как тут, со своим парадоксом из разговора (провокационного?) на эту тему полутора-двухмесячной давности: отважившийся на самоубийство может оказаться перед одним, вроде бы незначительным, но на поверку весьма серьезным и, возможно, непреодолимым препятствием – у него может вдруг возникнуть подозрение, что в любую секунду, которая станет последней, жизнь его будет... как бы сказать поточнее... композиционно завершена, что ли... то есть: в том месте, где щелкнут ножницы (в каком бы месте они ни щелкнули), окажется не случайный обрез нити, а закономерный ее конец, единственное из всех возможных окончание. И вот тут его берут в оборот два соображения. Первое: каждая воспоследовавшая минута, час, день вносят новую полноту, еще более убедительную завершенность, что и вынуждает тянуть и откладывать исполнение задуманного, и нет в том никакого малодушия, а только элементарное любопытство, скорее завороженность да, может быть, глуповатая фатальная корысть обреченного: раз уж, мол, все равно полнота, так пусть будет еще полнее. И соображение номер два, вытекающее из той же, первоначальной посылки: претендент получает совсем не то, чего желал: не он кончает жизнь, но она кончается сама по себе, а уж под каким предлогом и каким образом, не имеет совершенно никакого значения. Попавший в такой переплет превращается в самоубийцу по призванию и в этой должности может дотянуть до глубокой старости и естественной кончины).

Таблетки с едва ощутимым скрипом ползали в горсти; на стенках стакана оставались нежные пыльновлажные разводы.

И вдруг (подобно молнии): Жижин! Третьего дня в ящик ему брошенное письмо! И отнюдь не из страха – какое там (как могло бы показаться стороннему наблюдателю)! – а всего лишь уступая горячему нежеланию вновь (пусть и в последний раз) погружаться в теплую тину изолгавшегося сумеречного состояния, с подобострастной готовностью изготавливающего требуемые образы, ухватился он за это письмо. И в самом деле: что за резон уничтожать дневник, если где-то лежит его укороченный вариант?

Таблетки в стол, воду в цветочный горшок с окурками вокруг высохшего стебелька, и с несколько агрессивным возбуждением человека, у которого после многих недель затишья появилась, наконец, не терпящая отлагательства цель, Тимницын стал одеваться.

В кухне Лена мыла посуду, а мать – в широкополой летней шляпе, с отзывчивым, в жирных пятнах бубном на коленях – весело несла свою всегдашнюю околесицу, где в ход шло все: обрыв-

ки радиопьес, киноэпизоды, кое-что из когда-то прочитанного или кем-то рассказанного, а также преображенные безумием факты собственной биографии. На этот раз речь шла о поездке в Крым летом 1949 года (?!). Место действия: Гурзуф. На фоне живописных скал, колоннад и глянцевого моря (запечатленных неизвестными художниками на этикетках крымских вин) история любовного соперничества молодого, седого как лунь, хлебнувшего горя в немецком плену красавца-генерала и двух неудачливых летчиков.

Примостившись с бутербродом и стаканом чая на подоконнике, Тимницын одним ухом слушал мать, во второе сипела радиоточка.

По столу, сладострастно потираясь друг о дружку, ходили две пестрые кошки; остальные лежали в самых непринужденных позах на полу, лениво смеживая веки и нервно дергая шерстью всякий раз, когда до них долетали брызги из раковины.

В Гурзуфе все катилось к всеобщему счастливому примирению: стояла луна, бренчала гитара, веял ветерок, набегала волна, в беседке играл оркестр.

Тимницын поднялся; Лена громыхнула стопкой вымытых тарелок; диктор севшим голоском рассказывал о погоде в Лидии на ближайшие сутки: осадки в виде дождя и мокрого снега, влажность воздуха 88%, атмосферное давление 775 мм ртутного столба, ветер юго-восточный 6–10, при порывах до 14 м/сек, температура воздуха по городу 0, -3, в эфире романсы русских композиторов на стихи Александра Сергеевича Пушкина; Глинка – «В крови горит огонь желанья».

Мать повернулась к нему и – удивленно-растерянно:

– Сыночек?..

«Забыла, как меня зовут?..» – подумал Тимницын.

Строго и недоверчиво глядя в ее голубые выцветшие глаза, Тимницын, переборов секундное искушение, под настороженным присмотром Лены сухо кивнул; заправил поглубже шарф.

– Как твои успехи?

– Отлично.

– Молодец. Мне недавно встретился ваш преподаватель, очень тебя хвалил.

Тимницын направился к выходу.

– Уходишь?

– Да.

– Ну, иди, иди, прогуляйся, только оденься потеплее, – и вдогонку, – особенно ноги!

II. Сумерки

Снег в парке отдавал едкой анилиновой синью.

Трамвая не было; чтобы не мерзнуть на остановке, а заодно унять нетерпение, Тимницын отправился пешком до следующей. Сгоряча прошел не одну, а все четыре, и неожиданно для себя оказался на Безменовке.

К этому времени на заходе расчистилась широкая полоса неба, и последний багрово-холодный свет из-под чернильных туч отозвался в груди мелким, перехватывающим дыхание трепыханьем: неприкаянность – беспокойство – тревога. И всею немилосердной тяжестью навалились восемь лет темного, ушедшего в мутный ядовитый осадок отрочества.

Обширные, как зимние вечера, гулкие подвалы, куда уходили курить, драться (волокли драться) и делиться тайнами (в одном из таких, по лидийскому преданию, купец Безменов хоронил изобретательно умерщвленных любовниц); метафизически безлюдные дворы (так в памяти); мычанье, мыканье и маета просыпающейся плоти, и проч., включая болезнь отца, хрипло проклинавшего всех и вся, отсылавшего свои неудобопроизносимые анафемы на бумажных, невинно покачивающихся самолетиках за окно, в мир (случайно подсмотренный полдень: чуть приоткрытые мелкозастекленные створки балконных дверей и гуляющий по комнате пьяный сквознячок, то и дело задевающий готовую к отлету, выстроенную на паркетном в солнечных параллелограммах полу матерно поименованную эскадрилью) – все это Безменовка, чье мрачное

недоброе пространство под стать проведенному в нем времени, и где же еще, как не здесь, в этом условно ограниченном объеме, придавленном, как булыжником, не уходящей из воспоминаний тучей, спрятан источник нынешних моих хворей?.. И дальше по программе: «О, Лидия! Проклятый, проклятый город...» и т.д.

Тимницын затосковал; прореха на западе затянулась и отступившие было сумерки вернулись. Что теперь делать: идти дальше или вернуться домой?

В гнетущей нерешительности, сунув озябшие руки в карманы пальто, словно опираясь на направленный под ноги взгляд, он простоял не одну минуту, и как давеча центробежное воспоминание о письме отшвырнуло его в сторону от намерения расквитаться с жизнью, так неожиданный приступ безменовской тоски вынудил изменить намеченный маршрут: широко перешагивая через рельсы, Тимницын направился в переулок, к светящимся дверям продуктового магазина; «нет, – взволнованно думал он, чувствуя как трепещет, высвобождаясь из безменовских тисков, сердце, – нет уж! Сначала я *тебя* туда отправлю!»; переступив порог, едва не растянулся на размокшем в слякоть листе картона.

К винному отделу тянулась тихая утомленная очередь в дюжину выпивох обоего пола; рядом стояла еще одна, покороче, из тех, кто брал без очереди; лениво переругивались.

Сутулый мужичок в коротеньком, с детского плеча, пальто, обернувшись, доверительно сообщил:

– Душа горит о производстве, а ноги просются домой...

И, не дождавшись участия, предложил:

– Спаримся?

Тимницын пожал плечами; подумав, протянул ему металлический рубль и отошел в сторонку; облокотился о витрину бакалейного отдела, по ту сторону которой усатая продавщица, глядясь в зеркало растянутым ртом, накрашивала губы.

От кассы в углу магазина, качая набрякшими лиловыми сосцами, к нему подковыляла хромоногая бурая сука, с безопасного расстояния грустно и сосредоточенно потянула носом; встретившись с ним взглядом, виновато вильнула хвостом и, пропятившись несколько шагов, пошла восвояси.

Над головой нервненько мигала неоновая трубка. «Погасни уже!» – раздраженно приказал Тимницын, щелкнув ногтем по стеклу витрины. Трубка послушалась, но спустя секунду спохватилась, с треском затрепетала.

– Покупатель, снимите руки с прилавка! – сказала за спиной продавщица.

В подворотне заботливый напарник выложил на деревянный ящик мятый плавленый сырок в растрескавшейся фольге, следом достал бутылку портвейна с развеселым усатым молдаванином на наклейке.

Помня этикет – открывающий пьет вторым, Тимницын брезгливо наблюдал, как его партнер непослушными, коченевшими на сквозном ветру руками пытается вспороть жестяную крышку ключом от английского замка.

«Замечательно! На мокруху решился, а приличия стараюсь соблюсти. Я ведь – всего-навсего, чтобы не делиться – и его могу уложить... Завалить... Угрохать... замочить, загасить, ухлопать... зах...чить – зап..чить... пришить, порешить, угробить, укокошить...»

– Синонимов уйма! – подтвердил мужичок.

«...шлепнуть, пустить в расход...»

– Что?!

– Я говорю: сифонит, как курва, – пожаловался мужичок на задувавший в подворотню ветер. – Может, сховаемся куда-нибудь?

Тимницын не ответил.

«...отправить к праотцам...»

– Тебя как зовут? – с мукой в голосе спросил собутыльник, очевидно, чтобы отвлечь от затянувшихся работ. – Про солдата слыхал?.. говорят, где-то здесь прячется... с автоматом, и кто ж эти пробки выдумал!.. А еще, вот, говорят, таксист один недавно бабу подвозил, молодую, с грудным

ребенком. Она по дороге вышла, значит, позвонить по телефону, а дите на заднем сиденье оставила. А таксист, пока она бегала, захотел на ребенка посмотреть... вот... Поднимает он одеялко, а там вместо ребенка, слышь ты, лицо взрослого человека с бородой, и мужик этот ему говорит: «А ну закрой!» Таксист чуть со страха не умер, хотел по газам дать, а куда – надо же бабу дожидаться, чтобы она этого мужика забрала...

Напротив них гражданин с тускло светившейся, горестно склоненной плешью размеренно бодал чреслами стену; когда, наконец, ушел, оставив на побелке свою уродливую дымящуюся тень – в углу у ворот зловеще обнаружился длинный и острый осколок зеркала.

– Давай сюда! – сказал Тимницын и отобрал бутылку.

С издевательской легкостью жестянка выскочила из-под пальцев и тенькнула об стенку; в несколько глотков Тимницын отпил половину.

– Ты куда? Постой! Вот же сырок... – огорченно воскликнул мужичок.

– Засунь его себе... – ответил Тимницын.

Мельчали дома, редели прохожие, темнели и суживались улицы, сквернели тротуары и мостовые, чреватое обещанным снегом небо становилось ниже – шаг за шагом громоздкая Безменовка вырождалась в захолустную Дегтяревку. Хвативший за воротник Тимницын нетвердо, но неуклонно приближался к цели. Продвижение было прервано внезапным, потрясшим естество, внутренним воплем: «Чем?!» Встал, как вкопанный, подставив плечо налетевшему подростку. Отсутствие не только орудия убийства, но даже и самой мысли о нем вызвало у Тимницына резкий приступ отвращения к себе. Оглядевшись, он как-то нелепо, боком подскочил к палисадничку, узенькой полосой жавшемуся к стене грязного двухэтажного домишки, и свирепо выдернул из бровки мокрый тяжелый кирпич.

«Опять хотел увильнуть, сукин сын!» – проговорил он со злорадством.

Судя по возбужденному многоголосью и музыке из открытой форточки, в подвале у Виктора шла серьезная пьянка. Получка сегодня, подумал Тимницын и переложил кирпич из окостеневшей левой руки в правую.

Посыпал снег. Тимницын отлепился от стального поручня над подвалом, прошел во двор и остановился над короткой, в четыре ступени, лестницей.

Так, план действий (если, конечно, Виктор там) мог быть таким. Постучаться. Войти. Поучаствовать (не напиваться!). Дождаться, когда Виктор, обматерив по своему обыкновению собравшихся, уйдет спать; спокойно отсидеть (не напиваться!) еще с полчаса (впрочем, и четверти достаточно), по истечении которых незаметно пробраться в спаленку... ударить надо один раз – сильно, наверняка. После?.. После к Жижину за письмом. Будет ерепениться – отправить за Виктором. Потом домой – дневник, таблетки. Дома оставаться нельзя: черт его знает, сколько надо времени, чтобы уже не добудились ни врачи, ни милиция... Придется, пожалуй, сделать еще один бросок – к Сумарокову, попроситься переночевать, хотя нет, уж лучше в один из безменовских подвалов: там тепло, влажные трубы вдоль стен, посредине горячая лужа, а в углу плашмя лежит полусгнившая телогрейка – свернуться калачиком, уткнуться в мягкую затхлую складку, разделить с нею долгое медленное невидимое миру горение, оно же тление...

Дверь внизу распахнулась, и он отпрянул за угол, лицом к стене. Скосив глаза, видел, как из подвала взбежал и направился к туалету Виктор в своем полосатом, наброшенном на голову пальто – на ловца и зверь...

«Раздумывать нечего!» – распорядился собою Тимницын и, выпростав из-за пазухи руку с кирпичом, трусцой проследовал за жертвой. Осторожно – не поскользнуться, не споткнуться, не всплеснуть – вступил под невысокую крышу едва освещенного дворовым фонарем сортира. Первая кабина была заколочена; сделав еще два вкрадчивых шага, Тимницын оперся свободной рукой о неструганный косяк и размахнулся: кирпич стукнулся о притолоку, и удар – адресат не успел обернуться, только дернул головой, – пришедшийся между шеей и плечом, сбил Виктора с ног.

Через минуту Тимницын уже подлетал к отходившему от остановки трамваю. Только у самой подножки отшвырнул кирпич. Ввалившись в вагон, плюхнулся на заднее сиденье и придирчиво осмотрел трясущуюся руку: рука была грязная.

III. Соглядатаи. Аппассионата

Теренций Плуг. «НКВД» (Неожиданный конец Владимира Дэдэ). Повесть. 1961 г.

Вполне заурядный ипохондрического склада инженер-связист Владимир Александрович Дэдэ как-то вечером после бурного скандала с женой и тещей подбирает на сырой парковой скамейке карточку из библиотечного каталога с названием статьи из «Офтальмологического вестника» – «Длительное пребывание деревянного инородного тела в орбитальной плоскости». Находя это маленькое происшествие забавным (поскольку заглавие статьи энергичным жестом отсылает к известной притче о бревне в глазу, автора которой, заметим тут же в скобках, инженер затруднился бы назвать), он быстро смягчается и, вернувшись домой, раскаянно мирится со своими далеко не снисходительными женщинами. Однако ночью ему уснуть не удается: размышляя о находке, он неожиданно приходит к сокрушительной догадке о существовании некоего недремлющего, хорошо осведомленного соглядатая. Утром подозрение несколько рассеивается, но уже к вечеру сгущается вновь и крепчает день ото дня. Постоянно и повсеместно обнаруживает он зловещие знаки пристального внимания. Жизнь его превращается в ад. Выведенный из равновесия – и чем дальше, тем больше – он совершенно не в состоянии определить природу получаемых отовсюду сигналов слежения: плод ли это воображения, или же... не плод? Развенчав посредством утомительных наблюдений и долгих хитрозатейливых бесед кандидатуры жены, тещи, друзей и сослуживцев, разбитый, почти опустившийся и раньше времени состарившийся инженер (к этому времени уже бывший) приходит в стены хорошо всем известного учреждения, где некто казенной наружности (папироса, портупея, маузер) с казенной снисходительностью его успокаивает, мол, коли он честный законопослушный гражданин, бояться ему нечего. В ответе работника комитета госбезопасности не прозвучало ни подтверждения, ни опровержения. И тем не менее, Владимир Дэдэ понял – это не «они», и после визита впал в вовсе непролазное сумеречное прозябание, слегка подогретое не отступающим ни на пядь страхом. Член партии с 1946 года инженер-связист в отставке Владимир Александрович Дэдэ наконец догадался, что соглядатай его совсем из другого, недоступного ему ведомства, в котором до поры до времени визитов не принимают и никаких разъяснений не дают...

У каждого – свой соглядатай.

У Ильи Аркадьевича Тимницына, 21 года, беспартийного, их было два. Один из них уныло глядел на него с черного трамвайного стекла, а второй сейчас на Дегтяревке, должно быть, держался за прибитую кирпичом шею.

Илья даже помнил день рождения первого, совпавший с днем рождения отца.

Илюшенька засыпал.

«Лена, прими тарелки!» – голос матери.

В гостиной убирали со стола, разносили чай; разрозненные голоса гостей вдруг слились в восторженный гул: внесли торт.

Новая квартира на Безменовке: не привыкшие еще к своим местам, словно чувствующие себя неловко предметы, коих расположение всякий раз, как входишь, вызывает удивление, краткий испуг (не туда попал!); неуверенное, точно на ощупь, перемещение плоскостей света днем; и уж совсем чужая спальня, в которой все время, несмотря на то, что рядышком мать, все время – и чем ближе к засыпанию, тем напряженней, все время ожидаешь подвохов, внезапных разворотов и изменений недружелюбного пространства, чьи раздвижные стены только притворяются капитально безучастными, а на самом-то деле прячут жутковатую топкую мохнатую путаницу, в которую то и дело оступаешься, путешествуя по сказочно пестрым галереям снов, вывезенных из старой квартиры.

На скошенный щит света легли тени отца-именинника и нового знакомого матери, музыканта-самоучки, время от времени садившегося за пианино. Не склонные к классическому репертуару гости слушали внимательно, а по окончании делали комплименты, говорили о силе воли, терпении, упрямстве в хорошем смысле этого слова.

В спальню вместе с дымом вползал разговор: подвыпивший отец просил научить играть полонез Огинского. На пальцах... нот он все равно не знает, да, собственно говоря, я и не собираюсь учиться, вот только полонез... иногда, знаешь, бывает такое настроение, хочется чего-нибудь сыграть, для себя... научишь? Слух у меня есть, был во всяком случае... Аркадий, ну где вы разговариваете! Там же ребенок спит!

Вошла мать; обняла, поцеловала; перегар, духи, помада; далеко, в отведенной ладони, фужер.

– Спишь, маленький?

Да, он засыпал. А под ласковой теплой тяжестью ее руки еще неудержимей повалился в сон.

– Может быть, тебе чего-нибудь хочется, Илюша?..

– Скажи дяде, чтобы сыграл «Аппассионату», пожалуйста...

– Хорошо.

– Скажешь?

– Скажу. Не хочешь по-маленькому?

– Нет.

– Ну, спи... Спокойной ночи.

– Скажи...

– Скажу.

Ушла. Сопротивляясь сну, он вслушивался, ждал. Она громко рассмеялась; отвечала на чей-то вопрос. Многопудовый на бисерных колесиках сон был им на время отодвинут и придерживался из последних сил, готовый подмять в любую секунду. Она забыла. Забыла... Или же решила, что он уснул, но вот: перекрывая застольный шум, с гордостью, чуть приправленной удивлением, именно так, как ему и представлялось: «Ребенок просит, чтобы сыграли «Аппассионату»!» И после упоительной паузы уже запредельный ответ самоучки: ну, раз ребенок просит... я, правда, знаю только начало, задвигались стулья...

Всегдашнее недоумение: почему именно вот этот (ведь были же и другие – да сколько!) довольно безобидный сеанс детского позерства накрепко засел в памяти? Впрочем, резонно возражал Тимницын, не будь этого воспоминания, было бы другое. Вопрос покаверзнее: как и почему превратилось оно со временем в обширнейшую, всеохватную статью драконовского уголовного кодекса, под которую, заслуженно или нет, подпадало любое, порой самое невинное движение? Поступки, слова, мысли – все рано или поздно помечалось клеймом «аппассионата». Хотя, какое уж тут клеймо – созвездие, день и ночь полыхающее на небосводе Ильи!

Не может быть, рассуждал он иногда, чтобы я ни разу, ну хотя бы случайно, не был искренен, такого не может быть. Но если я никогда ничего подобного за собой не замечал, значит, все это и есть всего лишь выдумка, мания, болезнь...

Однако, пренебрежительное «всего лишь» желанного облегчения не приносило, и не бравшая в расчет результаты изысканий мания продолжала упорно сворачивать Тимницына в бараний рог; пускаясь по хорошо изученному маршруту, он в конце концов окружными петлистыми путями добредал до лежавшей всегда неподалеку причины. Она была почти мистического свойства: с некоторых пор Тимницын стал утверждаться в мысли, что его не существует.

Но кто же тогда существовал вместо?

На этот вопрос Тимницын попытался ответить в письме к Жижину, за которым ехал теперь в Яму.

IV. Минус двойник?

«...Итак – нас двое (допустим). Однако, мое альтер эго – совсем не тот литературный двойник, завсегдатай романов, что, осложняя жизнь героя, делает ее все-таки богаче. Совсем не тот. Мой, как мне кажется, безнадежно тоньше и неуловимей. Поясню. Человек, осведомленный о наличии в себе обыкновенного двойника, как-то представляет или воображает, где, примерно, кончается он сам и где начинается его двойник. И возможно, он допускает между собой и им,

в худшем случае, равноправные отношения, пусть полные противоречий, борьбы, неудобств и т. д., но – отношения. Просто – отношения. Для меня это недостижимая идиллия, постоянный предмет зависти, потому как ничего подобного я не нахожу у себя и в помине. Потому что никакой борьбы и единства противоположностей во мне нет, а есть лишь сквозное, с тенденцией к усилению, перетекание через предмет, не имеющий качеств (я), в сторону предмета, качествами обладающего, но находящегося, с умыслом или без, вне поля моего зрения – двойник. Можно выразить эту мысль в такой формуле: Я равен я минус двойник. За отсутствием уменьшаемого в разности остается вычитаемое, т. е.: Я равен минус двойник? (его тень?). Какая-то нелепая арифметика, но что делать...

Я не знаю, что со мной происходит. Потому что со мной не происходит ничего. Все происходит с ним. Но и что происходит с ним, для меня глубочайшая тайна, ведь я только и делаю (только, только и делаю), что слежу за собой, чтобы вовремя заметив не свое (получается – все), тотчас отдать ему. Результат: /зачеркнуто/ Эффектное сравнение: старатель, выбрасывающий пустой песок, который, коснувшись земли, превращается за его спиной в золото (ну, насчет золота, положим, громко сказано). В итоге я и остаюсь ни с чем, в то время как там, у него за стенкой, идет кипучая, полнокровная на зависть жизнь из эпизодов, брезгливо помеченных грифами «показуха», «фальшь», «липа», – жизнь, которую я очень внимательно (может быть в этом беда?) по отдельным кадрам просмотрел (даже записал!), но считать своей почему-то не могу. Часто /зачеркнуто/ Иногда у меня возникает сильнейшее желание исчезнуть, думаю: ладно, чего уж там, меня ведь все равно нет и никогда не было... Да, но кто-то же здесь наследил под моим именем! И это сбивает с толку. Тут постоянно еще и такой вопрос: а существует ли он? а что если вся моя гипотеза о перетекании всего-навсего географическое предубеждение: каждая река должна куда-то впадать. Ну, хорошо, хорошо, допустим, что существует, и хватит, черт с ним, поговорим обо мне. Должна же быть какая-нибудь, пусть еле различимая, но безусловная, несомненная, неделимая, не сносимая никаким течением точка, про которую с уверенностью можно было бы сказать: «это – Я», ведь это утомительное перетекание, протекание, недержание только и можно остановить тем, что найти, нащупать некий магнетический центр, средоточие, к которому, стоит ему только обнаружиться, все само и потянется – фокус.

Теперь /зачеркнуто/ Теперь /зачеркнуто/

Теперь (не потому, что я считаю, будто уже все объяснил, и наступило время для главного, а просто надоело, нет сил наворачивать и городить это дальше), те /зачеркнуто/ (тем более, что все это тем же сквозняком уносится в ту же область), теперь я сделаю признание, которое, не будь у меня за спиной этого паразита (хоть какая-то польза), на чей счет я и переведу и это откровение, пусть жиреет (а впрочем, чушь, чушь: не будь его, не было бы и разговора, а впрочем, и это чушь, географическое предубеждение), итак – признание: точку, с которой я говорил, магнитный центр (как Вам больше нравится) я в последний, а может быть и в первый раз отчетливо почувствовал в себе в тот самый вечер, когда Вы впервые пришли ко мне – помните? – и уговаривали помочь поймать сбежавшего льва. Не знаю, Ваша ли это была целиком затея или не обошлось без Навроцкого, но в ту ночь, когда я дурак-дураком стоял на пустынной аллее, закрывая своим силуэтом хищнику путь к бегству, пока вы с мифическим напарником будете набрасывать на него сеть (с некоторым удовольствием вспоминаю эти подробности, кстати, неужели, Петр Андреевич, вы решили, что я вам тогда, в тот момент поверил? – нет, конечно), так вот льва я в ту ночь все-таки поймал! Ну, ладно, смешно звучит, пусть не льва (слишком уж царственный зверь), пусть зайца, мышь, блоху, инфузорию – но я поймал! Может быть /зачеркнуто/

Я сам /зачеркнуто/

Наверное, как-то все сошлось в тот день, как-то очень удачно стянулось: и моя депрессия /зачеркнуто/ и мать /зачеркнуто/ и скверная погода /зачеркнуто/ – бывшее прежде разоренным, а может и нет, но тогда, обманутый, я был почти счастлив (вру: позже), потому что сомнений в тот вечер у меня не было: вот он осмеянный, униженный – вот он я! Даже какие-то виды на будущее /зачеркнуто/

Может быть /зачеркнуто/ эх, Петр Андреевич, если бы Вы только знали, какая это мука: можно говорить /зачеркнуто/ можно говорить и говорить и говорить, вертеть так и сяк, и все равно не выразить и сотой доли той унылой (в отсутствие себя о себе) /зачеркнуто/ монотонности, той мутной тоски от проходящей в каком-то затяжном глубоком обмороке жизни, а все сказанное в следующее же мгновение, в зависимости от направления взгляда, выдувается пузырем то в одну, то в другую сторону, и гораздо ближе, точней и правдивей все вышенаписанное передаст эти скользкие ощущения, если его взять в рамку, оставив внизу место для последней строки, где, как в древнем парадоксе, написать:

все написанное в этой рамке – ложь».

V. Контроль

Вдоволь попетляв по убогим улочкам Дегтяревки, плотно набив вагоны субботними разряженными и надушенными пассажирами, трамвай № 7 прошел по касательной к центру Лидии, вдоль останков крепостной стены, и покатил через Безменовку вниз в Яму.

Приложив ладонь к лицу, Тимницын глядел в окно.

«Вот: зима. Я хочу умереть», – подумал он с какой-то не предполагавшей ни вывода, ни продолжения детской законченностью, и его разобрала жалость к себе. О происшествии, имевшем место менее получаса назад, он, кажется, совсем забыл.

В трамвае погас свет, и он остановился, пропуская медленно вползавший на гору встречный; пейзаж за окном сдвинулся, подошел ближе. Мысль о зиме одновременно с трамваем тронулась с места и покатила по наезженному пути.

«Проклятое время! – продолжал Тимницын, глядя на призрачные полупрозрачные остовы деревьев, на церемонно представлявшие друг друга кошачьи глаза фонарей, на нехотя уходящий назад гигантский плакат с рабочим в спецовке, гордо показывавшим какую-то книжицу... – проклятое время! Распихиваешь его куда только можно: кино, книги, сон, а оно все не убывает и, кажется, наоборот: распухает, выпирает, как поднявшееся тесто, липнет к рукам; убивать время – это, конечно, о зиме: только зимой оно так ощутимо враждебно, хотя... возмож, но какая гадость эти белые крыши, мокрый снег! Нелепые южные игры в снегопад, метель, белизну и чистоту... а на самом деле: грязь, слякоть, тоска. Южные никому не нужные, нет, нужен учитель, нужен, и непонятно: к чему эти бессмысленные тряпки, то есть тряпки, то есть прятки?.. Отчего я не решаюсь в этом признаться (может быть только потому, что где-то неподалеку всегда маячит тень Виктора)? Но подойдем трезво, как бы войдем в пустую гулкую комнату с только что побеленными, еще не затертыми, не перепачканными надписями стенами и сосредоточенно допустим: не нужен... не нужен... не нужен... не ну... – все равно: (уж это я знаю точно) однажды пришедшая в голову мысль (она-то и заставляет твердить: не нужен), Бог весть как там обосновавшаяся, но к этому дню уже окрепшая, отъевшаяся (кстати, за зиму) на предположениях, фантазиях, допущениях и прочее, прочее (а может быть, на необходимости), прочее, выест теперь изнутри мозг и, не умолкая, будет твердить одно и то же: нужен, нужен, нужен!..» Далее в маршруте значился душный тупичок, где Тимницын, изо всех сил напрягая память, пытался выяснить (официальная версия), что в его жизни появилось раньше: мысль об учителе или Жижин?

Подняв глаза, Илья увидел, что вагон наполовину пуст, а по проходу к нему приближается человек с красной повязкой на рукаве.

– Ваш талон.

– Что?

– Покажите талон.

– Сейчас, одну секундочку...

Тимницын, которого вид должностного лица всегда приводил в трепет, беспорядочно зашарил по карманам. Чтобы унять мелкое, но острое и назойливое беспокойство в мозгу, он одновременно

пытался вспомнить, откуда – с афишной заоконной тумбы? с губ пассажира? – внезапно слетело это запретное, сосланное в тмутаракань подкорки слово «учитель»? И ползавшие по телу руки искали уже не несуществующий (-венный) талон, а источник крамолы; полуглухая Клавдия Петровна склонилась над ним, множа себя в скверном зеркале в одном конце учительской и в зимнем оконном стекле – в другом. «Так и будем молчать? У меня нет времени с вами возиться, меня на уроке ждут. Ну? Из-за чего подрались? Кто начал?» «Быстренько отвечайте, когда спрашивают!» – строго потребовал физрук Георгий Исаевич; он был огромен. Голованов напряженно глядел исподлобья, настороженно косил в сторону Тимницына: попробуй скажи. «Думает, побоюсь...»

«Я еще раз спрашиваю! В последний раз спрашиваю».

Илья тронул солнечное сплетение: оно еще отзывалось ноющей болью после голововановского удара; «думает, побоюсь...»

«Ну?! А то будет хуже...» «Он меня первый...», – чуть ли не шепотом. «Что он говорит?» – морщась, спросила Клавдия Петровна у физрука. «Что-что?!!» – преувеличенно гримасничая, ерничая, играя под слабоумного, завопил Голованов, – «кто – я?! А кто меня первый пихнул, кто меня первый пихнул? Я тебя что?.. Я тебя трогал?!» – и толкнул в плечо, и еще раз, посильнее; Илья сделал шаг в сторону, чтобы не упасть, и вступил в область досягаемости зеркала: «Отразился!» – и, высадив хлипкую двухчасовую перегородку, в сознание вломился сон, с нахальством вокзального хама втискивая за собой воспоследовавшие события: запись в дневнике, скомканные страницы, таблетки, мысль о письме, решение о поездке к Жижину – весь список вещественных и нематериальных доказательств, убедительно свидетельствующих о том, что 26-го февраля 1983 г. около шести часов вечера в квартире № 14 дома № 11 по ул. Парковой Тимницыным Ильей Аркадьевичем в присутствии Ильи Аркадьевича Тимницына было разыграно отложенное в последнюю секунду на неопределенный срок покушение на самоубийство.

Тимницын в отчаянии опустил руки.

– Так как насчет талона? – беззлобно спросил контролер; он стоял широко расставив ноги, держа наготове книжку с штрафными квитанциями.

– Кажется, я забыл дома...

– Придется платить штраф.

– Я и денег с собой не взял, – виновато произнес Тимницын, чувствуя, как горячая влажная волна быстро со спины заливает тело, и предугадывая то отвратительное ощущение, когда уличный ветер одним махом выдует непрочное тепло, и под одеждой станет холодно и сыро.

– В таком случае на конечной пройдете со мной.

Илья кивнул. Контролер опустился рядом. Из-за железнодорожной насыпи виднелись огни Ямы. Трамвай, с трудом доглатывая последние метры пути, сотрясался от конвульсивных толчков, и с каждым из них сгрудившиеся возле передних дверей нетерпеливые пассажиры одним дружным шагом сбивались теснее в кучу.

Наконец трамвай встал, и водитель объявил конечную.

– Идите за мной, – сказал контролер.

С грязной ступеньки Тимницыну бросилось в глаза искореженное название смятой, заляпанной подошвами газеты – «УЧИТЕЛ/ЗЕТА».

Они прошли вдоль насыпи с две сотни шагов навстречу огням идущего по ней поезда и свернули в тоннель. Кафельные стены вяло отражали уличный свет, изредка оживлялись отсветом фар проносившихся мимо автомобилей; под ногами отчетливо и плоско хлюпала слякоть.

Контролер шел не оглядываясь, и Тимницын, будь он посмелее или потрусливее, мог бы с легкостью убежать, спрятаться, да просто-напросто остановиться, что он, кстати, и сделал, когда тоннель задрожал и загудел под накрывшим его товарняком; постояв некоторое время, бросился догонять.

По узким, опасно пружинившим доскам они пересекли две огромные лужи, в которых неподвижно отражались: насыпь, поезд, неработающий фонарь, они сами и двухэтажный кирпичный дом с кучей угля и мусора возле крыльца.

В длинном коридоре, вдоль стен которого тянулись соединенные по нескольку стулья с откидными сиденьями, какие обычно ставят в кинотеатрах, контролер предложил подождать, а сам скрылся за дверью.

Илья только сел, предварительно потоптавшись на месте, как из комнаты, куда вошел контролер, появилась девушка в шляпке с вуалью и села у противоположной стены. Коротко взглянув на Тимницына, она достала из сумочки журнал и раскрыла на заложенной странице.

Пропищали сигналы точного времени.

Над головой девушки по всей стене висели потускневшие от времени и пыли плакаты по гражданской обороне: поражающие факторы ядерного взрыва; действия гражданского населения в местности, подвергшейся бомбардировке; первая медицинская помощь пострадавшим и т. д. На ближайшем был изображен жилой дом в разрезе, обозначенном аккуратной волнистой линией, в подвале которого размещалось бомбоубежище: в аскетически пустой комнате с зелеными панелями, выпрямив неестественно спины, сидели подле своих нехитрых вещей жители, а на переднем плане столь же чопорный велосипедист, крутя педали, нагнетал свежий воздух; внизу значилось: ВЕЛОВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИИ.

Голая лампочка, стулья, плакаты – скучно, брат!..

Тимницын перевел взгляд на молодую посетительницу. В несколько напряженной позе, в неловко, с претензией на непринужденность, заброшенной на ногу ноге, угадывался мимолетный интерес к соседу. Он еще только мучительно придумывал повод для знакомства, а в убежавшем далеко вперед воображении уже весело болтал с девицей, принимал протянутую с кокетливым вздохом узкую ладонь в перчатке, под глупейшее сетование на погоду выводил из тоскливого коридора (ну вот и слава Богу!) и вел по рано затихающим улочкам Ямы, чтобы ближе к полуночи в темном холодном подъезде несильным рывком сломать ритуальное сопротивление и ощутить невесомую тяжесть тела в слабеющих руках и наводящий беспамятство трепет горячих губ.

– Простите, пожалуйста, – выдавил Тимницын, неуклюже подаваясь вперед, – вы...

Дверь контролерской распахнулась и в коридор вывалилась компания детей; громко топоча по деревянному полу, они промчались мимо и, раскрыв ударом следующую дверь, выбежали на улицу.

Из контролерской, куда, позабыв о своем намерении, заглядывал Илья, несся смешанный, мужской и женский, хохот. Вышло несколько женщин с сумками и сетками; последняя, подзадержавшаяся, несла еще и плачущего раскрасневшегося младенца. То одна, то другая оборачивались к стоявшему в проеме контролеру и что-то весело выкрикивали. «Какого-нибудь командировочного!» – провизжала та, что была с ребенком; ее хмельной взгляд скользнул по Тимницыну, и тот, не мешкая, широко улыбнулся в ответ; последняя реплика вызвала у женщин новый приступ хохота, с тем и ушли.

– Входите, – кивнул контролер, подбирая размякшее от веселья лицо.

VI. «Щчелк!»

В неожиданно просторной комнате, освещенной плавающей в дыму стосвечовой лампой, он жестом направил Тимницына к худощавому брюнету, сопроводив словами:

– Васенька, вот еще одного.

По комнате, в которой находилось человек шесть-семь, еще прогуливались смешки, перелетали от двери к окну, обратно, о чем-то без умолку говорили, говорили, перестилая речь расплющенными словцами лядь-бать-мать, перебивали друг друга, кто-то засвистел.

Внимание было рассечено надвое: напряженно вслушиваясь в болтовню за спиной (почему-то казалось, что непременно должны обратиться к нему), Илья в то же время силился понять, чего требует от него этот молодой нетрезвый наодеколоненный человек на подбитых, то и дело подворачивающихся каблуках, в широкой белой рубашке, стянутой жилеткой, названный Васенькой.

– Что? – переспрашивал Тимницын в тяжелом приступе тупоумия; пятился.

– Садитесь, присаживайтесь, – улыбаясь говорил Васенька. – И не бойтесь. Сейчас я быстренько – щчелк! – и все.

– Зачем? – спрашивал Тимницын и, преодолевая усилие Васенькиных рук, ласково положенных ему на плечи, вновь поднимался.

– А затем. Для стенда. Вы ведь заяц, так? А на зайцев у нас фотоохота. Как твоя фамилияимяотчество?..ницин... Аркадьевич... Работаешь?.. почтальоном?.. хорошо... – записав, он отошел к фотоаппарату на треноге, припал к окошечку и говорил некоторое время, скривив рот, словно пуская слова в обход камеры. – Да ты не беспокойся. Этот стенд будет здесь висеть, в диспетчерской, никто из посторонних тебя не увидит, будьте уверены... тэ-э-кс... Послушайте, а вы могли бы какую-нибудь рожу скорчить? – вдруг встрепенулся он.

– Какую рожу?!

– Какую хотите, любую. Изобрази кого-нибудь, или будто передразниваешь кого-то... как тебе больше понравится.

– Зачем? – спросил Илья, внимательно вглядываясь в лицо фотографа.

Однако тот как-то сразу и глубоко ушел в свои мысли и, на мгновенье вынырнув, дернув рукой, отрывисто бросил: «Погоди!»

Тимницын обернулся на монотонный шум за спиной: контролеры сосредоточенно, в четыре руки возили по обитому линолеумом столу перевернутые костяшки домино; его проводника среди них не было.

– Попробуй-ка высунь язык... – задумчиво, глядя под ноги, предложил Васенька и тотчас, как постороннего, сам себя оборвал, – нет! не надо язык! Сделай лучше такое лицо... ну, как будто ты признался и со всем согласен. Да!

– В чем признался? – обескураженно спросил Тимницын.

– Да ни в чем! Это к примеру. Например, тебя за что-то поймали и ты в конце концов раскаялся и признал свою вину, то есть наоборот: признал свою вину и раскаялся, и просишь, чтобы простили...

Тимницын ничего не мог понять, пожимал плечами, морщил губы, и это начало раздражать Васеньку.

– Ну вот, смотрите, можете вы сделать так?

Вытянувшись по струнке, Васенька сцепил внизу пальцы и уставился на свою озадаченную жертву. Лицо фотографа приняло просяще-плачущее выражение; тонкая блестящая прядь волос упала на переносицу, губы задрожали.

– Понятно? – произнес он, шумно выдохнув, – попробуйте.

– Я не смогу, – смущенно сказал Тимницын. – Да и с какой стати?! Нелепость какая... Нет, у меня ничего не получится.

– Получится, получится, еще как получится! Вам легче. У вас и лицо само по себе такое... грустное. Ну! На полсекунды.

Желая продемонстрировать, как у него не получится, и тем самым избавиться от домогательств, Тимницын обиженно перекосил лицо – сработала вспышка/щелкнул затвор.

– Еще разочек! – весело объявил мучитель. – Только повыразительней, побольше чувств.

– Нет! – решительно мотнул головой Илья. Я больше не смогу. И почему я должен это делать?!

– Что за несговорчивый человек! – хлопнув себя по ляжкам, в сердцах воскликнул Васенька и, взяв со стола кипу фотографий, подошел к нему; перед началом показа негромко пояснил:

– Маркушину Корнею Филипповичу, который вас сюда доставил, скоро шестьдесят стукнет, хотим мужику сюрприз сделать: на стенде юморную рубрику «Дед Корней и зайцы». Каждому уши дорисуем или приклеим, будет что надо.

Он передал раскрытые веером фотографии и, тыча пальцем, рассказывал историю каждой. Тимницын, послушно разглядывая снимки, косился на фотографа.

– Смотри! Вот где фрукт! Еле от него отделался, все просил еще да еще... А морды какие корчил – умора! И так, и эдак, только что раком не становился! Сценки всевозможные показывал... как собака муху ловит – во, видишь, на четвереньках, тут все ребята по полу катались, я тебе говорю! И все требовал, чтобы я обязательно фотографировал. Ну, я пару кадров сделал, а потом только вспышкой, для виду, вот артист, да? Уходить не хотел, пришлось в шею гнать. Да... бывают типы... А этот – вот уж харя так харя! Как говорится, в натуральном виде, как есть так и щелкнул. А этот пьяный был в лоскуты, я, говорит, секретный геолог, выслан из столицы для выполнения важного государственного задания, и пальцем все размахивает, понял? И губы облизывает. Я к нему Егорыча с Потехиным приставил, чтобы он со стула не свалился, ну и чтоб деру не дал, а он ругается!.. Я, говорит, суки (ну, я ему за «сук» потом в ребра воткнул), куда надо сообщу и всех вас попересажают. Пока «попересажают» выговорил – язык сломал. А я, слышь, ему говорю: ты, говорю, вот секретным геологом отрекомендовался, а знаешь, говорю, что у нас в Яме неделю назад неподалеку от «Акрополя» фонтан нефти ударил? На пушку взял, понял? А он, знаешь, так презрительно: «что?!», тут я его клац – и готово. Ничего вышло, да?.. Геолог! А вот этот реветь начал: отпустите, да отпустите, в ладони уткнулся и ни в какую. Здоровый лоб, а плачет как дитя. Даже жалко стало. Я ему говорю, да не бойся, че ты, мы на работу слать не будем, это ж тебе не вытрезвитель, повисишь месячишко и все. Он нет, да нет... Я ему тогда, ладно, шут с тобой, иди, раз такое дело, и только он на меня глаза поднял, так я его – щчелк! – и финита бля комедия! А эта психопатка что нам здесь учудила, Бог ты мой!..

Слушая пьяного, вошедшего в раж фотографа, Тимницын с отвращением перебирал снимки. И не нелепые, порой жутковатые гримасы моделей пугали его, а скорее сами лица – безжизненные, голые, непристойно и кощунственно раздетые убийственным светом вспышки. Все это смахивало на фотографии из учебника по судебной медицине, который когда-то доводилось листать. Но сверх того было еще нечто невыразимое, инфернальное, роковое в чрезмерной четкости коегде встречавшихся теней... он отшатнулся от фотографий и с не удававшейся прежде твердостью сказал:

– Нет. Я так не сумею.

Твердость, однако, оказалась скоротечной. Суеверный, затмевающий рассудок страх овладел им: что дальше? – студеной зеленоватой молнией плеснет в лицо магниевая вспышка и навсегда оставит, навсегда оставит, навсегда.

Он коснулся пальцами лба, закрыл глаза. Казалось, что под опущенными веками зрачки неудержимо разъезжаются, разлетаются в разные стороны, как тщетно пытаются разлететься, чтобы никогда больше не собраться вместе, мысли об упущенной возможности в тоннеле, о Жижине, о Викторе, о письме, о незнакомке под плакатами ГО...

Фотограф, видимо полагая, что Тимницын так же тверд, как минуту назад, решительно потребовал убрать от лица руку.

– Если не хотите как вас просят, то хотя бы не мешайте. С талонами ездить надо. Или с деньгами. Чччерт, пленка кончилась...

Тимницын поднялся.

– Мне нехорошо. Разрешите, я выйду на минутку...

Воздух контролерской сотрясался от ударов.

Фотограф презрительно усмехнулся; руки его привычно свинчивали аппарат с треноги.

– Идите...

С трудом сдерживая шаг, Тимницын вышел из контролерской; проходя мимо ресторана «Акрополь», еще оглядывался, ожидая погони; за глухо зашторенными окнами мягко, как ребенок в утробе, толкалась басами приглушенная мелодия; швейцар в фуражке с желтым околышем дул в свисток.

«Если не отдаст письмо, я его убью!»

VII. У Жижина. Гости

Жижин Петр Андреевич проживал в одном из тех типичных для Ямы двориков, что служили источником вдохновения не одному поколению лидийских поэтов и художников. Да и сосредоточенному на своих бедах сердцу Тимницына были милы их серийные приметы: затянутые вьюнком, плющом и виноградом дряхлые известняковые стены, деревянные с шаткими перилами балконы по периметру, похожие на скромные надгробья водяные колонки с холодными тугими рычагами, палисаднички с долговязыми мальвами, опекаемые кем-нибудь из соседей... В таком же дворе Илья провел первые шесть лет жизни. К сожалению, генетически порченая, крупноячеистая его память почти ничего из той жизни не удержала, а когда случайным, всегда внезапным движением эфира и прибивало вдруг какой-нибудь щедро расцвеченный фрагмент – ах, как томила невозможность как следует вдохнуть, распробовать, разглядеть особенный воздух этих воспоминаний, сообщавший персонажам – людям, животным, предметам – то дивное качество, которое будило в наблюдателе ни с чем не сравнимое райское чувство полного и безусловного доверия к ним!

Дверь была чуть приоткрыта. Поймав ухом резвый горячий ветерок, нащупал между двумя табличками – «Вход к переплетчику» сверху и «Жижин П. А.» снизу – кнопку звонка.

– Оченно рад вас видеть, Илюша! – сказал Жижин, впуская гостя в крохотные сени-кухню, где едва помещались обтянутый клеенкой посудный шкафчик, умывальник и газовая плита с двумя синими огнями, бушевавшими под цинковыми ведрами.

Жижин в тапочках на босу ногу, в сорочке навыпуск, – ввел Тимницына в комнату и, указывая на стоявшее на табуретках корыто, в котором пузырями всходило белье, виновато произнес:

– Житейская рутина, но что делать, за одиночество и независимость приходится платить и, поверьте, это еще не самая высокая цена! Раздевайтесь...

– Я на минуту, – отрезал Тимницын; мрачно подбирая причину визита, он только снял шапку и расстегнул пальто.

Жижин, кажется, не находил себе места: метнулся на другую половину комнаты, отделенную от первой двумя шкафами, платяным и книжным, потом, извинившись, выскочил в сени и вернулся оттуда с двумя ведрами.

– Мне тут на днях принесли одну забавнейшую книженцию «Путешествие...» ...черт!.. как же его звали-то? – Жижин нетерпеливо защелкал пальцами. – Джозеф, Джозеф... ну ладно, хрен с ним – о! – Перкинс, – одно из ведер рвануло вверх, и кипяток полился в корыто. – «Путешествие отставного капитана королевской гвардейской кавалерии сэра Джозефа Перкинса по Индии и прилегающим к ней странам», так, кажется. Я ее между делом, пока переплетал, всю и прочел. Конечно, говорить о ней всерьез не приходится, но там, среди всей этой чепухи и всяких экзотических пассажей весьма сомнительного свойства было одно любопытное остроумное местечко. Где-то в непальских предгорьях встречает этот самый капитан Перкинс какого-то оборванца, которого принимает за отшельника, ну и как человек образованный, знающий, с кем о чем следует говорить, чуть ли не со второго слова спрашивает: а что, по мнению монаха, есть истина и какие существуют пути ее достижения. Кстати, совершенно непонятно, каким образом капитан с непальцем разговаривает, переводчика при нем нет, а туземного он не знает, ну да Бог с ним. Отшельник под шум водопада и пронзительные вопли обезьян очень пышно и велеречиво ему отвечает, и в двух словах это выглядит примерно так: мол, все эти поиски истины досужие и больные выдумки европейцев (откуда такое знание европейцев, тоже остается загадкой). Задавать вопрос: как прийти к истине, так же глупо, как спрашивать: как научиться дышать. Потому что истина есть главнейшее необходимейшее условие существования, а чем необходимей предмет, тем он, как известно, доступней. Счет тут идет в более чем геометрической прогрессии, и если без пищи человек может протянуть два-три месяца, без воды несколько недель, без воздуха уже считанные минуты, то представить его вне истины вообще невозможно, как невозможно представить тень без предмета, ибо если бы она вдруг исчезла – вся наша вселенная, включая наши ищущие мозги,

в то же мгновенье распалась бы на мельчайшие частицы, по сравнению с которыми самая ничтожная песчинка выглядела бы Джомолунгмой! Глупый непалец, высокомерно резюмирует капитан кавалерии, очевидно, никогда не слышал о законе всемирного тяготения, открытого сэром Исааком Ньютоном, и когда я как мог объяснил ему его суть, он сказал, что да, именно это имел в виду, и записал себе имя европейского мудреца.

Вот такая славная история. Так что, если, Илюша, к вам когда-нибудь приступят с вопросом «что есть истина?», смело отвечайте: «закон всемирного тяготения» – и резонно, и безопасно.

«Зубы заговаривает...» – недобро глядя на хозяина, подумал Тимницын.

– А теперь, прошу прощения, я вас оставлю на пару минут, – сказал Жижин и, подхватив ведра, исчез за дверью.

Тимницын, не раздумывая, ринулся на другую половину; оставив без внимания стол с переплетным инструментом, устремился ко второму, письменному. На кухоньке заливисто распевал Жижин, пытался изобразить мадригальное ступенчатое многоголосие. С настенного календаря на Тимницына, круто вывернув белки, таращился темноликий, похожий на лубочного волка А. С. Пушкин. Тимницын повыдергивал из-под столешницы ящики, осмотрел, задвинул, перешуршал исписанными листами, согнал с належанных мест книги, перерыл... – но вот, углядев под дряхлым смуглым томиком (Зигфрид Хнюпке. Отравленное чувство) родной измятый уголок... Оно! Без конверта, уже залитое, кажется, чаем, кажется, сладким, с повытекшими буквами, уже вдоль и поперек, даже до безобразия, испещренное всевозможными птичками, скобками, двойными и волнистыми подчеркиваниями, неуклюже переползающими со строки на строку, восклицательными и вопросительными знаками по отдельности и в супружестве, уже... – но: вот оно!..

Вернувшись, Тимницын нахлобучил шапку, застегнул-расстегнул-застегнул пальто и, держась за пуговицу, глядя на двери, как бы взял разгон, чтобы – когда он двинется навстречу появившемуся в дверях Жижину – уход его выглядел делом решенным, а прощание мимоходным.

Разговор в сенях, однако, не затихал и, кажется, наоборот крепчал, перерастал в перепалку...

Как – разговор?!

До сознания озабоченного приготовлениями Тимницына только теперь дошло, что Жижин в сенях с кем-то бранится, и первая же безумная мысль о пьяном фотографе с треногой в сопровождении господ контролеров бросила его в дрожь.

Затягивая перепуг, дверь долго приотворялась и, наконец, в комнату протиснулся красный растерянный Жижин.

– Илюша, у меня небольшая заминка, – сообщил он виновато улыбаясь, – вы можете пока перейти на ту половину, там есть...

Он не успел договорить, резкий толчок отбросил его к окну, и в комнату ввалились двое, в одном из которых Тимницын с изумлением узнал Виктора. Вторым был некто Сеня, бывший старшина бронетанковых войск, как он сам представлялся, новый ополченец из той непросыхающей шушеры, что окружала Виктора. Оба были, конечно же, пьяны.

– О, Темнухес! – воскликнул Виктор; на нем была серая офицерская шинель без погон и кирзовые сапоги; и никаких следов насилия. – Мы думали, Жижин соседку прячет, а тут, оказывается, встреча мыслителей, кружок любителей горького философствования... – и он состроил скорбную мину.

Сеня, сухой, жилистый, с выкаченной грудью, подал Тимницыну руку и, хотя они были знакомы, представился:

– Сэмэн, что в переводе значит: «Се – человек!» – и, молодцевато кивнув, фальшивым хозяином прошелся по комнате, погляделся в темное стекло книжного шкафа.

– Это переходит всякие границы, – вымолвил наконец Жижин из угла.

– Вот именно! – подхватил Сеня, резко крутанувшись к нему, – неужели, Петя, тебе жаль трех рублей?! Тем более, что ты мне должен...

– Твой долг я уже давно отдал, – чеканно заметил Жижин, – а вот ты после этого брал у меня рубль и не вернул.

– Побойся Бога, Жижин, – вмешался Виктор, – у человека горе.

– Да! – обрадованно вскричал Сеня-старшина, выбросив вверх пятерню, – у меня же горе! Представьте себе... нет, вы только представьте! У меня все волосы дыбом встают, когда вспоминаю!.. Возвращаюсь я вчера со своей трудовой вахты домой – сменщик попросился вне очереди – спешу, естественно, к семейному очагу, прихожу, отпираю ключом дверь, вхожу, иду по коридору, и – вдруг! Что же я вижу!.. Моя ненаглядная супруга в чем теща родила раскинулась на нашей кровати... лежит, посапывает... и тут же перед нею на полу наш плотник из домоуправления без обмундирования – мужчина, между прочим, с виду вполне положительный, всегда в очках, с карандашом за ухом, со складным метром, старый партиец – сидит он, значит, перед ней, вернее, стоит на коленях и массирует ее во все лопатки... В комнате полумрак, только телевизор работает, что-то там про подготовку к посевной лепечет... в общем – интим... если бы не жена, повернулся бы и ушел, честное слово, потому что чувствую, мне сейчас самому медицинская помощь понадобится... Теперь внимание, – Сеня поднял указательный палец, – что я делаю!.. Тимницын, слушай! Женишься, может пригодится...

Рассказ старшины веселил только Виктора, он так и давился смехом сквозь зубы, сжимавшие погасшую папиросу; то и дело оттирая ладонью падавшие на лицо мокрые спутанные волосы, чиркал спичкой по стертому коробку.

– Я иду, – продолжал рассказчик, – открываю настежь входную дверь, возвращаюсь... Так же тихо, не обнаруживая себя, подбираюсь почти вплотную, и тут... – последовала искусная пауза (даже изображавший безучастность Тимницын ощутил щекотку нетерпения), – ...и тут я хватаю этого героя-любовника, как зайца, за щиколотки и вынуждаю посредством быстрого перебирания по полу руками немедленно покинуть помещение и выбежать во двор! При этом он, прекрасно понимая, что обратной дороги для него нет и не будет, старается захватить по пути как можно больше своих вещей и заставляет меня с этой целью, несмотря на мое отчаянное сопротивление, сделать почетный круг по комнате, и такой ловкий стервец попался – просто не человек, а какой-то туркменский варан, ей Богу! Мне кажется, что если бы дверь была подальше, он бы и одеться успел!.. Вот так. Вот вам и плотник-коммунальный работник, да? А позови стол, к примеру, починить, он тебе таких дров наломает, да еще три шкуры сдерет...

– А дальше? – спросил Виктор.

– А что – «дальше»? Во дворе я его немножко пожурил...

– Ногами, небось...

– Что ж ты хочешь – состояние аффекта.

– Все? – строго и недвусмысленно произнес Жижин; он по-прежнему стоял у окна, сложив руки на груди.

– Нет, не все, Петя, не все! – горячо возразил Сеня.– Мне теперь нельзя быть трезвым, потому что трезвый человек не может вынести таких адских мучений. Дай два рубля, хотя бы из гуманизма. У тебя тут за углом портвейн стоит, мой любимый номер – семьдесят два.

– Я уже сказал: эта тема исчерпана, – ответил Жижин. – Теперь все?

– А что с женой? – поинтересовался Виктор, словно и не замечая Жижина.

– Все в порядке, – успокоил Сеня. – Промеж глаз ей разок засандалил – восемь часов, как под наркозом, лежала. У меня вообще удар тяжелый, а действие от него мягкое.

Виктор громко, по-лошадиному фыркнул и, выронив папиросу, расхохотался.

– Ка-какое?

– Мягкое. Потом ничего не болит, как после чистого спирта. В 69-ом году во время учений на Алтае у командующего генерала-лейтенанта Широкожукова случился острый...

– Жукова – как?! – истерически всхлипнул Виктор и ухватился за шкаф.

– Широко... острый приступ аппендицита. Надо срочно оперировать, а в полевом лазарете из болеутоляющего только пятерчатка, и до ближайшего населенного пункта двести девяносто три кэмэ... а человек помирает. Вызывает тогда меня к себе главврач майор Денисов и говорит: Семен, надо Тимофея Васильевича спасать, на тебя вся надежда...

Наконец Тимницын решился и, не сказав ни слова, быстро вышел из комнаты.

«Темнухов, подожди, вместе пойдем!» и «Рядовой, почему самовольно покинули расположение!» – слышал он окрики Виктора и старшины, пока судорожно осваивал устройство входного замка.

– Вы уж, Илюша, простите, что так получилось, жизнь полна неожиданностей, часто не самых приятных, – торопливо извинялся пришедший на помощь Жижин, и, выходя следом, – может быть, вы что-то хотели мне сказать?

– А? Что?.. – хватаясь за перильца, чтобы удержаться на скользких ступеньках крутой железной лесенки, обернулся Тимницын. – Нет, ничего!

– Заходите, если что...

VIII. Соглядатай № 2

Илья точно запомнил – это была пара макроподов-подростков. В прикрытой лоскутком марли пол-литровой банке на проволочной ручке он нес их домой из зоомагазина на Ветеранской. Время от времени он поднимал банку и, невольно замедляя шаг, разглядывал покупку. Его сосед Сережа тоже не упускал случая получше рассмотреть рыбок и всякий раз приближал к банке лицо в крупных очках, одно из стекол которого было наглухо заклеено черной бумагой. Илья не заметил, как появились эти ребята; он только успел поднять голову, как один из них выпустил ему в глаза из какого-то пузырька тонкую крепкую струйку и пообещал: «ночью ослепнешь!» И все. Они прошли мимо – их было человек пять, года на два-три старше его и Сережи – и больше никогда Илья их не видел. Дурак какой-то, сказал на это Сережа. Глаза не жгло, даже не щипало, скорее всего это была обыкновенная вода. Дома он долго сидел один в спальне и его бил озноб. Банка стояла на подоконнике; закатное солнце нагревало воду, и макроподы уныло сидели на дне, тяжело двигая жабрами. Роняя слезы, он глядел на рыб и отчаянно ненавидел, потому что из-за них, из-за них он попал в беду, и зачем они ему теперь, если завтра он их уже не увидит... Когда подошла мать, он зарыдал и забился. Прибежала из кухни Лена. Позже пришел врач из соседнего дома. Они пытались узнать, что с ним произошло, но он ничего не отвечал, потому что был уверен: расскажи он, и тогда уж обязательно с ним случится обещанное, а еще он так боялся ужасного слова «ослепнешь», что избегал произносить его даже мысленно. Ночью он долго не засыпал, и хотя из-за полной луны в комнате было светло, все вскакивал в кровати и смотрел на горящие окна дома напротив. Утром же он вспомнил о вчерашнем происшествии, только когда Лена спросила, хорошо ли он себя чувствует, и в ту же секунду с неиспытанным ранее (да и позднее) восторгом обнаружил, что перенакаченное солнечным светом окружающее пространство сладко изнемогает от нехватки самого себя. Однако к вечеру он опять впал в беспокойство, решил, что его обманули или ошиблись в сроках, и *это* произойдет завтра. И еще долго, не одну неделю он обреченно носил в себе нехотя сходившее на нет ожидание.

Илья не успел тогда разглядеть озорника, плеснувшего в него водой, а если бы и успел, вряд ли бы запомнил, но так уж повелось, что стоило ему более или менее пространно задуматься о Викторе, как в памяти непременно, где-то с краю, всплывала эта история.

Виктор был на два года старше Ильи. Их свел случай: однажды темным осенним утром они оказались с глазу на глаз в пустом школьном коридоре, куда почти одновременно были выставлены из своих классов, и у Тимницына была одна сигарета, которую они выкурили на двоих. Так произошло то, о чем тихий, застенчивый, ничем не примечательный восьмиклассник Илья Тимницын не мог и мечтать: его приятелем стал Виктор Навроцкий – первая школьная знаменитость, герой самых громких ЧП, и в то же время лучший ученик, неизменно возглавлявший список успеваемости с той же легкостью, с какой возглавлял списки нарушителей дисциплины, что, должно быть, и имел в виду директор школы, назвав как-то Навроцкого «самым трудным подростком всех времен и народов».

Заносчивость. Вспыльчивость. Феноменальная память. Всегда плохо одет, какие-то обноски. Мастер на жестокие шутки и розыгрыши. Был невысок, худощав, даже тщедушен, но задирист и

бесстрашен. Никого никогда не приглашал к себе домой, а если надо было встретиться, сам назначал время и место (чаще всего у магазина «Коллекционер» – увлекался монетами). Никогда и ни у кого из преподавателей не числился в фаворитах, но почти у всех (кроме, разве что, директора и выпивохи-математика) вызывал стойкую неприязнь. И, вероятно, больше, чем высокомерие и прочие грехи, их раздражала его абсолютная неуязвимость и из нее вытекающая независимость. Школе, однако, как воздух, нужен был золотой медалист (первое место по области, переходящее знамя, премии и прочее), и она, плотно закрыв глаза на все художества, терпеливо, как мать напившегося сына, вела его к медали, которую он бы и получил, когда б не разразившийся за три месяца до выпускных экзаменов скандал: ученица одного из восьмых классов забеременела от Виктора Навроцкого. Несмотря на все старания родителей ученицы и школьной администрации сохранить случившееся в тайне и на срочно принятые ими меры, в результате которых «пострадавшая» уже через неделю училась в другой школе, да и с беременностью, по всей видимости, както удалось совладать, несмотря на все это, новость мгновенно стала достоянием общественности, и ни о какой медали не могло уже быть и речи. (Кстати, в те дни Илья в первый и в последний раз видел мать Виктора: маленькая, смуглая, ярко накрашенная, с гордо поднятой головой, она, после бурных разбирательств в учительской, вышла в вестибюль, где звонко, с пьяной развязностью прокричала, что поскольку в этой поганой школе работают одни взяточники и проститутки, то чего же ждать от учениц, которые неизвестно еще от кого тут беременеют, от своих дружков или от своих же учителей за хорошие отметки). А для тех, кто сомневался, подоспело еще одно чрезвычайное происшествие: у Навроцкого нашли запрещенную литературу – дореволюционный томик Ницше. И с той же страстью, с какой старались замять первый скандал, был раздут второй. С того дня Виктор перестал посещать школу и явился только на выпускные экзамены.

Кажется, не было в жизни Тимницына ничего разрушительней этой странной дружбы. С первых дней знакомства и вплоть до необъявленного отъезда Виктора в Москву Илья жил одной заботой: не утратить его расположения, любой ценой удержаться хотя бы где-нибудь на периферии его внимания. И чем больше презирал себя за это Тимницын, тем сильнее лез из кожи вон, чтобы заслужить, нет, не любовь, даже не благосклонность, а только возможность находиться рядом. Даже долгие часы тягучего изнурительного безделья, проведенные в обществе Виктора, были полны непонятной и оттого волшебной наркотической значительности и *оправданы* (хотя бы и задним числом) так же, как вниманием зрителей оправдано присутствие на сцене актеров, изображающих скуку. (Позже Тимницын, кажется, нашел этому объяснение: поставив однажды Виктора в самый центр своей вселенной, он, всякий раз оказываясь рядом с ним, попадал в область своего же, сосредоточенного на Викторе внимания. Всего-навсего. Объяснение, впрочем, не утешало).

Сам Виктор, если и не мог не ощущать напряженного обожания адъютанта, все-таки вряд ли в полной мере догадывался, с какими трудами и переживаниями оно было связано. Любой предмет, человек, событие, явление съеживались, блекли, затягивались мельчайшей серой пылью смертельной скуки, или же наоборот, оживали, цвели, вырастали в прямой зависимости от того, как относился к ним Виктор. Это привело к тому, что прочитанная без его предварительного отзыва книга, увиденный фильм или новый знакомый оказывались начисто лишенными каких бы то ни было качеств и невесомо зависали в пустоте, ожидая окончательного приговора. (В скобках отметим наиважнейшее: ведь и сам Тимницын, строго говоря, был не кем иным, как таким же зависшим в пустоте лишенцем, поскольку, как ни пытался, никогда не мог понять, что думает Навроцкий о нем самом.) Илья готов был и теперь поклясться, что не было во всем этом никакой фальши, и скорее мог допустить, что сама природа вещей каким-то чудесным образом менялась для него одного под взглядом Виктора. Вот яркий тому пример: не одну неделю проторчал он под окнами своей возлюбленной Верочки Б. из параллельного класса (впоследствии «пострадавшей»), не решаясь открыться, но: не успела еще сойти с губ Виктора снисходительно брезгливая улыбка, вызванная осторожным упоминанием о ней, а Тимницын уже был весь во власти осенившего его прозрения, и сладко замиравшее еще минуту назад сердце – которому, как известно, не

прикажешь – было пусто. И если бы он лгал себе тогда, разве испытал бы еще одно – той же силы, но уже с обратным знаком – прозрение, когда спустя некоторое время увидел на скамейке в привокзальном сквере целующихся Верочку Б. и Виктора Навроцкого?..

И все же главной, непростительной виной перед самим собой Тимницын считал не свое благоговение перед Виктором, которое все-таки можно было как-то оправдать (обаяние кумира, отголосок детской мечты о старшем брате и все такое), а то, с какой готовностью он доверил Навроцкому роль проницательного наблюдателя, видевшего его, Тимницына, насквозь. Каких только объяснений ни выдумывал Тимницын, чтобы выволочь на свет и аннулировать эту оплошность! Тщетно. Еще один, проницающий его, подобно рентгеновскому лучу, взгляд зажил какой-то самостоятельной жизнью, и оказалась она удручающе долгой.

После отбытия Виктора в Москву Илья с такой жадностью ловил и собирал весточки о нем, словно эти редкие, скупые и разноречивые сведения могли помочь нести свалившийся на него груз самостоятельного существования. Время, однако, как ему и положено, постепенно взяло свое, сведя на нет и боль утраты, и упование на новую встречу. Только через год после армии Тимницын впервые услышал от встреченного одноклассника, что Навроцкий уже давным-давно вернулся в Лидию, что довольно скоро по возвращении из Москвы он самым странным и нелепым образом женился на какой-то пьянице-дворничихе с Дегтяревки, которая вдобавок еще и на лет пятнадцать старше него, и теперь сам отчаянно спивается. Тимницын выслушал все это с интересом, но совершенно спокойно, так, будто ничего другого и не ожидал услышать. История отношений с Виктором казалась навеки закрытой и отошедшей в туманную область юношеских воспоминаний.

И когда месяца четыре назад, выкупив Виктора за трешку у милиционеров, которые, матерясь, запихивали его в фургон вытрезвителя, Тимницын тащил бывшего властителя дум к себе домой, он не чувствовал ничего, кроме веселого удовлетворения от удачной сделки. И только утром за завтраком, рассказывая о себе (немного усталой небрежности в интонациях и жестах), о героическом решении оставить университет, чтобы заняться исключительно собой (в чем заключалось это занятие, он затруднился бы объяснить, но не говорить же, что просто надоело), только утром Тимницын с пугающей ясностью обнаружил, что сидящий напротив, опустившийся до последней степени человек вновь подминает его под себя, – весы, словно Навроцкий за ночь набрал прежний вес, тронулись, поплыли, и вот Тимницын опять был готов на все, только чтобы выглядеть поинтересней перед этим оборванцем, а вчерашнее благодеяние оказалось всего лишь жалкой, к тому же провалившейся попыткой взять реванш, встать над, и какой же гадкой, подлой ценой: уберечь от казенной койки человека, которому она так же привычна, как домашняя! Это было... катастрофой, иного слова не подберешь. «А ты все такой же, совсем не изменился», – как будто вынося приговор, убийственно подытожил Виктор, впрочем, может быть, и ничего не имея в виду, но его спасителя от этих слов бросило в жар.

Нет, не мог Тимницын теперь так просто разойтись и, стало быть, смириться с поражением; он жаждал опровергнуть, доказать, что уже не тот, и сам открыл главу вторую в истории их взаимоотношений, которая – приходится, забегая вперед, признать – мало чем отличалась от предыдущей: Тимницын и не заметил, как расстался со своими честолюбивыми намерениями и занял прежнее место подле Виктора Навроцкого, представлявшего собой к тому времени типичного обитателя лидийского дна, беспробудного завсегдатая распивочных, коих было рассеяно по нашему приморскому городу великое множество.

Уже несколько дней спустя Илья побывал у него в подвале на Дегтяревке, в чем, кстати, не было никакой необходимости; Виктор собирался забежать домой, чтобы взять книги для продажи, но он буквально затащил к себе Тимницына, который был удивлен такой настойчивостью еще и потому, что хорошо помнил, как ревниво оберегал себя Виктор от посещений прежде.

Они глухо простучали по узкому сырому коридору с дворницким инвентарем и бочкой в потеках извести вдоль стен и вошли в освещенную низким ноябрьским солнцем комнату; Виктор оставил Тимницына у порога, а сам ушел в смежную.

За круглым незастеленным столом, спиной к окну, жена Навроцкого в дорожном оранжевом жилете, надетом поверх пальто, пила чай, а справа от нее, на широкой никелированной кровати, свесив короткие ножки в ботинках с очень высоким подъемом, делавшим их похожими на протезы, сидел маленький слюнявый уродец без затылка; когда Тимницын с Виктором вошли, он неторопливо, участвуя всем торсом, повернул к ним коротконосое, с отвисшей губой и раскосыми, вспухшими, будто заплаканными глазками лицо. С минуту, если не больше, он неподвижно, только моргая, смотрел на испуганного Илью, который, не зная чем на это отвечать, заметался взглядом по комнате. Нищетой и убогостью так и тянуло из всех четырех углов. Замызганные полы, в пятнах сырости стены, какие-то глупые, улыбающиеся фотографии из журналов и почетные грамоты, под облезшей радиолой на тонких шатких ногах банная шайка, полная грампластинок без конвертов... Тимницын смущенно перевел взгляд на окно, за которым, разгоняя пыльную листву, мелькали прохожие и два голубя с показной озабоченностью ходили туда-сюда по перилам, огораживающим подвал.

Окликнув уродца, жена Навроцкого бросила к нему на кровать очередную карамельку, а сама ринулась на кухню, где что-то полилось, зашипело. Конфета угодила в груду пластмассовых игрушек, но мальчик ее быстро отыскал, развернул и отправил в рот.

На улице они некоторое время шли молча. Илье почему-то казалось, что любой разговор на постороннюю тему будет звучать фальшиво, а заводить речь об увиденном он не решался. Виктор тоже молчал и, как представлялось Тимницыну, наслаждался замешательством спутника. Наконец, собравшись с духом, Илья, как мог непринужденней, спросил:

– А чей это ребенок был?

Виктор весело усмехнулся.

– Похож на меня, правда?..

Тимницын совсем смутился: трудно было придумать вопрос глупее.

– Есть, есть кое-что, особенно глаза, не находишь?..– продолжал Виктор; у него действительно глаза были раскосыми и немного навыкат. – Это Андрюха, Любкин сын... Хор-роший парень растет, во мне души не чает...

Тимницын понял, что Виктор над ним просто издевается, и поспешил поменять тему.

Такой понятный в первые часы встречи Виктор вновь погружался в непроницаемый омут тайны. То, что увидел Илья, его не просто потрясло, он наотрез отказывался верить, что все это: грязный подвал, стареющая женщина, маленький инвалид – все это всерьез, и был готов услышать (правда, вот, неизвестно от кого – не от Виктора же...) разумные объяснения увиденному. Тимницын вообще был горазд на такого рода ожидания и спустя какое-то время с той же непосредственностью ждал объяснений тому образу жизни, который он сам вел с момента встречи с Виктором, но неведомый гонец с разъяснениями определенно не торопился, и изо дня в день продолжалось все то же: безрадостные путешествия по винным подвалам и сомнительным квартирам, и нескончаемые пьяные беседы, от которых сводило зевотой челюсти и больше, чем от выпитого, мутился рассудок.

IX. Отец и другие постояльцы

У входа в тоннель под ж.д. насыпью Тимницын остановился: пропускал поезд; тут его взбудораженный мозг что-то напутал: поезд шел по насыпи, тоннель под нею был свободен. Достал из бокового кармана вызволенное письмо и не глядя переложил во внутренний. «Человек ему из петли пишет, а он: «если что, приходите»!.. если что, если что... если – что?»

На всем пути от тоннеля до остановки и еще некоторое время в трамвае какой-то окраинный, очень отдаленный уголок сознания докучливо беспокоило едва тлевшее недоумение: отчего он так долго не решался войти в тоннель? А тем временем еще один медвежий угол уже обживал ловелас-плотник из рассказа бронетанкового старшины: обзаведясь кое-какими расхожими и неясными приметами и столь же туманной биографией (и даже не ею, а скорее фактом ее наличия),

занимал свое место в ряду странных персонажей, никчемных героев никчемных историй, которые без разрешения, неизвестно по какому-такому праву и с какой-такой целью оккупировали квадратные метры отнюдь не просторной тимницынской памяти.

Кажется первым, старейшим из незваных постояльцев был мужчина из детского анекдота, пожилой, неряшливый, вечно небритый холостяк с усталым затравленным взглядом из-под кустистых непричесанных бровей. Однажды он вызвал к себе, в маленькую сырую комнатку с отставшими обоями, управдома и потребовал дать ему другую квартиру. «А в чем, собственно говоря, дело?» – искренне удивился гость, не замечая в комнатке никаких особенных изъянов и находя ее даже уютной. «У меня за стеной женская баня», – сказал хозяин и, показав пальцем на маленькое запотевшее окошечко под самым потолком, предложил гостю встать на стол. Дородный, с одышкой управдом приглашение принял и, взгромоздившись, жадно припал к стеклу.

«Что видите?» – поинтересовался жилец и получил ответ: «Вижу голову женщины и ее голые плечи...» – «Дать вам стул?» – «Если можно...» – «А теперь?» – «Вижу ее сиськи!» – «Табуреточку?» – «Давайте, давайте!» – «Ну что?» – «Вижу ее пупок и... и...» Начальник жэка вытянул шею, приподнялся на носки, но тут пирамида закачалась и с грохотом развалилась. «И вот так – каждый день...» – печально сообщил хозяин рухнувшему на пол гостю.

Была еще и такая парочка: проснувшийся среди ночи, ошалело уставившийся в окно пассажир поезда, внезапно набравшего световую скорость, и невозмутимый, отутюженный станционный дежурный с фонарем в руке – действующие лица брошюры по теории относительности. А еще некто Чехлов – вымученный, притянутый за уши, с глумливым чахоточным покашливанием примерявший пенсне и бородку классика, однажды соскочивший с грязной фанерной вывески где-то возле Старого рынка: «ПОШИВ ЧЕХЛОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ».

Странные капризы памяти в сожительстве с воображением...

Той же химеричностью отдавали и воспоминания об отце.

Ночью в прихожей загорается свет, и в дверном проеме возникает его силуэт в шляпе и длинном многоскладчатом, как римская тога, китайском плаще.

Сколько ни всматривался Илья, так он и остается в контражуре, надежно укрытый источником света за спиной; ощущение неясной горестной тоски.

Аркадий Яковлевич Тимницын.

Было в нем что-то от популярного полудетективного героя железнодорожных плакатов, мрачно прыгающего с платформы под колеса тупого одноглазого локомотива; изможденное, источавшее сумрак лицо – подсказка фотоальбома; и ботинки – о, да! – вот уж этого не забыть! – начищенные до фантастического агатового блеска ботинки: из всех возможных непогод выберем наисквернейшую (ну, хотя бы ту, что обещали на сегодня: мокрый снег, ветер), отыщем ландшафт поотъявленней (напр. вдоль и поперек перерытый раскисший двор), усугубим превосходной степенью опьянения (в струпьях грязи плащ, разбитая губа) и по достоинству оценим эту зеркальную неуязвимую черноту. Отжимая плечом железнодорожного самоубийцу, в соревнование вступает персонаж детского непристойного, проглотившего собственный хвост стишка: «Папе сделали ботинки – не ботинки, а картинки! Папа ходит по избе, гладит маму...» Соискателю, правда, очень не достает угрюмой сосредоточенности Тимницына-старшего: не разделял он возбужденного веселья домочадцев по поводу ботинок-картинок, не гладил маму, но с недоброй усидчивостью мерил комнату от дверей до безутешно булькающего «Телефункена» в дальнем углу и обратно. После получасового тугого завода, споткнувшись на полушаге, бросал в пепельницу недокуренную папиросу и исчезал на неделю, две, месяц, и ежели доводилось Илье с матерью встречаться с ним в городе, проходили мимо, старательно не замечая друг друга. Как-то раз из очередного похода им была приведена крупная рыжеволосая женщина, целый месяц смущавшая Илью круглосуточной небрежностью туалета, устойчивым излучением постельного тепла и виновато-подобострастным вниманием к нему, мучившим бедное воображение ученика начальных классов возможностью какой-то гибельной возможности. Еще дня два-три после ухода отца она, стараясь не выходить из спальни, где тщетно ожидала возвращения хозяина, грустно подкармливала Тимницына-младшего шоколадными конфетами, пока не была выставлена вон немногословной Леной.

Умирал он свирепо, тяжело, с руганью, с бредом (требовал срочно позвать какого-то Керкинбаева) и до самого конца не перемолвился ни с кем и парой слов, ограничиваясь приказами, а приглашенных врачей матерно с порога гнал прочь и ни одного к себе не подпустил.

Однажды пасмурным ветреным днем в самом конце апреля Лена встретила Илью возле школы и отвезла к своему престарелому родственнику на Голодаевку. Вернувшись через два дня, он обнаружил кровать отца и журнальный столик красноречиво прибранными и разведенными по разным комнатам, но ни тогда, ни позже не удалось ему до конца осознать смысл глухого сообщения «твой папа умер», и ощущение возможности новой встречи с отцом сохранилось до сего дня. Быть может, тем же ожиданием жила после смерти отца и мать, и оно, в конце концов, оказалось не напрасным – частенько заставал Тимницын ее за жаркой беседой с покойным: на полуслове умолкала, с рассеянной улыбкой кивала в ответ и вновь, очевидно вклиниваясь в паузу, – единственное, что мог слышать Илья из его монологов, – вновь говорила, говорила... Судя по всему, жили они душа в душу.

И, однако же: как это он исхитрился выскользнуть из памяти, почти не оставив следа?..

Из скупых, как японские трехстишия, высказываний Лены и неумеренно щедрых рассказов матери Тимницын только и узнал о нем, что был он страстным картежником, любил выпить, некоторое время где-то имел и содержал еще одну семью и несколько лет отсидел в Средней Азии за растрату казенных денег.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Ночной сопровождающий. Жижин

17-ое ПОС (почтовое отделение связи): мешок писем и 22 пачки газет. Одной пачки не было. Тимницын спустился к распахнутому контейнеру у дверей почты, два раза пересчитал и полез обратно в фуру.

Хлопнула дверь кабины и водитель громко пропел:

Жизнь прошла как сабантуй,
Как одно мгновение!
Раньше поднимался ...,
А теперь – давление!

– Эй, на корме! Уснул, что ли?..

Крепко постучав кулаком в жестяную обшивку, он подошел к контейнеру.

– Не хватает одной пачки, – сообщил Илья.

– Ничего, не сдохнут, если один день газет не почитают. Давай, вылазь, поехали...

– Спокойно! – развязно, в тон ему ответил Тимницын, показывая ладонь. – Сейчас отыщем.

– Слушай, ты, сыщик долбанный! – вдруг стервенея, грозно повысил голос перепачканный мазутом коротышка в натянутом на уши берете. – Ты сейчас дома спать завалишься, а у меня в восемь следующий выезд, а ну выметайся! «Спокойно...» Маму свою будешь успокаивать!

Тимницын послушно вылез и ушел в кабину.

Водителя звали Леней; в поездках он развлекал Тимницына (а следовательно и всех остальных сопровождающих) рассказами о своем многочисленном семействе (рефреном: «А я ему (ей, им) говорю: пока я жив, будет так, как я сказал!»), и Илья довольно живо представлял себе увальней сыновей и насмерть перепуганных невесток, каждый вечер выслушивающих нравоучения маленького дерганного тирана.

– Никуда не денется, найдется. Днем отвезу, – сказал Леня, ерзая, усаживаясь за руль поудобнее. – На, кури, – протянул Тимницыну пачку, – кури, кури, шея толще будет.

Торопливым перебором рук закручивая влево до отказа баранку, он выкатил машину с тротуара на мостовую, но вдруг резко ударил по тормозам и ткнул указательным пальцем в лобовое стекло.

– Смотри! Вот он, родимый... Я позвоню.

И оставив открытой дверь кабины, бесшумно выскочил.

По противоположной стороне площади вдоль невысоких с погашенными окнами домов быстро шел человек в шинели; на углу под вывеской «МЯСО» он остановился прикурить и свернул в переулок, в конце которого, в черном беззвездном небе зловеще горел клуб туго закрученного пламени из невидимой заводской трубы.

Только когда он исчез, Тимницын вспомнил об убежавшем из воинской части солдате, о котором уже недели две ходили в Лидии слухи.

Водитель вернулся скоро; махнул рукой.

– Ладно, и без меня поймают. А может это кто-то из самоволки идет, тут ведь женское общежитие рядом. Поехали!

Дорогой он ругал дезертира.

– А что ж ты думал – это тебе армия, а не бальный кружок. Терпи. Нас дерут, а мы толстеем! Я вот пять с половиной лет оттрубил и ничего, живой, а тогда не так били как сейчас, народ был покрепче, кровью харкали после побоев! Зато и порядок был. А эти моду взяли: чуть что – в бега... бегуны... Ничего, поймают, никуда не денется! Автомат-то ему зачем, дурья голова, ведь землю будут рыть, а поймают...

Тимницын сидел, завалившись в угол кабины; сладко ломило плечи; в руке горячо дымилась сигарета, и время от времени он раздувал готовый погаснуть огонек; курить не хотелось, а выбрасывать было жалко.

17-ое отделение было последним на этом маршруте, и теперь они возвращались в центр города, на главпочтамт.

Ночной сопровождающий – так эффектно это называлось.

Работа начиналась в три часа ночи – к этому времени все сопровождающие (их было около дюжины) собирались в одном из помещений почтамта – и заканчивалась в часов шесть-семь утра, в зависимости от дальности маршрута. Платили сущую безделицу, выходных на месяц давали четыре, и поэтому весь состав развозчиков газет, за исключением небольшой группы ветеранов, куда вошел и Тимницын, постоянно обновлялся. Странный это был народец: молчаливый, невыспавшийся, неприветливый, нерасторопный – ночные малокровные тени студентов, пенсионеров, матерей-одиночек и кандидатов в городские сумасшедшие, нехотя сходившиеся в насквозь прокуренной дежурке за длинным столом, где каждый ждал своего выезда.

Где-нибудь в дальнем углу на мешках с письмами особняком ото всех обычно отсиживался Алексей Алхимов, при появлении привлекший заторможенное внимание сотрудников тем, что несмотря на время года и ненастную погоду, продолжал ходить в сандалиях на босу ногу. Стеснительный Тимницын ночь за ночью тоскливо тынялся по дежурке, прежде чем отважился подсесть к нему и завести ознакомительную беседу. По-девичьи склонив бледное спокойно-задумчивое лицо, Алхимов вежливо слушал сослуживца, кивал, но на все вопросы отвечал коротко и словно не замечал заинтересованности Тимницына. А спустя несколько дней, когда Илья курил во дворе, укрывшись под навесом от дождя, Алхимов подошел к нему и вытянул из-под куртки небольшой, обернутый в газету и полиэтилен пакет. «Вот, возьмите, почитайте, только не здесь, пожалуйста, – сказал он. – Я сегодня работаю последний день, то есть ночь, так что можете оставить у себя, а если не пригодится, отдайте кому-нибудь, на ваше усмотрение...» – «Как, вы увольняетесь? – огорчился Илья. – Устали?» – «Нет, не в этом дело. Долго объяснять, – ответил Алхимов и, указав на пакет под мышкой у Тимницына, смущенно добавил, – может быть, если вы это прочтете, вам станет понятно... почитайте...» Постояв, он утвердительно кивнул каким-то своим мыслям и ушел в дежурку. Больше они не встречались.

Утром, вернувшись домой, Тимницын развернул сверток. В нем лежала стопка кое-как сшитых машинописных листов. На первой пустой затрепанной странице разборчивым почерком по

диагонали было написано: «Браво, Себастьян Браво!!!», а на следующей – «Андрей Решетилов. Опыт сравнительной метатопографии городов Мадрида и Лидии». Непослушными, ватными от сумасшедшего желания спать руками Тимницын пролистал рукопись: речь шла о каком-то испанце Себастьяне Браво. Бросив ее на стол, в ворох бумаг и книг, он повалился в кровать, а проснувшись и не вспомнил – его разбудил Виктор, и начался еще один, последний круг их совместной забулдыжной эпопеи, завершившийся бесславным заявлением Тимницына о намерении свести счеты с опостылевшей жизнью. Вот так. Ни много, ни мало. И что за чудный момент он выбрал для этого!.. Тут просто пир горой для такого любителя есть себя поедом, как Илья Тимницын. А было это в тот самый день, после той самой сцены в подвале (всего-то каких-нибудь пару часов спустя), когда смертельно пьяный Виктор, весь вечер задиравшийся то с одним, то с другим (случались у него такие шальные деньки), услышав, что Тимницын отказывается идти за вином, схватил его через стол за волосы, притянул к себе и, сметая посуду, пытался ударить лицом о столешницу. Их с трудом разняли. Весь трясясь, задыхаясь, Тимницын выскочил в коридор и там, под равномерное жужжание счетчика, набитого сухими тараканьими трупами, уговаривал себя вернуться и отомстить обидчику, уговаривал до тех пор, пока тот сам не вышел к нему и не полез обниматься, целоваться... И вот всего через каких-то два часа (да что ж это такое, в конце-то концов!)...

В оправдание можно только сказать, что в последнее время Илью часто навещали мысли о самоубийстве, но все-таки к осуществлению этих полуночных фантазий он был ненамного ближе, чем в детстве, когда, накрывшись с головой одеялом, в теплом и уютном подобии могилы пытался вообразить собственную смерть, и делил с осиротевшим миром безутешную скорбь по себе, ушедшему.

Впрочем, все было несколько сложнее, это позже бескомпромиссный Тимницын упростил. Дело в том, что у слетевшего с пьяного языка сообщения имелись и своя предыстория, и своя подоплека. Как-то раз, в редкую для Виктора лирическую минуту, он рассказал Илье сон, который много раз видел в детстве: будто стоит он на бетонном волнорезе на пляже в Барановке (дачный район Лидии), а в ночном небе бесшумно кружат вокруг него разноцветные планеты из детской энциклопедии начала века.

Знал бы Виктор, на какие странные размышления подвигнет Тимницына его пустячный рассказ, и что за удивительные выводы он из них сделает! Началось с нехитрой печальной аналогии: вот, мол, и я на манер одной из этих планет вынужден двигаться по одной и той же кем-то заданной орбите... Легкое раздражение, вызванное меланхолическим умозаключением, нарастало стремительно и бурно, и вот уже Тимницын едва не срывался в крик: но – почему?!. Ведь должен же быть выход из этого положения, должен же быть какой-то способ сойти с орбиты!.. И тут, на пике, вступал вдруг какой-то спокойный трезвый голос, который говорил: есть. Такой способ есть. И не только сойти с орбиты, но еще и поменяться с ним местами, сделать его жизнь частью своей. Вот он, этот способ – убить. Логика проста: пусть он, Тимницын, переживет свою жертву только на день, пусть даже на несколько часов, минут, но в то мгновение, когда это свершится, он сойдет с орбиты, встанет в центре и уже останется в нем навсегда.

И с некоторых пор две эти мысли (скорее навязчивые фантазии) – о самоубийстве и убийстве – стали жить в сознании Тимницына неразлучно: путь к осуществлению первого теперь пролегал не иначе как через осуществление второго, и всякий раз, добравшись до промежуточного пункта, Тимницын ощущал сильнейшее беспокойство: а что, ежели он сам, гуляющий под Богом, умрет раньше?.. или смерть подберется к Виктору с какой-то другой стороны?.. Хотелось схватить нож и не откладывая ни секунды бежать на Дегтяревку. Поэтому для Тимницына, находившегося в замкнутом круге этих маниакальных (и в известном роде, игривых) рассуждений, сообщение о своем намерении было равносильно оглашению Виктору смертного приговора.

Виктор выслушал приговор с той знаменитой обесценивающей ухмылкой, которую Илья особенно ненавидел и никогда не умел повторить, хотя тело его частенько и довольно ловко воспроизводило походку, жесты и кое-что из мимики Навроцкого. Уже наутро Тимницын пришел в

ужас от содеянного. На саморазоблачение не потребовалось и минуты: все эти подтексты с приговорами не стоили и выеденного яйца, а двигало им все то же подростковое стремление *выглядеть*... (Из отвратительной смеси угрозы, слезливо-пьяной жажды сочувствия и аппассионатки Тимницын сразу же выбрал последнюю, потому как и ее одной хватало вполне). Так далеко он еще не заходил. «Что-то я не пойму, или ты еще на этом свете, или я уже на том!» – так и звенела в ушах фраза, которую он ожидал услышать от Навроцкого при первой же встрече. Илья был уверен, что вчерашний пассаж Виктор будет помнить долго, и дальнейшие их отношения будут теперь развиваться на фоне этого нелепейшего заявления. И уже в тот же вечер (или на следующий?) опасения его начали подтверждаться: в девятом часу в дверь осторожно постучали, и Лена впустила к нему в комнату Петра Андреевича Жижина.

С Жижиным, отдаленным приятелем Навроцкого, Илья имел знакомство самое шапочное: коротко кивал встречая и ни разу не обмолвился и полсловом. Однажды он застал финал ленивой перепалки между ним и Виктором в подвале на углу Баррикадной и Сретенской. Когда он вошел, Виктор, едва держась на ногах, то и дело падая на деревянные перила, поднимался к выходу. «Да ладно!.. – презрительно отмахивался он. – Ты еще про равенство и братство что-нибудь расскажи... – и, обернувшись, обратился к стоявшему внизу Жижину. – Что ты вообще можешь об этом знать?! Постыдился бы. Ты же всю жизнь в учителя лез, в наставники, а я на всех учителей вот такой вот, – он обвел обитателей подвала рукой по локоть, – понял?.. Ты так и помрешь со своим желанием кого-нибудь поучить, тебе его в гроб положат, как самое дорогое, что у тебя было... да ладно... – он закинул руку на плечо подоспевшему Тимницыну, – об чем нам с тобой говорить! Ты подумай: кто ты и кто я!.. Хорошенько подумай...» Невысокий, полнотелый, с обширной лысиной и необычайно свежим цветом лица мужчина лет сорока пяти, Жижин в ответ размеренно кивал и, насмешливо двигая бровями, промакивал губы платком.

Судя по обоюдной язвительности, сквозившей даже в их коротких приветствиях, спор этот был не первым и не последним. На вопрос, кто такой Жижин, Виктор пренебрежительно промолвил: да так, один занятный папашка, краевед... Однако Илья все-таки почувствовал, что оппонент из серьезных.

Он был сильно удивлен, увидев Жижина у себя в комнате. Тот протиснулся в приоткрытую дверь бочком, внося впереди себя портфель; приветливо улыбался.

– Илья Светлицын?..

– Тимницын.

– Точно! Прошу прощения. Опять ошибся. У меня в голове постоянно какая-то антонимическая путаница, все вспоминаю наоборот: светлое как темное, широкое как узкое, веселое как прискорбное... А меня зовут Петр Андреевич. Жижин. Мы с вами несколько раз встречались.

Тимницын, привстав, пожал мягкую теплую ладонь.

– Я смотрю, у вас тут просто кошачий заповедник,– сказал Жижин. – Любите кошек?

– Мать любит.

– Понятно. А знаете как будет по-немецки «мяукать»... Миауен. Мило, правда? Я в детстве собирался быть разведчиком и усиленно изучал немецкий. Причем сразу начал с самых редких слов, вроде «корябать» или «расплющивать», потому что был убежден, что именно на такой ерунде и проваливаются. Впрочем, ничего уже не помню. Из всего великого и могучего Гете и Шопенгауэра только вот «миауен» и осталось, если, конечно, не считать общеизвестных «ауфвидерзеен» и «данке шон»... Я, кстати, к вам как раз по вопросу о кошачьих.

Далее Жижин, представившись служителем зоопарка и сообщив, что по его халатности из клетки убежал лев, попросил у Тимницына содействия в поимке. По словам Жижина, лев перебрался через стену зоопарка и там же, под стеной, и остался, спрятавшись в густых зарослях граничащего с зоопарком сквера. В данную минуту он, должно быть, доедал коровью ногу, которую ему скинули со стены Жижин с напарником. Нога была приправлена снотворным. Илье же отводилась скромная, но ответственная роль силуэта охотника: он должен был с каким-нибудь предметом, издали напоминающим ружье, стоять на освещенной аллее сквера, чтобы перекрывать

зверю путь к дальнейшему бегству, пока Жижин с напарником будут набрасывать на него сеть. Жижин уверял, что уже проделывал такое. Он сказал, что попросил было о помощи Виктора Навроцкого, но тот отказался и порекомендовал Илью.

Закончив, гость с улыбкой уставился на Илью, который, естественно, не поверил ни единому слову, хотя к тому моменту, убегая от впечатлений вчерашнего дня, был уже пьян капитально.

– И часто они у вас бегут? – спросил он, глядя в глаза Жижину.

– Как вам сказать... При первой же возможности, – не моргнув, отвечал тот. – Этот лев уже второй раз... как-то крокодил в канализационную сеть проник... Но самое громкое дело было, когда страус эму ударился в бега, еще бы чуть-чуть – и упустили, задержали аж на границе с Афганистаном!.. Причем его уже и окольцевать успели, какой-то педантичный орнитолог...

Все это было так грубо, так вызывающе, чудовищно грубо, что Тимницын... согласился. Ему вдруг представилось, что там, куда звал Жижин, его ждет какое-то последнее, самое главное унижение, какая-то пьяная хохочущая толпа, которая выйдет ему навстречу во главе с Виктором (что-то даже вроде взятия под стражу мерещилось ему – с факелами, мечами, собачьим лаем)... Ну что ж, он готов принять и это. Потому что ему теперь наплевать. Наплевать на все. Он предоставит им такое развлечение – Тимницын, ловящий льва. Что может быть забавнее? И, если уж на то пошло, должен же он расплатиться за вчерашнюю свою выходку. Будет хороший урок на будущее, которого не будет...

Тимницын согласился. Услышав его согласие, Жижин засуетился и поспешил уйти, сказав, что ему надо бежать к заждавшемуся напарнику, а Тимницын пусть переодевается и подходит в сквер, на аллею, ближайшую к стене зоопарка, благо это совсем недалеко.

Увы, ожиданиям Ильи не суждено было сбыться. Его лишили даже этого. Он проторчал около получаса на пустынной аллее, гадая, откуда же, с какой стороны выскочит орда злых насмешников, но так и не дождавшись, поплелся домой.

А в девятом часу вечера следующего дня в дверь осторожно постучали, и Лена впустила к нему в комнату Петра Андреевича Жижина. Пропуская вперед свой портфель, он протиснулся в приоткрытую дверь бочком, а пребывавший в том же состоянии, что и сутки назад, Тимницын при его появлении медленно поднялся и сел на кровати, удивленно хлопая глазами, и таким образом несколько минут вчерашнего вечера их совместными усилиями были воспроизведены почти в точности.

Жижин сразу же, с порога повинившись во вчерашнем, признался, что совсем и не думал заходить так далеко, но слишком уж увлекся импровизацией и потом, не зная как ему вывернуть назад, позорно бежал. В знак чистосердечного раскаяния и примирения он достал из портфеля бутылку вина и пару пирожных. Тимницын был настолько измучен событиями последних дней, их бесконечным пережевыванием, что был рад и такому поводу отвлечься.

Как возникла у Жижина идея розыгрыша, подгадал ли он его специально к тому дню или же так вышло случайно, и какую роль сыграл в этом Виктор Навроцкий, Тимницын так никогда и не узнал. Он не спросил сразу, а потом уже не хотел к этому возвращаться.

Уходя, Жижин пригласил его к себе в гости, в Яму. Илья побывал у него два раза. А потом написал ему дли-ин-ное письмо.

II. Странности. Незнакомка

С мутномалинового низко надвинутого небосвода с мартовской последней бесшабашностью валил крупный тяжелый снег; на улицах было тесно и по-праздничному суматошно. Второй час Илья кружил по городу; изредка ненадолго и без всякой цели забегал в магазины.

В этих время от времени предпринимаемых им прогулках, в стремительных беспорядочных метаниях по улицам и переулкам Лидии было что-то нездоровое, нервическое. Какая-то нерастраченная энергия гнала и гнала, не давая опомниться. Домой приходил, как выжатый, и валился спать не раздеваясь.

Иногда, а бывало, что за вечер по нескольку раз, появлялась видимость цели: выбрав из спешащей толпы кого-нибудь, упорно преследовал до тех пор, пока тот (чаще, конечно, та) не терялся в той же толпе или не исчезал в подворотне.

Случалось и обратное: взбредало на ум, что за ним самим кто-то следит, и тогда начинались хитрые петляния, запланированные шараханья, мудреные переходы с улицы на улицу через проходные дворы, коротенькие, на одну-две остановки, переезды и т. д. Наличие гипотетического преследователя скоро становилось необязательным, опускалось, и тогда дальнейший маршрут пролегал уже под диктовку многоразличных вех и примет, а роли уходящего от преследования и преследующего как бы смешивались, соединялись в какое-то новое качество. Надпись на стене, лицо прохожего, хлопнувший над головой транспарант, обрывок фразы, убежавшая вперед от фар нагоняющего автомобиля собственная тень и проч. – вносили ежеминутные неожиданные поправки: заставляли нырнуть в подземный переход, перейти на трусцу, повернуть назад, свернуть...

Все происходило в трезвом расчетливом бреду, где нагромождение подробностей заслоняло от стихийного метатопографа Ильи Тимницына окончательный, если таковой был, смысл.

«Выходя из дому, я должен: а) открывая дверь, сделать это в один прием, рывком, т. к. она у нас очень туго ходит; б) захлопнув, коснуться пятерней продольной перекладины в районе глазка так, чтобы двери коснулись только подушечки всех пяти пальцев, но не ладонь; в) до лестницы идти исключительно по черному кафелю; г) спускаясь по лестнице, ступать на каждую вторую ступеньку. И вот только тогда свободен. Чтобы пройти из моей комнаты в кухню, необходимо всю дорогу постукивать костяшками кулака по стене: четыре удара через более или менее равные промежутки времени, пятый сразу за четвертым уже у самого входа в кухню; выйдя из туалета, я выключаю свет, потом, как бы подумав, вновь включаю, и тотчас погасив, щелкаю по выключателю ногтем указательного пальца. Можно привести еще много примеров из моего поведения в транспорте, по дороге на работу, на работе, в магазинах и так далее. Что же будет, если я не выполню какой-нибудь из ритуалов (ведь случается же такое, правда, очень редко, по забывчивости)? Ничего особенного. Несколько минут неприкаянности, томления, сердечной ломоты (иногда, впрочем, настолько сильных, что приходится с полпути бежать назад и отрабатывать пропущенное). Должно быть, какие-то отбросы психики, мелкий докучливый сор, необходимая порция безумия. Однажды я решил от этого избавиться. Рассуждал так: все эти не имеющие числа ритуалы и ритуальчики (они рождаются в каждой новой ситуации) надо заменить одним общим ритуалом и совершать его, допустим, перед сном, т. е. благодаря статусу, которым я его наделяю, он должен аннулировать все предыдущее. И сначала все шло хорошо, однако уже недели через три я с удивлением обнаружил, что все они по одному, тихой сапой ко мне вернулись, а к ним присоединился еще один – перед сном. Все это очень напоминает историю моих самонаблюдений. Время от времени я строго себе приказываю: довольно, ничего не было, забудь! С этой минуты ты есть ты, отбрось сейчас же всякие дурацкие измышления о двойниках, перетеканиях и прочем; все, что происходит с тобой – происходит, идет нормальная *твоя* жизнь, и ты это знаешь, чувствуешь, запоминаешь. И опять-таки не сразу, но приходит день, и очень скоро приходит, когда вдруг обнаруживаешь себя вновь отброшенным назад, и опять все смешивается, теряет очертания и невозмутимо двигается дальше, но – ! – уже с привлечением последних данных. И вот тогда думаешь: а м. б. для того, чтобы забыть о прикладывании к глазку и хождению по черным кафельным плиткам, надо всего-навсего куда-то опаздывать, иметь какую-нибудь неотложную, важную цель?.. А бесконечные уговоры, обещания самому себе и перемены ритуалов никогда ни к чему не приведут...»

Свернув на пеструю, многолюдную Воскресенскую, Тимницын узнал в молодой женщине, круто развернувшейся лицом к нему, торопливо поднимавшей меховой воротник пальто, незнакомку из контролерской. Выждав, пока стихнет порыв ветра, она, склонив голову, быстро пошла в сторону пл. Восстания, и Тимницын последовал за ней.

Незнакомка, ловко лавируя между прохожими (чего никак нельзя было сказать об ее преследователе, рассеянно засевавшем улицу еле слышными «извините»), легкой семенящей поход-

кой летела мимо ломившихся от кубометров неонового света, осаждаемых снежными хлопьями витрин. Славный ходок Илья без особого труда ее нагнал, и скоро ему пришлось усмирять шаг, с притворно растерянным видом останавливаться, петлять, то есть в который уже раз посредством замысловатого пчелиного танца вычерчивать-рассказывать неведомому надреальному наблюдателю длинную путаную и на редкость бессодержательную историю своей безотрадной холостяцкой жизни.

Едва они оказались на остановке, наводненной нервозным застоявшимся людом, как подкатил трамвай. Незнакомка решила пробиваться к передним дверям; Тимницын, посекундно оглядываясь, как бы держа на привязи ее темно-сиреневую шляпку, двинулся к задним. Толпа нехотя всосала его в себя, стиснула, занесла на ступеньки, развернула. Левой рукой, кончиками пальцев он ухватился за вертикальный поручень, ладонью правой уперся в потолок. Сквозь тяжело, целую вечность сходившиеся двери в глаза бросилась размашистая с потеками надпись на освещенных воротах «ВО ДВОРЕ ТУАЛЕТА НЕТ!», и положение напрягшегося, словно рвущегося куда-то тела сообщило невольному взгляду абсурдную трагическую значительность: прощание с воротами.

В осадной давке Тимницын все же потерял незнакомку и через несколько остановок, когда в вагоне стало посвободней, пережил коротенькое, уже знакомое ему приключение (то, что Себастьян Браво, а вслед за ним и Андрей Решетилов называют «подлогом»). Сначала, неловко вывернувшись, он дотошно изучал лицо стоявшей позади него девицы, ничуть не смущаясь хотя бы тем, что она совсем иначе одета, да еще на целую голову выше потерянной; затем тот же подозрительный пристальный взгляд он перевел на женщину с вертлявой девочкой на коленях в самом конце вагона; а кончилось тем, что поймал себя на усердном разглядывании ее соседа, то ли мужа, то ли просто спутника, так и эдак ворочавшего вечернюю газету.

Дивясь тому, как далеко его, однако, занесло, и гадая, что же именно в этом пожилом прокопченном лидийском рабочем могло напомнить молодую, недурную собой барышню, Тимницын сконфуженно ретировался к передним дверям и оказался аккурат за спиной незнакомки: упершись сапожками в красный железный ящик по имени «ПЕСОК», она безмятежно глядела в окно.

На подобном психологическом казусе построен сюжет «Двух девушек в черном» Теренция Плуга (1975 г.).

Недоучившийся студент Василий Худобенко почти ежедневно навещает самодеятельного философа и оккультиста У., которого он самовольно выбрал себе в духовные наставники. Младший научный сотрудник У. в ужасе и от выбора Худобенко, и от его неукоснительных визитов. Положение У. осложнено еще и тем, что всякий его нелюбезный прием, любой самый грубый намек на нежелание никого принимать, в том числе и Худобенко, расцениваются последним не иначе как своего рода практика. Отчаявшийся учитель тогда предпринимает следующее: в один из дней, напустив на себя некоторую торжественность, он сообщает: да, все последние месяцы шла, как, наверное, успел заметить и сам Худобенко, крутая духовная работа, но сегодня работа завершена, и он, У., выпускает Худобенку в мир, чтобы там он обрел истинное просветление, а произойдет это чудо в то самое мгновение, когда он повстречает на улице двух девушек в черном (тут, может быть, вся каверза, которой не заметил ученик, в том, что именно девушек). С этой минуты и начинаются мытарства Худобенко. Оказалось, что это не такое уж простое дело. Главным же испытанием для Худобенко стали бьющие по его издерганным нервам раздражители – пара любых черных предметов бросала его в дрожь, а то и в мимолетный обморок, и частенько бедному ученику казалось, что вот, только что стоял он на тонкой, как лезвие, грани между этой жизнью и какой-то другой, пока до его взъерошенного сознания доходило, что это всего-навсего пара черных: автомобилей, котов, ботинок, авторучек, сковородок, галок, студентов, перчаток, маслин, зонтиков и т. д.

На конечной толпа, вывалившая из обоих вагонов, стреноженно семеня по наклонному обледеневшему тротуару, дружно двинулась в тоннель. Незнакомка же сразу взяла вправо и пошла по улице вдоль насыпи, но в сторону противоположную той, куда не так давно Тимницына уводил контролер.

Мельком глянув на табличку – ул. Героев Стратосферы,17, – Тимницын вошел за ней в скверно освещенный подъезд. Под бойкий перестук каблуков взбежал по мраморным, с оплывшими краями ступеням. На площадке между этажами возле кучи сошедшей со стены штукатурки замер.

Как только незнакомка, прозвенев ключами, исчезла за дверью, поднялся.

На косяке, справа разместились три звонка: Зацепина, Маркушин, Репин.

«Зацепина, – прошептал Тимницын, – Героев Стратосферы 17, квартира 3. Зацепина И. ... Ирина, Инна, Ирма... Ида?»

Дверь квартиры напротив была приотворена, и Тимницын, еще не вышедший из роли филера, подошел послушать имевшую место за ней пьяную беседу.

– А тебе что? Тебе все до одного места, – говорила женщина, – ты будешь жить долго, как твоя мама.

– Причем тут моя мама? – возражал мужчина.

– Притом.

– Ей что, много лет? Ей еще шестидесяти нету.

– А что, это мало, по-твоему? Я, например, столько не проживу.

– С чего ты взяла?

– Знаю.

– Откуда ты можешь знать? Ты что... этот?

– Я тебе русским языком говорю: я чувствую.

– Ты что, этот что ли?.. ну, тот, который... как его... что ты чувствуешь?

– Отстань. Убери руку. А вот – то! то! то! то чувствую, что сдохну скоро! Понял?!

– А почему я, например, не чувствую?

– Руку убери! Он не чувствует... А что ты вообще чувствуешь? Тебе все до лампочки, ты будешь жить долго, как твоя мамуля.

– А что, моя мамуля долго живет? Ей только шестьдесят будет... или шестьдесят один.

– Вот именно! Или шестьдесят два. Или шестьдесят три, или шестьдесят четыре. Это – мало? Мне вот столько никогда не будет.

– Почему?

– По кочану. Знаю потому что... опять? Убери.

– Что ты знаешь? Как этот, что ли?.. помнишь, по телевизору?..

III. Сумароков

Высоко в черном холодном воздухе висела маленькая полная луна и, подобно мячу в популярном фокусе, вытягивала на себя малозвездную материю неба. Над головой, в тяжелых кронах платанов выло и трещало; по левую руку, в порту, как ни в чем не бывало, стояли в пух и прах разряженные корабли. Часы со светящимся циферблатом на Большом Сысоевском бульваре показывали без четверти десять, и Тимницын решил зайти к Сумарокову, у которого надеялся разжиться травкой.

У выхода с пустынного в этот час бульвара он оглянулся, поймав краем глаза набежавшую из отчетливой черноты рубиновую слезу маяка, и ему показалось, что от одного ствола к другому переметнулась чья-то тень. Не сводя глаз с подозрительного дерева, Тимницын пятился до тех пор, пока не присел, мягко споткнувшись о бровку. Вскочил, развернулся, побежал.

С Сумароковым Илья познакомился в университете. Это был сутуловатый, тихий, заикавшийся от робости юноша. Разговаривая, он попеременно тер пальцами горько наморщенный лоб, скулы и подбородок, поросший редкой льняной бородкой, словно пытался стереть или переиначить раз и навсегда ему данную недоуменно-скорбную гримасу Пьеро. Некоторое время спустя после их знакомства, когда благодаря его одностороннему усердию их отношения перевалили в разряд приятельских, он, волнуясь, неловко сочетая конспиративность с торжественностью, вручил Тимницыну перепечатку книжки индийского гуру Раджа Брахвана «Я – дверь!» (почти

слепой экземпляр с бесконечной вереницей опечаток). Один из учеников гуру задавал вопросы, а тот со своей стороны не скупился на ответы, суть которых сводилась к призывам отказаться от «я», вынесенного в название то ли по неосторожности, то ли из неистребимого дзэн-буддистского пристрастия к парадоксу. Книгу Тимницын не дочитал, где-то к середине устав выуживать периодически исчезающий шрифт и одновременно потеряв всякий интерес к постулатам гуру, но возвращая ее Сумарокову, почему-то об этом умолчал, промычал даже что-то в знак одобрения и вскоре был приглашен на подпольные собрания лидийских брахванитов, проходившие один-два раза в неделю в новостроечном районе Мощевки, неподалеку от суперфосфатного завода, на квартире у некоего Чмонова, которому сам Радж Брахван Дверь контрабандой переслал посвящение в ученики, свою фотографию («малу»), персональную мантру и новое санскритское имя. Неизменная программа собраний была такова: сначала общая медитация в спальне, затем чай и разговоры на кухне. Первое отделение Тимницын обычно проводил в отчаяннейшей борьбе со сном, а во втором усмирял растущее день ото дня раздражение, которое вызывали новые знакомые: хозяин, сорокалетний надутый обладатель ассирийской бороды, три его словоохотливые наложницы и вся остальная челядь, включая Сумарокова. Председательствовал, разумеется, Чмонов: помешивая чай, подсветив лицо бесстрастной улыбкой бодхисатвы, уставившись в даль, которая, должно быть, только ему одному и открывалась, заводил плановую беседу и говорил при этом очень тихо, принуждая соратников напряженно вслушиваться (неосторожно громыхнул чашкой – и уже что-то пропустил, и поймал несколько ястребиных взглядов). Более же всего Тимницына во время прослушиваний бесили пытливые, прицельные взгляды Сумарокова, как бы молниеносно определявшие, достаточно ли он, Тимницын, понимает всю глубину того, о чем идет речь. «Дурак!», всякий раз выругивался про себя Илья, невольно строя в ответ нелепо серьезную мину. Очень часто и пространно говорилось за чаем о повсеместных ожесточенных гонениях на последователей Раджа Брахвана, о возможных скорых арестах в Лидии, и вот эта никогда не остывающая, сплачивающая участников собраний атмосфера нелегальности вкупе с робким, но настойчивым надзором Сумарокова, заходившего за Тимницыным в назначенные дни, мешала положить конец поездкам на Мощевку. Весьма кстати пришелся тут сеанс «динамической медитации», которой в брахванистской практике отводилась важнейшая роль. Задача была все та же, выйти за пределы своего «я». Как-то в самом начале октября, ранним утром, всей честной компанией, с хозяйственной сумкой, полной заготовленного на этот случай вина, отправились за город. Через час высадились на пустынном берегу моря и расположились у самой воды, небывало чистой, с лениво ползавшей по дну золотой солнечной сетью и невесомыми прыткими стайками мальков. Медитация проводилась впервые, все были порядком взволнованы и торопились захмелеть. Только не успевший отдохнуть после работы Тимницын не притрагивался к вину, зная по опыту, что не продержится и четверти часа. День выдался тихий, славный, осененный невысоким, как бы задумчивым солнцем. Разговор не клеился, то и дело замирал на полуслове: все напряженно ждали какого-то знака или сигнала. Первой поднялась старшая из брахваниток, Лилова; потряхивая затекшими ногами, она разделась донага и, вскинув руки с расслабленными кистями, опустив индейское лицо, самоуглубленно прошлась перед притихшими соратниками. Затем инициативу в свои руки нехотя взял начальник экспедиции Чмонов: разулся, подкатил до колен брюки, вошел в спокойную, как мед, воду, прополоскал горло и после продолжительной паузы надсадным ревом истомившегося изюбра объявил о начале. Через считанные минуты аккуратный гостеприимный пляжик превратился в выгон для буйнопомешанных: заливисто визжала Лилова, во все стороны метал песок, матерился и выталкивал из себя нечто похожее на хохот истопник Кудрин, у ног Тимницына колотился в падучей Сумароков, застенчивая библиотекарша Вера упрямо заваливала на себя строгого неулыбчивого Боброва... С той же горячечной одержимостью, с какой его спутники предавались медитации, Илья пособирал выскользнувшую из кармана в песок мелочь и зашагал к полустанку, на ходу гримасничая и ежась от неловкости, и тем не менее, подбирая и себе какое-нибудь никем не востребованное проявление сумасшествия...

Травы у Сумарокова не было, и Тимницыну за неосторожный визит пришлось расплачиваться получасовой отсидкой. Поговорили о погоде, о работе, о беглом солдате.

Нахохлившись, втиснув кулаки в карманы пальто, Тимницын сидел на краешке тахты; рядышком, у стены стояла подушка, серая, мятая, согбенная, как нищенка. По маленькой, с паутинным срамом в углах комнатке, так похожей на его собственную, разгуливал холодный сквозняк; под потолком медленно вращалась люстра, и с какой-то унылой обреченностью у ног Тимницына ходила из стороны в сторону тень от стула.

То и дело Илья с досадой натыкался на пристальные взгляды хозяина; в неподвижных крепких зрачках было что-то птичье, глупое, назойливое.

«Пора. А то еще чего доброго...»; встал.

– Илья!.. – остановил его Сумароков. – Знаешь... я к тебе на днях заходил...

– Да. Лена передавала.

– Знаешь... а я ведь больше к ним не хожу.

– К кому «к ним»? – спросил Тимницын с пренебрежительной ленцой, прекрасно понимая о ком идет речь.

– К Чмонову.

Тимницын только пожал плечами. Взятый Сумароковым проникновенно-доверительный тон ему был не по душе.

– Уже месяц как, – добавил тот.

Отказываясь от ответного хода, Тимницын вероломно нарушал расчеты Сумарокова на откровенный разговор, и его молчание приобретало какой-то недружелюбный оттенок, тяготивший больше, чем сама беседа.

– Ну, что ж, – протянул он через силу, – рано или поздно все надоедает. Пойду я... – повертев в пальцах фигурку Будды, скверно вырезанную из мыльного камня, поставил ее на место, на этажерку с книгами.

– Постой! Я вот хотел... Сейчас! Постой... – всполошился Сумароков. – Дело совсем в другом, гораздо сложнее, а может быть проще, мне кажется, ты это можешь понять... М-м-м-м-может быть, ты помнишь, в одной из своих работ Радж Брахван говорит, что наша боязнь расстаться со своим «я» напоминает желание удержать воздух в кулаке, когда достаточно просто раскрыть ладонь. Кажется, там же он рассказывает притчу о человеке, который выстроил себе огромнейший дом и скоро понял всю нелепость своего стремления завладеть как можно большим пространством, ведь стены – это именно то, что его ограничивает. Очень верная мысль, правда?

– Не знаю. Допустим...

– Но дело-то все в том, что если я разрушу вот эти стены, – Сумароков взглядом описал дугу, – я натолкнусь на стены соседей, за которыми опять же: стены, стены, стены – до бесконечности... ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Как невозможно быть свободным среди рабов, как глупо раскрывать ладонь, держа ее в кармане, так невозможно овладеть пространством, разрушая только стены своего дома! Бессмысленный труд! И вот этого, может быть, самого главного *они* там понимать не хотят, их это вообще не интересует. Совершенно. Вот в чем беда, по-по-понимаешь?..

Судя по относительной гладкости, речь, немало удивившая Тимницына, была приготовлена заранее, на случай. Как мог, Сумароков проиллюстрировал ее скудной мимикой: пересказ Брахвана сопровождался выражением тихого восторга, даже некоторой радостной растерянности перед этой великой простотой, потом лицо его на минуту как бы озарилось вдохновенным пророческим светом, сменившимся в финале серьезной озабоченностью.

– Ну, предположим, я понимаю... и что же? – спросил Тимницын, пригасив любопытство усмешкой.

– Надо что-то делать, Илья! – взмолился Сумароков. – Нельзя больше тянуть. Я знаю, тебя не интересуют «соседи», но можно ведь делать это только для себя и ни для кого другого, в конце концов это то же самое... надо только начать!

– Да что – «начать»?!

– Нести эту правду... в мир, – запинаясь и краснея выговорил Сумароков. – Надо заразить его этой идеей, внести хотя бы инфекцию, сам Радж Брахван так...

– Это как? – перебил Тимницын. – На улицу что ли идти? Прокламации клеить?..

– Да. Да! И на улицу, и прокламации, и книги, и проповеди, и... и всеми доступными средствами. Но нельзя же вот так, день за днем, год за годом сидеть и ничего не делать! Это преступление, если хочешь. Илья!..

«Приехали, – подумал Тимницын. – Да он просто-напросто свихнулся! Впрочем, и не удивительно, каждый сходит с ума по-своему».

За тонкой камышовой стенкой раздавалось напористое бухтение (тоже кого-то уговаривали?); по улице с воем, плескаясь фиолетовым светом, промчалась машина «скорой помощи».

– Илья! Ты вспомни первохристиан, большевиков – все они начинали с нуля! Давай попробуем, прошу тебя... Я бы и сам, один, но у меня не получится, меня, может быть, и слушать не захотят, а в тебе есть что-то – независимость, обаяние, я буду тебе помогать, буду делать все, что ты скажешь...

Последние слова угодили Тимницыну под дых: впервые он вынужден был, не виляя, признаться себе, что за двойник, к которому эти слова и были обращены, маячил у него за спиной во время его встреч с Сумароковым.

– Я пошел, – сказал Илья и сделал шаг к двери, но хотелось, ох, как хотелось, так и подмывало, и не было сил удержаться... С недоброй улыбкой он повернулся к Сумарокову, который, заметив мгновенную перемену в госте, настороженно замер.

– Послушай-ка... неужели ты всерьез думал, что я могу согласиться на этот бред? Или ты вообразил, что я перестал ходить к Чмонову по той же причине, что и ты? Из идейных разногласий?.. Да я просто плевать на них на всех хотел, понимаешь?! На них, на их учителя и на его непобедимое учение!.. Может быть и есть какое-то остроумие, сидя на привязи с голой задницей, объявлять себя столпником и нестяжателем, но уж больно это все-таки по-рабски... Прощай. И можешь им передать при встрече, что если все дело только в отсутствии своего «я», то все они уже давным-давно святые, с самого рождения...

– Илья, погоди!..

«Черт меня побери», – шептал Тимницын, торопливо сходя по ступенькам сумароковского подъезда, расположившегося на свою беду по соседству с пивной; слева в углу отсвечивала, словно накрытая целлофаном, вечная лужа, справа низкорослый морячок, взволнованно прибарматывая, пластал по стене девицу. «Домой, домой! Довольно на сегодня... и навсегда!..» На него навалилась вдруг необыкновенная усталость; подняв воротник, зажав в кулак пальто у подбородка, он вышел на улицу. Ветер крепко утюжил серые сухие тротуары в мерзлых бугорках грязного снега и пятнах плевков.

Шагая под летающими фонарями, Тимницын гадал: доведись Сумарокову познакомиться с оригиналом, узнал бы он в нем ту независимость и то обаяние, коих имитацией только что восхищался? А что, если и у него, у Сумарокова, существует какой-нибудь свой Сумароков, помельче, перед которым он, и не подозревая о Викторе, ходит этаким автономным пленительным Тимницыным, почему бы и нет?.. А у того свой, еще мельче, и так до бесконечности, с дурной навязчивостью картинки, в точности воспроизводящей самое себя в правом верхнем углу, до бесконечности туда: виктор – тимницын, тимницын – сумароков, сумароков – сумароков помельче, сумароков помельче – сумароков помельче сумарокова помельче... и обратно: сумароков помельче сумарокова помельче – сумароков помельче, сумароков помельче – сумароков, сумароков – тимницын, тимницын – виктор, виктор – ?.. А вот обратно-то и не получалось, обратно упиралось в глухую стену, в которую лопатками врастал Виктор, он же Виктор Позначительнее, он же Виктор Позначительнее Виктора Позначительнее...

То ли от голода, то ли от простуды, у Тимницына кружилась голова, и сырая липкая слабость мелкой зыбью гуляла по телу. Он остановился прикурить перед витриной кафе; намалеванная изнутри снегурочка уже заканчивала свой недолгий век и из последних сил удерживала в полуистаявшей руке приблизительную коробку с надписью «Торт». В конце коридора, на кухне, по оцинкованному столу между кастрюлями бродила крыса.

Наконец, он нашел спички, закурил. Взгляд его, поменявший фокус и теперь обращенный на отражение в черном стекле, мрачнел, тяжелел: что может быть гаже этой физиономии, хмурой, настороженной, скупой на улыбку? И что может быть пошлее изматывающего своей нелепостью вопроса: разве это я? Кто, что его задает? Не это ли насыщенное дурнотой пространство между лицом и отражением? Кажется, проведи рукой, и схватишь эту томящую немочь, с ума сводящую немоту, порцию вакуума, сосущего глаза и затылок; ну, потеряйся же, отпусти, отпади, брось! Нет: неизбывно. Неистощимый источник, острие иглы, удостоверение пустоты, крохотный – ц – огонек – дави, гаси, отворачивайся, все одно: есть; не разгорается, не гаснет, а просто: есть; есьцъ.

IV. Письмо

Между тем, по самому галантному в мире подземному переходу, чьи острые кафельные углы бесшумно разворачивались на поворотах, предупредительно сторонясь идущих, Илью вел под руку уже Жижин – Петр Андреич!!! Впрочем, и пальто из шершавого горячего сукна, и пунцовая повязка на рукаве были те же. Мягкое, свежее, румяное лицо, к которому хотелось прильнуть щекой: миленький... – с него, кротко склоненного набок, осиянного ласковой улыбкой, сквозь пунктирно-клейкое соприкосновение блестящих губ цедился усыпительной вереницей цифр, позванивающей нанизью согласных, бисерный разговорец: да что уж там ручки-ножки! что уж там пальцы-ноготки, язычок-губки! – каждый волос, волосок, каждую бровку, ресничку каждую наитончайшей золотой проволочкой подцепим, деликатнейшим образом закрепим, осторожненько подтянем – так, чтобы не то что веком дернуть – Бог с Вами! – зрачком повести? – шутник же Вы, ей-ей... – да тут и самая ничтожная клеточка не шелохнется, присмиреет, накуксится!.. А что ж Вы хотите: гемахт ин дер Швайц, сделано в Швейцарии, в дивной, затерянной среди целебных гор стране, населенной искусными часовщиками, первейший из которых не кто иной, как наш драгоценный Зигфрид Хнюпке 1918 года рождения, краснолицый любитель шнапса, взыскательный ценитель и знаток изящных искусств и словесности, изготовивший согласно нашему заказу эту чудо-снасть: АРТ. ИЗД. 77/43815, № МОДЕЛИ ЗБ 147 90, СОРТ I, ИЗГОТОВИТЕЛЬ Зигфрид Ц. Хнюпке, г. Цюрих, ди Швайц... Еще поворот, и оказались в просторном – помесь спортзала с операционной – где подвешенный меж полом и потолком, распяленный золотой паутиной услышанного Тимницын обреченно глядел на сидевшего спиной к нему согбенного Голованова, который, забрав лицо раскрытой пятерней, медленно переводя скрип табурета из визга в натужный треск, неумолимо оборачивался к своей жертве, чтобы предъявить то, ужаснее чего во всем свете нет: отвратительный, скверно сбитый из неструганных досок скворечник вместо лица... Ну, скорее же, скорее! Что-нибудь вроде молитвы, как бы молитву, на мотив молитвы, только не молчи, говори, говори, говори про себя... Отче наш... как там потом? На небесах?.. Что «святится»? Нет, не помню, три-четыре, может быть, как знать, а дальше воля твоя, только бы не умолкать, и если на то пошло, то уже где-то обрывается, лопается, еще одно последнее сказанье и... поздно!

Тимницын ошалело уставился на будильник: без одной три. До почтамта было не менее десяти минут быстрой ходьбы. Он вскочил; к давешней слабости прибавилась дрожь в ногах, а в горячей тяжелой голове плавал, качаясь, чугунный куб, попеременно колотился углами в затылок, виски, надбровье.

От яркого света на кухне больно запекло глаза, и он с наслаждением омыл лицо ледяной водой. На самом центре пустого стола лежало, очевидно оставленное Леной, письмо. Бросив полотенце на подоконник, Тимницын разорвал какого-то внесенного в Красную книгу зверька на конверте и вытянул тугую пачечку мелко исписанных листков. Перебирая трясущимися руками, заглядывал то в один, то в другой, выдергивая слова, фразы, абзацы, тщетно пытаясь сейчас же, в одну минуту охватить все содержание письма. Кончилось тем, что листки разлетелись по полу. Пособирав их и сунув в карман пальто, Илья помчался на работу.

«Дорогой Илюша! К числу распростертых перед Вами страниц можете смело добавить еще одну, заполненную всевозможнейшими комплиментами в Ваш адрес, и это будет весьма умерен-

ной платой за тот интерес и наслаждение (чувство в данном случае не совсем уместное, но что поделаешь! каюсь...), с которыми я читал и перечитывал Ваше письмо. Можете представить себе мои славословия в виде хвалебной оды, оперного речитатива, величавого благодарственного распева, сопровождаемого превеселой и развязнейшей чечеткой восторга – удостоился, наконец, Жижин, удостоился шут гороховый!.. ...да Вы, пожалуй, и не подозреваете, в какую нежную, деликатную, легкоуязвимую точку жижинского сердца угодили своим... ...спутники и соседи. ...если только не отбросили его с раздражением или не уснули над ним. ...Ах, если бы я мог просто, как гном из шведской сказки – Нильсу, пообещать: «Ты тогда станешь большим (самим собой), когда на обеденный стол с капустой и яблоками подадут твоего друга» ...Яма тридцать лет назад! Жемчужное видение, пятый сон Веры Павловны, альфа и омега ушедшей, может быть никчемной, пустой – но чудной, чудной! – молодости. Летняя веранда «Акрополя», девушки в широкополых шляпах, звездные томные вечера, ощущение... ...и я все метил в какие-то туманные лидеры, вожди, но увы, ни внешность моя, ни внутренняя осанка, если так можно выразиться, совершенно не соответствовали моим устремлениям, и всерьез меня никто не принимал. ...не вылезал из библиотек, и делал еще много такого, о чем сейчас и вспомнить неловко, ...изо всех сил скликая перемены, которые, казалось, вот-вот должны были преобразить меня в нечто... ...пока не понял, что усердно кормлю осла в бессмысленной надежде, что из него вырастет орловский рысак. ...не сочтите, пожалуйста за лесть. ...отвращение... не могу никак забыть... в конце-то концов... Эх, да в конце-то концов, что же это мы с Вами вокруг да около!.. ...Главное, чтобы мы с Вами вынудили или заставили Ваше, уклоняющееся от своих обязанностей, играющее в прятки «я» выйти наконец из подполья. В одном детективном романе, до которых я большой охотник, описана подготовка некоего суперагента: кроме всего прочего, он одет в специальный плащ со свинцовой прокладкой, в аналогичную обувь и таскает неимоверной тяжести портфель (тоже набитый скорее всего не книгами); освободившись от этой амуниции, он чувствует себя легче перышка. Вы уже поняли, куда я клоню? Да, да, именно так: бороться с Вашей химерой ненатуральности надо ею же, только доведенной до крайности, то есть давать Вам такие дозы, и сотая доля которых привела бы Вас теперешнего в отчаяние! Напяливать на Вас самые нелепые маски (с непременным условием добросовестно их носить), освободившись от которых, только и можно будет ощутить свое собственное лицо. ...»

И опять: выворачивая ручку скоростей, Казначеев размашисто, как балаганный петрушка, вываливался из кабины и, держась за распахнутую дверь, бросал машину вперед-назад.

– Тьфу, зарразы! – выругался он, остервенело хлопнув дверью и заглушив мотор. – Строители хреновы... поубивал бы!

Почтовый грузовик крепко сидел посреди распаханной улицы.

– Надо было по Западной ехать, – не открывая глаз, произнесла подобранная у автовокзала проститутка; качнувшись к Казначееву, потом к Тимницыну, она повытягивала из карманов сигареты и спички.

– Ох, ты какая умная! Как моя жена потом... – устало съязвил Казначеев. – Что ж ты раньше молчала?

Проститутка не ответила; зажав в губах сигарету, она осторожно, точно боялась напороться на гвоздь, откинулась на спинку.

Казначеев включил в кабине свет, и обнаженная, утопавшая в атласных подушках девица с фотографии на сломанной шторке, застенчиво улыбаясь, предъявила Тимницыну свои перламутрово-розовые внутренности.

– Пошли, – сказал Казначеев.

Они встретились у раскрытых дверей фуры.

– Полезай, посмотри, – сказал водитель, – может быть там доска какая-нибудь есть...

Тимницын прошелся по периметру, попинал не развезенные мешки с письмами – досок не было.

– Если не повезет, и на собственной сестре триппер поймаешь. Придется идти на трассу, оста-

навливать кого-нибудь, – задумчиво произнес водитель, поливая провинившееся колесо, и обратился к вернувшемуся напарнику, – ты далеко отсюда живешь? Пешком доберешься?

– Хорошо, – согласился Тимницын.

– А может быть, ты тоже?.. – хитро подмигнул Казначеев и судорожно задергал головой в сторону кабины. – Как в стихотворении: в салазках Жучке засадив...

– Нет, пойду.

– Не мужик, что ли?! – с шутливо-грозной укоризной спросил Казначеев. – Ну, как хочешь, мое дело предложить... смотри, не заблудись! – он хлопнул Илью по плечу и, звеня медью в карманах, потирая окоченевшие руки, на цыпочках побежал к кабине.

– А где трасса? – окликнул его Тимницын.

– Туда! – Казначеев показал по ходу машины.

V. Встреча

Пробираясь через чащобу темных незнакомых дворов, Тимницын не удержался и, остановившись под первым попавшимся фонарем, вновь окунулся в убористую речь учителя.

«...Подумал я и о цели, которая должна избавить Вас от необходимости ходить по черным квадратам, и от прочих столь же утомительных для тела и души ритуалов. Очень вероятно, что это не совсем то, чем Вам хотелось бы заняться, но в Вашем положении спасительна любая деятельность, даже не самая осмысленная. Во время наших двух встреч, да вот и в этом письме я много рассказывал о Яме четвертьвековой давности. По-разному можно относиться к тому, что тогда в ней происходило, равнодушно, с иронией, даже с презрением, как некоторые, но как бы то ни было, это уже история, а люди, о которых я Вам тоже говорил, герои – пусть мелкие, незначительные – этой истории, и многие из них еще живы, и даже в своем уме. Итак, я предложил бы Вам, учитывая Ваши филологические наклонности, заняться сбором материалов об ушедшей Яме, и свежий непредвзятый Ваш взгляд пришелся бы тут весьма кстати. Кто знает, а вдруг этот удушливый, по-своему притягательный аромат провинциальных преданий Вам придется по вкусу? Но главное все же в том, что это будет, повторюсь, вполне осмысленным занятием, которое вкупе с предложенной мною методой, я уверен, принесет плоды, тем паче, что столь внезапная и резкая перемена образа жизни уже сама по себе должна...»

Листки были перепутаны, и Тимницын никак не мог отыскать продолжение. Гулявший по верхушкам деревьев ветер отяжелел, спустился и погнал его дальше.

Уже в прорехах между домами засквозил желтый недужный свет трассы, когда он услышал за спиной торопливые шаги. Илья шел довольно быстро и еще наддал, однако преследователь, чей смутный силуэт едва проступал из оставленной позади темноты, не отставал. Постоянно живший в чутком ожидании коварных подвохов судьбы, не на шутку встревоженный Тимницын тотчас предположил, что именно теперь, накануне долгожданных перемен, ему уготовано попасть в какую-нибудь наисквернейшую переделку. Не долго думая, он зашел за угол дома переждать, но спустя минуту, увидев промелькнувшие мимо босые ноги в сандалиях, выскочил из укрытия с криком: «Алхимов!»

– Алхимов!

Алхимов (а это и в самом деле был он) приостановился и, едва дождавшись Илью, двинулся дальше.

– Вот так встреча! – воскликнул Тимницын. – Вас-то как сюда занесло, да еще и в такое время?!

– Я просто проходил мимо, – сообщил Алхимов.

Они почти выбежали на трассу, свернули направо. Тимницын был несколько поражен изможденным видом спутника: ввалившиеся щеки, глубоко запавшие глаза, да еще и короткая, под машинку, стрижка.

– Я ужасно рад вас видеть! – продолжал Илья, ощущая неожиданный прилив энергии.

– Я тоже, – довольно сухо отвечал Алхимов. – Вы прочитали мою книгу?

– Какую книгу?!

– Которую я вам...

– Ах, да-да-да!.. То есть нет... все, знаете, как-то руки не доходили, а потом было не до нее, но я прочитаю, обязательно прочитаю...

– Как хотите, – устало произнес Алхимов.

– Нет, я обязательно прочту! Обещаю вам. Тут у меня, понимаете, такое дело... буквально каких-то три часа назад что-то вдруг начало меняться, то есть, кажется, назревает что-то новое, и даже совсем не важно каким оно будет, главное – новое, другое... вы понимаете?.. И вот то, что я именно вас встретил сегодня первым, – для меня счастливый знак. Я ведь, признаюсь, всегда чувствовал к вам... вы всегда были мне симпатичны, и потом, когда вы уволились, я очень жалел, что нам ни разу не удалось толком поговорить...

Из-за поворота выплыло и надвигалось – разрастаясь, разворачиваясь – обнесенное высокими глухими стенами, оплетенное рядами и клубами колючей проволоки, щедро усеянное ярчайшими лампами кирпичное здание тюрьмы.

Алхимов шел, сосредоточенно глядя под ноги; время от времени подбрасывал сползавший с плеча солдатский вещмешок.

– Вы куда-то собрались? – кивая на поклажу, учтиво полюбопытствовал Тимницын.

– Не совсем.

– Вот и прекрасно! А что, если нам...

– Что это такое? – оборвал его Алхимов.

– Где?

– Да вот же! Впереди.

– Это?.. Тюрьма.

Алхимов встал как вкопанный.

– Как – «тюрьма»?! Вы с ума сошли! Не может быть.

– Тюрьма, – растерянно повторил, возвращаясь, забежавший вперед Тимницын. – Разве вы тут не ездили, когда работали?

– Боже мой! – с гримасой отчаяния воскликнул Алхимов, и скороговоркой, – да как же я так мог!.. Прощайте! Мне в другую сторону, – развернулся и пошел прочь.

– Алхимов, стойте! Куда вы? – Тимницын догнал его, схватил за рукав куртки. – Погодите. Что-то случилось? Вам плохо? Пойдемте ко мне, попьем чаю, поговорим, у меня можно переночевать...

Алхимов дернулся всем телом.

– Мне надо идти, – взмолился он. – Я тороплюсь.

– Никуда я вас не отпущу в таком состоянии, – строго отвечал Тимницын. – Куда вам сейчас? Вас качает, посмотрите! Наверняка у вас жар... – он обхватил Алхимова за талию и повлек за собой. «Ну, конечно, он болен», – подбадривал себя Илья, оглядываясь на дорогу в надежде остановить какую-нибудь машину с почты.

– Отпустите меня немедленно! – с беспомощным негодованием потребовал Алхимов, и по жалкой попытке высвободиться из крепких объятий спутника чувствовалось, что он еле держится на ногах, словно неосторожное вмешательство Тимницына вывело из строя какой-то сам по себе исправно работавший до этой минуты механизм.

– Я уже сказал: я вас не отпущу, и вы бы точно так поступили бы на моем месте.

Дело принимало нелепейший оборот: какое-то безотчетное праведное упрямство заставляло Илью удерживать Алхимова, но что делать дальше, он решительно не знал; между тем, тяжело дыша, семеня, вальсируя, наступая друг другу на ноги, они приближались к тюрьме; изредка то в одну, то в другую сторону с бешеным экзальтированным ревом проносились авто; почтовых среди них не было.

– Себастьян Браво, Андрей Решетилов, укрепите-помогите-спасите меня!.. – вдруг, со смертной тоской глядя в желтушное небо, горячо и прерывисто прошептал Алхимов, и в следующее

мгновенье из-за плеча Тимницына, огорошенного этой абракадаброй и оглушенного резким воплем «пустите!», выпорхнула сверкающая громада тюрьмы, а сам он оказался лежащим на опрокинувшемся тротуаре под орущим Алхимовым, в которого, падая, вцепился еще крепче.

– Да отпустите же вы меня, идиот несчастный! – услышал он с некоторым опозданием, уже разжав пальцы.

Когда он поднялся, Алхимов успел вернуться к тому месту, где они вышли на трассу, и с вещмешком в руке перебегал дорогу. Оказавшись на той стороне, он зашагал, не оглядываясь, вдоль бесконечной стены кладбища.

– Ну и пошел вон... плевать хотел... я... – держа в ладони ушибленный локоть, пробормотал Тимницын, и в подтверждение сказанного сплюнул.

Домой он добрался в седьмом часу. Улицы приходили в движение, по утреннему протяжно гукали голуби, из распахнутой машины возле булочной густо тянуло горячим хлебом; кажется, потеплело.

Лена уже была на ногах; с бесшумной монашеской деловитостью сновала между комнатой матери и кухней, и в узкой тесной прихожей они встретились и разошлись, не посторонившись, но и не задев друг друга, с бесплотной легкостью теней.

В комнате Ильи царил тот особенный утренний, из тяжелого арсенала депрессий, чудовищный беспорядок, избавиться от которого можно было, только уткнувшись лицом в подушку.

Не раздеваясь, Тимницын плюхнулся на кровать. «Аппассионата», – прошептал он, вспоминая схватку с Алхимовым, и уже по заведенному обычаю стягивая под то же заглавие прочие события последних дней. «Аппассьянато... Сколько страсти! Сколько чувства! Кто бы мог подумать... экий кладезь переживаний! Скажем прямо: богатейший внутренний мир!» Он полез в карман и обомлел, и заерзал, завертелся волчком, забился в корчах, выдергивая из-под себя полы пальто. Ну, конечно же, конечно, он потерял его во время этой идиотской возни с Алхимовым!

Из комнаты матери донесся визг, после короткой паузы еще один.

Тимницын вскочил, яростно прополоскал в воздухе одеяло, отбросил подушку; едва не угодив головой в стену, упал ничком на кровать и, пошарив рукой в щели, выловил обросший паутиной и пылью пятак и шариковую с обкусанным тупием ручку. Он метнулся в прихожую, пофутболил обувь и на обратном пути заскочил в комнату матери. Она сидела за столом растрепанная, в несвежей рубашке; напротив, как в сцене допроса, чуть наклонившись, уронив прядку на глаз, плотно сжав узкие губы, стояла Лена. Не переставая визжать, мать повернулась к сыну.

– В чем дело? – рявкнул Илья.

– Илюша, скажи ей, она меня бьет...

– Не ври! – строго сказала Лена. – Во-первых, я тебя не била, а легонько толкнула – это разные вещи. Во-вторых, если тебе не нравится каша, не ешь, а тарелку швырять нечего. Ты вот испачкала скатерть. Кто теперь будет ее стирать? Я буду стирать. И в-третьих, у меня нет возможности готовить то, что тебе хочется, ешь что дают.

– В чем дело? – повторил Илья, с ненавистью глядя на мать.

– Она меня бьет, – ответила та, прихныкивая, скривив для плача губы, перепачканные вчерашней полуосыпавшейся помадой.

Не сводя с нее глаз, Тимницын ткнул указательным пальцем в зеркальную нишу буфета, где стояла тарелка, и перевел его на мать.

– Лена, дай ей кашу.

– Она невкусная, – капризно возразила мать, – она специально так...

– Мама, ешь, пожалуйста, кашу, она вкусная, – грозно повышая голос, произнес Илья и вдруг саданул кулаком по столу, – и перестань придуриваться, в конце концов! Если я услышу хотя бы еще один твой визг, пеняй тогда на себя! Понятно?! А теперь ешь!..

Мать взяла у Лены тарелку и принялась за кашу, пугливо, по-детски косясь на сына.

– Чуточку пересолена, – с деланной беззаботностью сообщила она после второй ложки.

– Лена, тебе сейчас не попадалось вчерашнее письмо? – спросил Тимницын, хватая себя сзади

за пальтовую полу там, где она раздваивалась, и тут же нащупывая плотное, плоское, – а впрочем, кажется... нет, ничего.

Не выпуская письма, на ходу разоблачаясь, Тимницын вернулся к себе. Он до сих пор не мог привыкнуть к недавно появившейся и быстро разросшейся прорехе за внутренним карманом. Разложив по кровати листки, он вначале вычитал пропущенное, а затем перечитал все письмо от первой строки до последней. Дважды его зацепил один и тот же отрывок:

«Где-то в своем письме Вы удачно заметили, что частенько Ваши недоумение и растерянность имеют источником чисто бытовую рутину, и с плохо скрываемой завистью ссылаетесь на жившего лет сто назад Вашего близнеца, который был и более независим, да и страдал в декорациях поживописней (какой-нибудь умышленнейший из городов?). Мне очень близка и понятна эта стойкая, то и дело сползающая в самоиронию робость называть вещи своими именами: уж какие тут поиски смысла, когда за окнами стоит и никуда не думает уходить грязненький, прозаический, до отвращения индустриальный пейзаж; какие могут быть поиски «я», когда, чтобы его проклятое прокормить, надо выстаивать унизительнейшие очереди, а вопрос о достоинстве личности сводится к вопросу о том, считать ли унижением его (достоинства) энергичный пинок локтем под ребра или мат, которым тебя обложили с головы до ног, и отстоишь ли ты его (достоинство) тем, что ответишь пинком на пинок и матом на мат?..»

Но – Тимницын готов был дать голову на отсечение, что он никогда ничего подобного не писал. Впрочем, зачем же гадать, когда есть выкраденное письмо, вот оно! Перелистав его, Илья нашел-таки в самой середке этот пестрящий помарками более других, отмеченный ворохом наград абзац. С большим интересом его прочитав, Тимницын заметил себе, что писать ночью все-таки самое распоследнее дело. Но куда больше он был поражен, когда на последней странице обнаружил следующее: «Засим (не без надежды на скорую встречу) прощаюсь, целую, Илья». Да, дело было ночью, он был нетрезв, возбужден, может быть слишком возбужден, но все равно это как-то уж чересчур – «целую»! – черт знает что!.. Разорвав и отбросив свое письмо, он вернулся к жижинскому. Заканчивалось оно так:

«Увы, нередко откровенная беседа между двумя становится началом их охлаждения друг к другу, а потому сделаем так: Вы первый, если почувствуете в этом необходимость, заговорите о принятом решении. Я буду нем как рыба. Если же и Вы предпочтете обойти нашу переписку молчанием – что ж, возвращаться тогда к ней не станем и, значит, так тому и быть».

«Так тому и быть», – томно повторил Илья и закрыл глаза.

VI. «Кручина». Жижинские истории

Спустя пять дней, три из которых он провалялся в постели с высокой температурой, ближе к вечеру Тимницын стоял на гостевой половине жижинской комнаты у распахнутой форточки и глядел во двор. От слабости у него еще временами тряслись поджилки, кружилась голова и от одного уха к другому металась горсть мелкого сухого песку.

Жижин со своей половины рассказывал историю последнего лидийского шарманщика.

– Говорили, что был он прежде очень известным инженером по железным дорогам, и в середине тридцатых, чтобы не попасть под волну арестов – происхождение у него подкачало – притворился сумасшедшим, юродствовал, побирался, а потом стал ходить с шарманкой. Сам писал тексты песен, весьма, между прочим, недурные. Некоторые из них я даже запомнил и записал, вот, кстати, послушайте:

Гори, моя лучина,
Гори, не угасай!
Оставь меня, кручина,
Мне грудь не надрывай.

Душа-сиротка стонет
Под тяжкою пятой,
В слезах горючих тонет,
Ей не прикажешь: пой!

На город ночка ляжет.
Студеный серп взойдет.
И вновь все та же тяжесть.
И вновь все тот же гнет.

Мы ночку перетерпим.
Куда страшней рассвет!
Когда и страха смерти
В остывшем мире нет.

Одно глухонемое
Пространство меж вещей,
И все всему чужое,
И ты один, ничей.

И нет на белом свете
Ни друга, ни врага.
Лишь по привычке ветер
Гоняет облака.

И маетою листьев
Расчищено окно.
Разорванные нити
Связать нам не дано.

Померкнет и лучина
В холодном свете дня.
Хотя бы ты, кручина,
Не покидай меня...

У Жижина-чтеца неожиданно оказался прямо-таки колдовской завораживающий баритон, сдобренный благородной печалью исполнения.

Сочетание стихотворной тоски с теплым напористым ветерком из форточки как-то воодушевительно подействовало на Тимницына, и когда Жижин, закончив, спросил: «Хорошо, не правда ли...», он, не раздумывая ни секунды, радостно выпалил: «Да, очень!» Слабость вдруг сменилась беспричинно веселой легкостью, и страстно захотелось выпить, чтобы удержать и продлить это состояние, и еще увеличить (что казалось уж совсем невозможным) разреженную обвальную пустоту в груди.

Жижин, между тем, продолжал:

– Скажем так: безумие, которое он так усердно имитировал, к концу жизни настигло его. Он пришел к интересному заключению, что достиг в своем занятии той степени совершенства, когда уже нет никакой необходимости в материальных атрибутах ремесла, то есть в самой шарманке и пении под нее. Кончилось тем, что он стал ходить по дворам без инструмента: просто заходил во двор, становился в центре и, простояв молча с четверть часа, требовал вознаграждения, уверенный в том, что все прекрасно слышали исполненную им – телепатически, что ли – мелодию.

Иначе говоря, превратился в довольно наглого попрошайку. Так он и умер с этим никем не разделенным убеждением...

Бесшумно отпрянув от окна, Тимницын заглянул на другую половину: Жижин в сползших на нос очках, приоткрыв рот, дрожащими ножницами отрезал тонюсенькую полоску папиросной бумаги.

– Похожую историю я слышал потом про одного известного квартирного вора, который в молодости тщательнейшим образом вел наблюдение за своими будущими жертвами, составлял графики, прежде чем отправиться на дело, а к концу карьеры, полагаясь исключительно на интуицию, без всяких приготовлений чуть ли не ногой вышибал дверь приглянувшейся квартиры и среди бела дня уносил награбленное, пока однажды не напоролся на засаду, впрочем, совсем не ему устроенную. Печально, однако факт: совершенство всегда ходит рука об руку с вырождением, вот я и закончил, и мы можем идти...

Не доходя до ворот, Жижин остановился у почтового ящика, достал из него письмо, и Тимницына это почему-то неприятно кольнуло.

На улицах было тепло и людно. Внезапно, как бывало каждый год, Илью осенило, что дни, причем как-то вдруг, в одну неделю, стали заметно просторней. Словно угадав его мысли, Жижин, проглаживая ладонью грудь, удовлетворенно произнес:

– Март... По народному календарю – выползень. Вы случайно не помните эти славные поэтические названия месяцев? Всякие там хлюпни, чмокни, свистни... Я, к сожалению, тоже.

На центральной площади Ямы, Хлебной, окруженной автобусными остановками, было оживленней обычного. С лотков, прилавков, со сложенных на слякотных тротуарах деревянных ящиков и картонных коробок шумно и размашисто торговали пивом, мороженой рыбой, книгами, яйцами, яблоками, мимозами, зеленью, салом... «Мальчики, хватайте пирожки с капустой!» – крикнула им, придерживая во рту сигарету, толстая продавщица в замызганном донельзя халате. Хрупкий мартовский воздух дребезжал, раскалывался, крошился и осыпался звонкой бестолочью звуков: лязгом и перезвоном сновавших трамваев, треском мотоциклов, женскими криками в очередях, гудками машин, свистками регулировщика, заливистым лаем чьей-то собачонки...

У Тимницына рябило в глазах, ноги дрожали пуще прежнего, рот был полон ледяной кислой слюны.

– Какие хорошенькие, а! – воскликнул Жижин, провожая взглядом двух разрумяненных старшеклассниц, и, поворачиваясь к Тимницыну, хватая его за локоть, – ну что, Илюша, начнем?! Согласны?..

– Да, – ответил Тимницын; его качнуло, и Жижин в это мгновение показался величиной с воробья, как если бы он глянул на него в перевернутый бинокль.

– Э-э, да вы белый, как стена! – заметил Жижин.

– Наверное, – вяло согласился Илья. – Это слабость, сейчас пройдет, надо только выбраться из этой каши...

– Сейчас зайдем к Левадийскому. Здесь рядом. Он по четвергам как раз и принимает. Заодно и познакомитесь, все-таки ближайший приятель Плуга...

Они прошли под насыпью и двинулись вверх.

Жижин пытался дорогой развлечь Тимницына рассказом о каком-то знакомом. Тимницын рассеянно внимал.

– Это был вздорный и чрезвычайно спесивый молодой человек. Поэт. Километрами писал стихи, бичующие пороки и язвы большого города, такая унылая обличительная дребедень в духе Верхарна. Однако при этом он был страстным поклонником Лермонтова, причислял себя почему-то к его прямым литературным наследникам и взялся даже за роман, современный вариант «Героя нашего времени», главным действующим лицом там, помнится, был какой-то порвавший с наукой ученый – в общем, чушь и скучища изрядная...

Уже не раз Илья замечал, хотя и недостаточно отчетливо, что с Жижиным, когда он увлекался, происходило нечто странное. На какой-то миг Илья вдруг обнаруживал, что рядом с ним

уже вроде бы и не совсем Жижин Петр Андреевич... А тот, кто его теперь замещает, рассказывает вовсе не для того, кто его слушает. Да и вообще ни для кого. И теряя реальное ощущение рассказчика, Илья как будто терял и себя самого. Сейчас это происходило опять, но несколько по-иному, краткими, следующими одна за другой вспышками: двойник Жижина – механическая болтливая кукла – то проступал сквозь Петра Андреевича, то бесследно в нем растворялся. Возможно, причиной этому была все та же слабость.

– И вот однажды летом, – продолжал Жижин, – когда наша бедная Лидия просто ломится от отдыхающих, угораздило его познакомиться с одной заезжей девицей по фамилии Мартынчик. Девица, как это ни дико звучит, оказалась и впрямь девицей, роман их протекал стремительно – ночные прогулки, купание при луне, чтение стихов, конечно же, – и дело за каких-то три недели так далеко зашло, что Мартынчик всерьез заговорила о женитьбе. А чтобы не откладывать в долгий ящик, она с провинциальной непосредственностью объявила, что ненадолго съездит к себе в глушь, чтобы устроить там все свои дела, а заодно привезет сюда на свадьбу родителей. Жить она собиралась, разумеется, в Лидии. Между тем, ветреный, как все поэты, молодой человек уже к концу второй недели совершенно остыл к своей нареченной и изо дня в день откладывал это горькое признание. И вот только на перроне, перед самым отправлением поезда он набрался храбрости и выложил все как есть. Обманутая невеста конечно же в слезы, но перед тем как запрыгнуть в вагон, она успела-таки отвесить обидчику такую прощальную оплеуху, что тот, не устояв, крепко стукнулся лбом о ближайший газетный киоск и на две-три минуты потерял сознание. Когда очнулся, видит: кровь из ссадины заливает лицо, а поезд с бывшей возлюбленной уже исчезает в туманной перспективе вокзала... Уж не знаю, там же, на перроне или же спустя какое-то время, только молодого человека вдруг пронзила догадка, что вся эта прощальная сцена была лишь злой издевательской пародией на гибель его кумира: ему было тогда двадцать семь лет, фамилия девицы отчетливо перекликалась с фамилией убийцы поэта, и вдобавок затрещину он получил возле поезда на Пятигорск... Разумеется, случай исключительнейший, редкостный, но и поучительный, потому что надо быть всегда готовым и к таким вот изощренным розыгрышам судьбы-злодейки. Пожалуй, стоит взять на вооружение заявление Плуга, сделанное им еще в пору нашей молодости: пространство жизни (это термин Арсения Птицелова) выложено, на манер мозаики, аккуратно пригнанными друг к дружке плоскостями – эпизодами написанных и еще нет произведений, а все наше существование есть только перемещения из одной плоскости в другую, и если есть уверенность, что мы не повторяем уже кем-то и когда-то написанного, то относительно еще ненаписанного у нас такой уверенности быть не может, а стало быть – все едино. Вот такая успокоительная панлитературная картина бытия для рефлектирующих ипохондриков вроде вас да меня. Но, пожалуй, и это все чепуха, теоретические выверты, отвлеченности, а спасает только практика, дело, цель, как вы сами совершенно справедливо заметили в своем письме. Побольше здорового безоглядного цинизма!.. – Жижин вдруг рассмеялся. – Вот как у скорняка из рассказа того же Плуга, который, узнав, что его соседка по коммунальной квартире – оборотень, терпеливо дождался полнолуния, содрал с нее шкуру и нашил шапок и воротников!..

Илья тупо, мучительно пережевывал услышанное. «Он, кажется, меня уговаривает», – подумалось ему.

– А что стало потом с этим вашим молодым поэтом? – спросил он, чтобы заполнить зазиявшую паузу.

– А пес его знает! –беззаботно ответил Жижин. – Что может статься с убитым на дуэли?.. Както он стерся, исчез... спился наверное...

– Вы еще только что какого-то птицелова упомянули...

– Как?! – изумился Жижин. – Разве я не рассказывал вам про Арсения Птицелова?! Быть такого не может! Говорил, говорил, может быть коротко, вкользь, вы просто забыли.

– Возможно... не помню... – пожал плечами Илья.

– Ну! Арсений Птицелов! Да это же античный герой: Одиссей, Ясон, Ахиллес и Птицелов. Матерый человечище.

– Кем он был?

– На этот вопрос трудно однозначно ответить. Я же говорю: герой. Никто точно не знает, откуда он появился и куда потом исчез. Одни говорили, что был амнистирован и пришел из лагерей – очень даже возможно. Другие утверждали, что он накуролесил где-то в столицах и скрывался некоторое время у нас, а потом то ли вернулся, то ли попался – и это может быть. В общем – полная неизвестность. Фигура, конечно, колоритнейшая: метра под два ростом, тяжелый американский подбородок, силен был, как Плуг, пил само собой, но больше по морфию – была тут у него одна медсестричка...

– Чем же он был знаменит?

– Чем знаменит?.. Да он всю Лидию перевернул, хотя наверняка никогда не задавался такой целью. Я ведь вам рассказывал, что Яма тогда, а именно ресторан «Акрополь», кафе при нем, были эдаким богемным оазисом, но все это было как-то по-провинциальному бестолково, вымученно... то есть было с десяток художников, поэтов, музыкантов, а остальное большинство составляли люди, так сказать, тяготеющие, и вот эти тяготеющие, среди которых числились и мы с Плугом, все чего-то ждали – ну, как если бы мы сейчас остановились и стали бы глядеть в небо без всякой причины, а вокруг нас стали бы собираться зеваки. Так и тогда: все ждали, ждали, и вот приходит Арсений – тридцатипятилетний бродячий философ, в некотором роде киник, с таинственным темным прошлым и со своей теорией расширения пространства жизни, а ведь люди-то все молодые, нетерпеливые, их только помани, ну и пошло-поехало, а как известно, обаяние теории всегда так сильно перемешано с обаянием основоположника, что сразу и не разберешь, которое именно увлекло последователей, последователи следующего поколения в этом смысле уже чище...

– Что же это была за теория? – заинтересованно спросил Тимницын.

– Стройной теории как таковой не было. Приблизительное представление о ней можно было составить по самому образу жизни Арсения, по его отношению к тому или иному предмету, по некоторым высказываниям. Во главу угла ставился уход от рутинности, накатанности... вот, предположим, вы оказались в тоннеле и совершенно точно знаете, где выход, он даже, допустим, слегка брезжит; но вместо того, чтобы спокойно шпарить себе по тоннелю, вы начинаете рыть по бокам какие-то шурфы, ходы и при этом сами же на себя с удивлением глядите, мол, а зачем я все это, собственно говоря, делаю, что, заметьте, гораздо важнее самого рытья. Иначе говоря, постоянное неутомимое расширение пространства за счет наблюдения за расширением. Не плестись послушно вдоль стены, а разбей об нее голову, но сверни, как сказал не помню кто, может быть и Арсений. И не просто разбей, а еще и полюбуйся на все это... Теперь, на словах, наверное, выглядит неуклюже и неубедительно, но тогда произвело огромный эффект. Первыми ринулись кто куда как раз сами поэты и художники: в сторожа, садовники, карманники, один даже пошел, ненадолго, правда, в милицию, тут уж каждый изгалялся, как мог, стало просто модным пойти поработать полгода продавцом, например, или маляром... И наоборот: портовый грузчик, пьяница и дебошир Терентий Плуг стал писателем. Продолжалось это безумие года два... Сам Птицелов, однако, предпочитал морфий.

– А почему «Птицелов»?

– Понятия не имею. Птицелов и Птицелов. Может быть из-за одной его проделки: он както раскидал по всему городу очень похожие на птичий помет плоские кучки, но только каждая величиной с ладонь. В Лидии тогда едва не началась паника, говорили о каких-то огромных кровожадных птицах, и кое-кто уже, конечно, видел. Хотя, Птицеловом его, кажется, называли до этого.

– Я тоже слышал в детстве об этих птицах, – задумчиво произнес Илья и спросил. – Послушайте, я теперь кажется понял: то, что вы предложили мне в письме, тоже оттуда идет?

– Угадали! Я ведь тогда целую школу выдумал, но, как говорится: мир ловил меня, но, увы, не поймал...

Они подошли к первому дому начинавшейся Безменовки, капитальному, мрачному, как и все

безменовские дома; незащищенную одутловатую стену в кирпичных печных ходах уныло подпирали мокрые набрякшие березовые бревна.

– Нам сюда, – кивнул Жижин на темный подъезд.

– Погодите! – вдруг воскликнул Илья, ошарашенный догадкой. – А вот Виктор Навроцкий, он тоже по теории этого Арсения?

– Навроцкий? – удивленно, с некоторым разочарованием глядя на спутника, переспросил Жижин. – Бог с вами, причем здесь Навроцкий? Ваш Навроцкий просто пропойца, обыкновенный алкоголик с замашками местечкового юберменьша. Вот и все. Прошу... Кстати, – сказал он в спину поднимавшемуся по лестнице Тимницыну, – вы не слыхали о странном покушении на его жену? Какой-то шутник едва не проломил ей голову.

– Нет, – сказал Тимницын.

– Веселенькая семейка, ничего не скажешь. Чувствую, добром у них не кончится. Здесь.

Илья послушно остановился.

VII. У Левадийского

– Будьте знакомы! – сказал Жижин, как только они переступили порог. – Александр Борисович Левадийский; Илья Тимницын.

Мелкокостный субтильный брюнет с прямыми, как часовые стрелки, усиками и узкой отметинкой на подбородке внимательно проследил, чтобы они переобулись в вязаные тапочки, кучей валявшиеся возле вешалки, прихрамывая проводил их по коридору (ему бы еще красную косынку, плащ, сапоги, и вылитый хромой бес, Асмодей, подумал Илья) и впустил в комнату, в центре которой под бронзовой люстрой с провисающей между матовыми плафонами цепью, за овальным непокрытым столом трое мужчин играли в карты.

Умывая пухлыми белыми ладонями лицо и лысину, Жижин прошел к огромному, обитому черной кожей дивану и, опустившись в дальний продавленный угол, жестом пригласил Илью занять ближний; Асмодей остался за дверью.

Игроки встретили их сдержанными кивками. Один из них, широколицый альбинос в очках, мешая карты, спросил:

– Жижин, будешь играть?

– Ась? – встрепенулся Жижин и затолкал руками воздух, – нет, нет, нет, потом... дай отдышаться.

– Бежал, что ли? – насмешливо спросил сидевший посередине.

– Ну, почему же бежал... Просто весна, воздух свежий, разреженный, а легкие за зиму съежилось, ссохлись...

– Ты вчера в центральный книжный не заходил? – вновь вмешался альбинос.

– Нет. А что?

– Народ за «Божественную комедию» калечил друг друга.

– За что?

– За «Божественную комедию» Данте Алигьери, – повторил альбинос, собирая лежавшие перед ним монеты и ссыпая их в банк; в деревянных интонациях, в тяжеловесной серьезности сквозила напряженная забота некрасивого человека о собственном достоинстве.

– Это замечательно! – воскликнул Жижин. – Значит и вправду настало время, когда не милорда глупого, а Данте Алигьери с базара понесут.

– Чуть магазин не разнесли, – продолжал рассказчик, – витрину выдавили, а крику было!.. Одной покупательнице дурно стало, насилу вытащили на улицу, да еще и вперед ногами. Такая, лет пятидесяти, мать семейства, из кошелки вермишель сыплется. Дома, небось, семеро по лавкам, муж с работы голодный, как зверь, пришел, а она тут за Данта живот свой кладет...

– Ну, внешность может быть обманчива, – лукаво улыбаясь, заметил Жижин.

– Конечно, – в тон ему ответил альбинос.

– А я на Голодаевке без всякой очереди купил, – сообщил самый молодой игрок.

– Где же наш Александр Борисович, отец родной, запропастился... – вздохнул Жижин и вдруг встрепенулся, – кстати!.. По поводу Голодаевки!.. Новые похождения женщины в белом. Слушайте...

Имелась в виду «танцующая женщина в белом», героиня одной из последних переполошивших Лидию историй, на которые этот городишко был горазд, как никакой другой. Тимницын кое-что слышал об этом, но так, вполуха, кажется, на работе. Как рассказывали, некоторое время назад в городе появилась странная особа: маленькая, неопределенного возраста женщина, задрапированная в белые тюлевые занавески. Видели ее исключительно пляшущей; ловко перебирая босыми ногами, она самозабвенно кружилась и металась из стороны в сторону, а гостеприимно раскинутые руки и застенчиво-приветливая, не сходившая с лица улыбка словно просили, зазывали случайных зрителей принять участие в танце. Однако очень скоро было замечено, что там, где появляется босоногая плясунья, спустя какое-то время – от нескольких минут до нескольких часов – обязательно случается какое-нибудь несчастье. Эта версия подтверждалась неоднократно. И перед рухнувшим домом на Почтовой, и на том участке железной дороги, где столкнулись два пассажирских состава, и еще во многих разных местах Лидии, где имели место те или иные происшествия и гибли люди, всегда находился очевидец, который, как потом выяснялось, видел незадолго до случившегося пляшущую предвестницу беды.

– Может быть кто-то еще не слышал о появлении в этой истории нового персонажа... – весело предположил Жижин.

– Танцующий мужчина, что ли? – небрежно промолвил молодой игрок.

– Он самый. Танцующий мужчина в черном.

– Очередь за танцующими детьми, – заметил альбинос.

– Хотя называть его танцующим было бы натяжкой, – продолжал между тем Жижин, – скорее, топчущийся. Лет ему под шестьдесят, одет во все черное, небрит, лицо мрачное, неприветливое... Появляется он – но, заметьте, не всегда! – только на том месте, где до него отплясывала женщина в белом. Его специальность чечетка, хотя делает он это из рук вон, а точнее сказать, из ног вон плохо. Хмуро потоптавшись несколько минут, он уходит. И оказывается, что вот это его неуклюжее топтание сводит на нет чары нашей лидийской Айседоры Дункан. Короче говоря, если вскоре после женщины появится мужчина, то можно быть уверенным, что ничего страшного не произойдет... Так вот. Прихожу я недавно на Голодаевку к знакомому переплетчику, и рассказывает он мне такую историю. Несколько дней назад, ближе к вечеру заявляется вдруг к ним в переулок женщина в белом. Ну, особенно расплясываться ей не дали, выскочило несколько хозяек с тряпками и прогнали ее прочь, так что всего лишь несколько па она и успела продемонстрировать. Ну, прогнать-то прогнали, а предсказание-то все равно осталось в силе. Делать нечего, надо ждать мужчину в черном, на него вся надежда. Ждут час, второй, третий пошел... Чечеточника нет. Состояние в ожидании неминуемой катастрофы у всех взвинченное, что делать не знают. Загнали было всех детей домой, потом вспомнили про развалившийся дом на Почтовой и вывели обратно на улицу. Между тем уже ночь наступает. Дети капризничают, плачут, спать хотят; издерганные взрослые между собой ругаются... И тут вдруг кому-то приходит в голову простая мысль: если черного чечеточника нет – ну, нет его! – то значит надо его кем-то заменить. После короткого обсуждения сошлись на кандидатуре дворника. Взяли бутылку водки и отправились депутацией в дворницкую... Как и ожидалось, долго его уговаривать не пришлось: выпил он свои боевые грамм триста, обрядился во все черное и пошел плясать, да так разошелся, что еле увели... Ночь прошла спокойно, хотя большинство жильцов спать так и не ложилось. А около шести утра в переулок на бешеной скорости врывается какой-то тяжелый грузовик и размазывает чуть ли не по всему переулку – кого бы вы думали? – правильно: вышедшего на свою первую, утреннюю уборку дворника!.. Бедняга с вечера даже и не переоделся, так в трауре и закончил свой век... Какая, однако, причудливая игра случая!..

– Они порасскажут, – задумчиво глядя в карты, проговорил молодой игрок.

А тот, что сидел посередине, самый молчаливый, усмехаясь, спросил:

– Жижин, скажи честно: это ты сам придумал?

– Я?! – Жижин сделал удивленное лицо. – А женщина в белом? Да разве такое придумаешь...

– Ну... ты и не такое придумаешь...

В эту минуту в коридоре раздались два длинных звонка и спустя некоторое время донесся возмущенный крик Левадийского. Жижин вопросительно взглянул на альбиноса, тот пожал плечами.

Прогрохотали по коридору шаги, дверь распахнулась и в комнату ворвался растрепанный молодой человек. Следом бежал Левадийский и кричал:

– Я только недавно полы мыл! Черт вас всех там побери вместе с вашим Гарнизоновым! Ты посмотри, что ты наделал, посмотри! – он выглянул в коридор и сокрушенно закачал головой.

Досадливо морщась, гость торопливо оглядел комнату и, стряхнув руку Левадийского, вцепившегося в рукав его пальто, прошел к столу.

– Я уполномочен объявить, – громко проговорил он, – что на тридцатое число назначена следующая игра. В связи с этим Сергей Гарнизонов начинает набор желающих. Обращаться по двадцать пятое число включительно. По традиции после игры участников ждет хороший ужин. Второе: вышеизложенное объявление является еще и частью игры, которая идет в данную минуту, и какая, из функций этого объявления определить невозможно. И даже не пытайтесь. Название игры – «Чего-чего? Стемнело!» Автор – Сергей Гарнизонов, количество играющих – три человека, продолжительность – сорок минут. Девятое марта тысяча девятьсот восемьдесят третьего года. В заключение текст:

так какого ж рожна шептать: «весна»
если
проседающий под пароходным гудком
хлипкий воздух
как в тугую воронку засасывает
пестрые декорации сна
кто ж поверит тебе объявляющему: «весна!»
если
у совокупляющихся под детской коляской котов
ветер бесцеремонно перебирает ерошит шерсть
часы невозмутимо бьют шесть
и поди разберись тут
вечера или утра
радуйся
ибо и для тебя
не существует отныне законов
радуйся
слышишь
тебе говорят
автор текста – Сергей Гарнизонов

Выпалив все это на одном дыхании, молодой человек разорвал листок, с которого читал, в мелкие клочки, подбросил их над столом и, не говоря ни слова больше, ушел.

– Я когда-нибудь убью Гарнизонова за эти выходки, честное слово! – сказал Левадийский, почему-то глядя на Тимницына. – Месяц назад, представьте себе, в три часа ночи – в три! – приходит от него этот старый дурак Почивалов и заставляет читать вслух какую-то ахинею. В три часа ночи!..

– Ну, ведь, наверное, заплатил за это? – спросил Жижин.

– Не хватало еще, чтобы не платил!

– И сколько, если не секрет?

– Червонец.

– Ого!

– За такие гонорары я бы каждую ночь читал, – сказал молодой игрок.

– Так если бы каждую ночь! А то пришел, разбудил... я вообще не мог понять в чем дело...

– А оплата тоже была частью игры? – поинтересовался Жижин.

– А то как же! Объяснил, когда давал.

– Так надо было с него еще содрать, – рассмеялся Жижин, – в счет оплаты и этого тоже...

– Нет, все! Завтра же непременно пойду к нему, – сказал Левадийский и вышел.

– Кто это был? – шепотом спросил Тимницын, придвигаясь к Жижину.

– Этого молодого человека я не знаю, хотя и встречал его как-то у Гарнизонова. Думаю, вы скоро сами со всеми ними познакомитесь. А что касается Гарнизонова, – в прошлом джазовый музыкант, пианист, довольно известный, кстати. Несколько лет назад попал в аварию и остался без левой кисти. Очень тяжело переживал все это, чуть не до самоубийства, а потом вот занялся играми...

Тимницын, склонив голову, слушал негромкий рассказ Жижина и искоса замечал, что к их разговору прислушивается картежник, сидевший посередине и теперь оказавшийся точно напротив Ильи.

– Как по мне, – продолжал Жижин, – так это какая-то мешанина из теории того шарманщика, о котором я вам сегодня рассказывал, и решетиловщины...

– Что-что? – прервал его Тимницын, уловив что-то знакомое.

– Ну, это есть в Лидии такая секта бегунов, которые носятся по городу в поисках райского уголка... Так вот, участники гарнизоновских игр являются одновременно как бы и исполнителями, и музыкальными инструментами, и каждый ведет свою партию, которую сочиняет Гарнизонов. Сам он в роли исполнителя никогда не выступает, и все время, пока продолжается игра, сидит дома, пребывая якобы в некоем экстатическом состоянии, как уверял меня его приятель Почивалов. После игры обычно щедрое угощение, может и заплатить, денег у него достаточно: покойный батюшка его был первейшим коллекционером в Лидии... Знал бы он, на что пойдут его сокровища! Между нами говоря, я думаю, что одной лишь потерей левой кисти в той аварии не обошлось...

Жижин вскинул руку и поглядел на часы.

– Мне надо позвонить, – сказал он, поднимаясь.

– Я тоже, пожалуй, пойду, – сказал Тимницын, но Жижин его остановил.

– Подождите несколько минут. Я вернусь и провожу вас.

Тимницын остался. Усевшись поудобнее, медленно кружил взглядом по комнате, заставленной старинной разностильной мебелью, как будто распространявшей вокруг себя мягкий теплый полумрак, мирно уживавшийся с ярким светом люстры о четырех лампах. Напротив, разделенные дверью, стояли два буфета. Один из них с мраморной доской, тяжело осевший на левую сторону, был основательно загружен посудой, старыми в кожаных переплетах книгами и пестрой антикварной мелочью; второй был пуст, если не считать пепельницы и китайской вазы с сухой веточкой. Далее, опять же накренившись (какие-то неприятности с полом), стояли высокие часы с радужным бликом, бегающим по рифленым фасеткам застекленного шкафчика, набитого гирями и маятниками. От часов до угла место занимала дубовая кровать под шелковой, вышитой утками, попоной со скользкой вмятиной, оставленной Левадийским. Слева от двери помещались книжный шкаф, кабинетный рояль и диван с высоченной, под потолок, спинкой, на котором, путешествуя указательным пальцем по пыльным складкам кожи на торце валика и неминуемо возвращаясь к круглой нашлепке в центре, скучал, дожидаясь Жижина, Тимницын. Простенки между мебелью были увешаны картинами в разнообразных рамах.

– В покер не играете? – обратился к Тимницыну сидевший напротив его игрок. Лет ему было на вид около сорока; напряженность в постановке головы из-за больной шеи придавала его костистому волчьему лицу выражение скорбного внимания, но маленькие глаза из-под редких бесцветных бровей глядели насмешливо.

– Нет, я не играю, – поспешил отказаться Илья, питавший стойкое отвращение к карточным играм, да и не знавший никаких, кроме дурака и пьяницы.

Жижин слова не сдержал: прошло уже никак не меньше получаса к тому времени, когда он, наконец, приотворил дверь и выманил Тимницына в коридор.

– Вот вам адрес, – сказал он, протягивая сложенный листок. – Вас будут ждать по нему в понедельник в три часа. Это Хнычев. Прославился тем, что сжег целую подборку произведений лидийских поэтов и прозаиков, за что и был прозван Геростратом. Это вам первое задание. Что касается маски, поведения... – Жижин проводил взглядом Левадийского, пронесшего мимо поднос с чашками и кофейником. – Что касается поведения, держите себя с ним поразвязнее, немного фамильярности совсем не помешает, можно даже нагрубить при случае, но это уж как сложится... и эдак, знаете ли, покапризней... – он, улыбаясь, погрозил пальцем, – но только смотрите, ни шагу назад! Вот и все, кажется... Желаю удачи.

– А как же я вам... – заикнулся Илья.

– Ах, да! Вечером. Вечером я вас жду у себя с подробнейшим отчетом.

VIII. Хандра. Мать

Началось еще в коридоре, с Жижиным, а может быть чуть раньше, на диване, и потом с каждой минутой все круче и круче...

Тимницыну хорошо были известны повадки его хандры. Часто наступление ее он предугадывал за несколько часов, и тут было одно верное испытанное средство: почуяв приближение, надо было тотчас же отвлечься, развлечься, выпить хотя бы. Беда случалась тогда, когда Тимницын, предчувствуя стеной надвигавшуюся болезнь, опускал руки и даже с какой-то злорадной мазохистской готовностью торопил ее развитие. Правда, небескорыстно: в самые тяжкие минуты ненасытного самопожирания, кляня себя на чем свет стоит за то, что в очередной раз поддался искушению, он все-таки дальним краешком воспаленного сознания ожидал от союзницы хандры какой-то последней невероятной глубины, где должен был перейти в новое счастливое качество.

Описание этого трудного опыта с выводом, до которого так и не добрался Илья, мы встречаем в эссе Себастьяна Браво «Оттенки черного» (Себастьян Браво. Верлибрарий. Мадрид, 1927 г.). Вот что он, в частности, пишет:

«И, наконец, с Божьей помощью, мне открылось, что как бы глубоко я ни погружался, и как бы долго ни блуждал по тесным безвоздушным лабиринтам отчаяния, я *никогда* не достигну дна или предела по той простой и единственной причине, что, находясь в *изменяющемся* пространстве, я являюсь его составной неотъемлемой частью, а потому не могу не следовать его метаморфозам, которых свидетелями могут быть разве что Бог или дьявол, но уж никак я сам. Преп. Марк Подвижник предупреждал: «Вводимый в начало зла, не скажи: оно не победит меня. Насколько ты введен в него, настолько уже и побежден». Отсюда вывод: избегать, ни в коем случае не заглядывать в эти темные обманчивые внутренние пространства, но, пряча глаза, проходить мимо, ибо без невосполнимых потерь для себя, без необратимых изменений собственной природы пребывать в них нельзя, а постичь до конца невозможно».

Просидевший всю дорогу спиной к Тимницыну пассажир вдруг, когда тот уже собрался выходить, обернулся.

– Есть три вида лучей, – сообщил он. – Синие испускают головную боль, желтые душат...

У кого я видел точь-в-точь такие же глаза, вспоминал Тимницын, сходя с подножки, путаясь в топочущих горластых и увесистых от плотно набитых ранцев за плечами школьниках.

На параллельных путях грохотал компрессор, и в воздухе пахло кисловатой гарью электросварки, чьи лиловые вспышки печатали на обмирающих фасадах четкие угольно-черные тени голых акаций; с моря под заунывное пенье ревуна плыл густой холодный туман.

Он прошел вдоль вагона, машинально прочитав и для чего-то пытаясь запомнить желтый на красном боку номер – 2088; преувеличенно сутулясь, прильнув к запотевшему стеклу, его сосед в

съехавшей на затылок шапке продолжал, кривя губы, морща лоб, что-то восторженно рассказывать. Трезвоня, роняя молнии с дуги, пушисто искря всем выводком буксующих колес, трамвай тронулся и, тяжело мотнув задом, исчез за поворотом.

...у матери; еще бы; еще бы; мудрено было бы не узнать эту водянистую, насквозь просвечивающую голубизну. В которой, если приглядеться, кроме безумия найдешь еще и усталость, и страх. И печаль. И безадресный робкий упрек.

Илья невольно коснулся горла, будто хотел снять невидимую крепко перехватившую ладонь. Да-да, вот что касается упрека: как может он ее ненавидеть (из горячих сыновьих пожеланий: «чтоб ты околела!»), если достаточно всего лишь приглядеться?!.. Чувство вины?.. Что ж, пусть будет чувство вины, если только оно не выдумано взамен какого-нибудь другого, менее интересного: сострадания или любви, например. Вот сейчас же, не теряя ни минуты, он отправится домой, возьмет ее руки в свои и будет долго и пристально смотреть в глаза до тех пор, пока не вернется к ней память, а потом и рассудок. Пусть она вспомнит сначала хотя бы то немногое, что удалось запомнить ему: крохотную квартирку, где они бедно, но счастливо проживали до переезда на Безменовку, учиненного вернувшимся из тюрьмы отцом. Пусть вспомнит, как тихими зимними вечерами, забравшись с ногами на диван, накрыв шерстяным платком приникшего к ее теплому бедру сына, читала ему сказки, статьи из журнала «Вокруг света» и долгие малопонятные романы. Давай вспомним и весеннюю швейную страду, всю ее шумную пеструю неразбериху: оглушительно, как на демонстрации, орущий приемник; туго натянутые через всю комнату солнечные лучи, сосущие тончайшую меловую пыль, и волокнистый в завитках дым бабкиной папиросы; коварно скользкие, на манер арбузных корок, обрезки материи на полу; ломкие обмелки; вечно приоткрытая зеркальная дверца шкафа, наполовину завешенная уже готовой частью платья (этакий веселенький траур); вспомним пулеметные очереди зингеровской машинки и саму машинку с двумя хромированными рогами над плоской улитьей мордой (один из которых, как ни удерживай пальцем, ладонью, скачет вверх-вниз, второй невозмутим), с тяжелой чугунной решеткой в ногах, доводившей своим невесомым качанием до морской болезни, с челноком – легким, темным, жутковатым, ни на что не похожим... Давай вспомним и твою мать, мою бабку, любительницу портвейна и «Беломора», научившую меня лихо отплясывать чарльстон и бить чечетку, умершую первого января, так что гроб с ее маленьким сухоньким тельцем оказался в неожиданном соседстве с елкой, и с тех пор для меня каждый Новый год отдает похоронами и похороны Новым годом, а для тебя?.. А что если нам для успеха нашего предприятия начать с мелочей, с каких-нибудь осколков, которые по причине своей ничтожности никогда и не рассчитывали осесть в нашей с тобой памяти и задержались в ней, может быть, как раз для того, чтобы вытянуть теперь за собой что-то более значительное, в качестве приманки, так сказать... а? Ну-ка, попробуем; встряхнем и прислушаемся – что там у нас? Помнишь ранний, в утренних сумерках упругий гудок молочника? а утренний же звук открываемых ставен: плоский стук щеколды и клейкий треск присохших за ночь друг к дружке створок?.. Нет, маху дал, дал маху, не то; вот если бы можно было просто, без пояснений воспроизвести сами звуки, тогда другое дело. Давай-ка что-нибудь еще поэфемерней, ну, например, зловеще освещенные фарами с боков стальные ребра радиатора соседского трофейного авто, или шевеленье пепла в изображавшей Мефистофеля пепельнице под зависшей на секунду пчелой, или нечто совсем уж невнятное: огромные синие ворота, внезапный порыв ветра, что-то похожее на перехлоп флага над головой и... наверное, какой-то запах?.. чего?.. запах – чего? не помню... Мама – вот: давай вспомним тот запах! Ведь пахло же там (где?) тогда (когда?) чем-нибудь... Чем? Когда? Где?

Чувство вины, говоришь?.. Что ж, пусть будет так.

Она была одной из тех женщин, которых соседи, родственники, сослуживцы – одним словом, обыватели – называют (кто-то всерьез, а большинство с ядовитой усмешкой) «модницами». Эта совершенно независимая от общепринятой мода, которой они верно следуют, ими же самими дома, на машинке создается, и все эти «сногсшибательные», заставляющие оборачиваться прохожих туалеты из тканей подешевле да поярче с непременными лентами, оборочками, поясами,

игривыми разрезами, смелыми декольте и гигантскими бантами в самых неожиданных местах не столько свидетельство дурного вкуса и весьма скромных возможностей, сколько одно из проявлений их легкого, жизнерадостного, романтического и более или менее вздорного нрава. На людях это чаще всего смешливые кокетки, отзывчивые собеседницы, беззаветные и бескорыстные лгуньи, а в быту неряшливые, нерасчетливые хозяйки, беспечные, хотя и любящие матери, и, как правило, несчастливые жены. В их пристрастиях к орущим нарядам, пожалуй, куда больше детской непосредственности, нежели женского расчета, а еще больше наивной безотчетной веры в то, что весь окружающий мир чудеснейшим образом изменится, стоит только самой одеться поярче и понеобычней.

За исключением трех-четырех холодных месяцев, нелюбовь к которым она передала сыну (и Тимницын как-то предположил: а что если причиной ее тогдашней – а значит и его теперешней! – хандры была всего-навсего старенькая вытертая каракулевая шубка?), все остальное время она и двух дней не могла прожить без гостей, кино, театра или хотя бы прогулки по Большому Сысоевскому бульвару, и всюду ее сопровождал Илья, честно и рьяно исполнявший роль маленького расторопного грума. Похожий на лилипута в своем костюмчике-тройке, с галстуком-бабочкой под подбородком, он неизменно вызывал восторг и умиление у нашей жадной до зрелищ публики, когда, выскакивая из провонявшегося паленой резиной автобуса, подавал матери руку (кроме этого Илюша умел: зажечь спичку, для чего некурящая мать иногда брала сигарету, озабоченно промолвить: «кажется, нам пора...» и прочитать что-нибудь из Есенина). Примелькавшись, они приобрели в Лидии даже некоторую известность, и мать то и дело отвечала на кивки встречных. Белокожая, невысокая, стройная (хотя уже и немолодая) блондинка, она пользовалась успехом у мужчин, в особенности у военных и заезжих южан; легко знакомилась, вступала в разговоры, но вот «отшивать», кажется, совсем не умела, и частенько им с Ильей приходилось убегать от очередного ухажера по лидийским проходным дворам, распугивая голубей и кошек. В романах, которые с ней пытались заводить, ее, вероятно, увлекало только начало, зыбкое волнующее предощущение какого-то небывалого счастья; до кульминации, сколько помнит Илья, дело никогда не доходило, и незнакомые дяди никогда не переступали порог их квартиры.

Отсидев свои пять с небольшим лет, из Средней Азии вернулся отец – чужой, смуглый, мрачно-молчаливый. Надо полагать, прибыл он с серьезными намерениями начать новую жизнь: както молниеносно обменял их квартиру в Яме и свою в центре, где жил с сестрой, на квартиру на Безменовке, купил кое-что из мебели и одежды, устроился на работу в порт, несколько раз вышел с женой и сыном в люди, а потом исчез на полгода и с тех пор появлялся редко и ненадолго, если не считать двух месяцев перед смертью. С возвращением отца и появлением Лены жизнь стала проще, строже, скучнее.

Уже на Безменовке Тимницын пошел в школу, а спустя какое-то время после смерти отца туда зачастила стосковавшаяся по чужому вниманию мать. О, Илья хорошо запомнил – телом, мышцами – заставившую его врасплох паническую неприкаянность, внутреннюю суету, истерическое желание спрятаться, исчезнуть, умереть, только бы не слышать ее хохота в гулком коридоре, не видеть, как развязные старшеклассники перемигиваются и обмениваются толчками в школьном дворе, наблюдая за ее схваткой с налетевшим ветром, не чувствовать ее жадных торопливых поцелуев и крепкого до боли ерошенья волос перед уходом, точно они прощались на годы. Сначала были неловкость, стыд, потом, из-за ее упорства в нежелании видеть его муки, почти ненависть, и наконец, презрительное равнодушие. А ведь к этому времени он уже, кажется, понимал, что она больна... Здесь-то и был главный пункт обвинений. Нет, он не чувствовал себя кругом виноватым, но будь он хотя бы чуточку внимательней, снисходительней, кто знает, может быть, она была бы не так беззащитна перед своим недугом... Кто знает, Бог весть, поди разберись, не так-то все просто, то-то и оно, такие вот дела, ничего не попишешь...

Тимницын поморщился; тихо отпер дверь, вошел, остановился у приоткрытой двери в комнату матери. Она сидела, подставив под ноги низенькую скамеечку, смотрела телевизор. На экране качались мутные тени; плескалась вода, кто-то хрипло, вполголоса говорил: «Подгребай ближе,

Никифор, да полегче... заметят – враз перестреляют, как уток...» И тотчас в левом верхнем углу экрана с треском запульсировала яркая точка.

Илья, не раздеваясь, прошел к себе. О матери он больше не думал и остался с депрессией с глазу на глаз.

IX. Безменовка. Беглый МТ-обзор

С метатопографической точки зрения, скрутивший Илью приступ хандры имел вполне определенные и довольно веские причины. Среди них и осквернение во сне незадолго перед этим, и весьма ненадежное время суток – сумерки, и пребывание в тесном кругу незнакомых людей, а позже: не предвещавший ничего доброго номер трамвайного вагона аж с двумя восьмерками (у метатопографов всегда вызывала настороженность эта поставленная на попа бесконечность), шум и вонь компрессора, туман и еще многое другое, чего, как и всего вышеперечисленного, не мог принять во внимание непросвещенный Тимницын.

Но куда важнее было то, *где* он оказался в тот час.

Безменовка. Словоохотливый Андрей Решетилов в «Опыте сравнительной метатопографии городов Мадрида и Лидии» уделил не одну страницу этой части города. Ей он посвятил даже что-то вроде небольшой поэмки. «Отвратительный, коснеющий в губительном постоянстве низ Лидии», «черное дно», «неиссякаемое средоточие тьмы», «источник злой похоти» (это уж, должно быть, что-то очень личное), «незаживающая зловонная язва» – вот далеко не весь перечень эпитетов, которыми наградил Безменовку первый лидийский метатопограф. Излишним было бы теперь и говорить, что именно Безменовке была отведена роль лидийского «тегерана», то есть, того самого непредсказуемо опасного места в городе, которое следует обходить десятой дорогой. В отличие от мадридского, включавшего в себя казармы, тюрьму и кварталы между ними, а в остальном лишенного более или менее четких очертаний, «тегеран» Лидии (и, возможно, в этом его преимущество перед мадридским) имел твердые, неизменные границы (небольшой люфт, впрочем, не исключался), раз и навсегда обозначенные Решетиловым. Тем, кто не знает Лидии, сухое перечисление пограничных улиц ничего не скажет, для тех, кто знает или собирается побывать, сообщим: лидийский «тегеран» с юга на север: от сходящегося клином на нет Большого Сысоевского бульвара до Ямского спуска, с которым пуповиной Базарного переулка соединен Безменовский рынок; с запада на восток: от ул. Парижской коммуны до ул. Крепостной (Левадийский жил в № 2). Подобно белой крапине янь на черном поле инь стояли на юго-западе «тегерана», не ведая свального греха окружающего пространства, два дома-близнеца по Зенитному переулку, №№ 5 и 7. Сердцем же «тегерана»», его темным центром был, разумеется, дом купца Безменова – обветшалая махина в романском стиле с башнями по всем углам, и примыкавшие к нему, сползавшие к Яме здания медицинского городка.

«Все, все здесь дышит угрозой! – нагонял страху Решетилов. – Тротуары и брусчатка, столетние черные липы и тупые безжалостные фасады, дворы и подворотни... Словно само люциферово пристанище!..» Автор «Опыта» уверяет, что четырежды был в «тегеране» на волосок от гибели. В первый раз чудом выскочил из-под трамвая (дело было, кстати, в сумерки), во второй – едва не угодил под струю кипящей смолы с крыши, и еще дважды чуть не был забит до смерти: в первом случае его приняли за магазинного вора, в другом без всякой причины избила какая-то пьяная компания.

Лидийские приверженцы учения Себастьяна Браво полностью разделяли мнение Решетилова на сей счет, и редкий топограф отваживался войти в «тегеран» даже по самой крайней необходимости. Но если уж такое происходило, рекомендовалось постоянно повторять имя Себастьяна Браво, а позже и Андрея Решетилова, который для подобных случаев оставил подробнейшую схему возможных передвижений по Безменовке. Вообще же, страх перед «тегераном» (и сейчас речь идет не только о Безменовке, но о «тегеране» в широком смысле, как о разновидности пространства) был настолько велик, что топографы, кроме нескольких удальцов, никогда не произносили

вслух само это название, добавляя к нему, если никак нельзя было избежать, дополнительный слог – «тегеран-ран», или же заменяя его словом «герань», а то и вовсе жестом (начерченная в воздухе буква «Т»), или коротким постукиванием по чему-нибудь.

Таким образом, если судить с позиций метатопографии Браво и Решетилова, никакой депрессии у Тимницына не было, просто он оказался в чрезвычайно опасном пространстве, в котором оставался, даже вернувшись домой. И то, что он называл депрессией, закончилось только тогда, когда он это пространство покинул (или оно его?). Впрочем, как уже было сказано, ничего из всего этого Тимницын не знал: книгу Алхимова, несмотря на горячие заверения, он открыть так и не удосужился (Радж Брахван с Сумароковым надолго отбили охоту читать перепечатки). С Безменовкой же у него были, как известно, свои счеты.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Хнычев

День, назначенный для визита, выдался темный, холодный; пробиравший до костей ветер гнал с севера низкие, с аспидным исподом тучи, время от времени просыпавшиеся на город сухой снежной крупой; редкие стремительные выпады солнца были всякий раз неожиданны и неуместны, как развязная улыбка на лице покойника.

В три часа пополудни Илья Тимницын вышел из Губернаторского сада, пересек слякотную, гудящую, хлопающую на ветру Торговую и вошел в угрюмый, словно глядевший исподлобья дом времен борьбы с архитектурными излишествами, нахально втиснутый между мавританистым фасадом гостиницы «Большая Лидийская» и зданием в стиле модерн, в былинные времена принадлежавшим страховой компании «Гессен».

Четвертый этаж, квартира 10.

Впустивший его в прихожую человек в старом махровом халате с поднятым воротником и был Аристарх Юрьевич Хнычев; он был заметно смущен.

Теснота и шум лавиной обрушились на переступившего порог Тимницына. Замерев на свободном от вещей пятачке, он терпеливо ждал, когда хозяин с помощью много раз сложенной газеты закроет, наконец, дверь в комнату, из которой неслись детские крики и битье по клавишам фортепьяно; в кухне гремела посуда. Беспорядок, окружавший и теснивший Тимницына, производил на него странное, граничащее с дурнотой впечатление, будто все это: набитые на разрыв пустыми бутылками сетки, кипы пожелтевших газет, стопки истрепанных книг, вдребезги разбитый магнитофон, там и сям валявшиеся туфли и ботинки с комьями высохшей грязи на подошвах, свисающая на шнуре с потолка лампочка под сбитым набекрень картонным козырьком и прочее, включая недоеденный бутерброд с колбасой на шкафчике для обуви, – будто все это – затертое, изношенное, пыльное – изготовлено единым комплектом на какой-то безумной фабрике.

Не справившись, сунув газету под мышку и взявшись за ручку, хозяин с виноватой улыбкой поведал:

– Извините, накладка, сестра жены с детьми утром приехала из Саратова... совершенно неожиданно. Почему-то только вчера получили телеграмму, а сегодня уже надо было встречать... вот, только от стола...

По всей видимости, он уже успел изрядно выпить за приезд.

– Ну, что ж, – Тимницын капризно, с показным равнодушием (на самом деле он был несказанно рад) тряхнул плечами, – бывает... можно и в другой раз, я здесь неподалеку живу, договоримся как-нибудь через Петра Андреевича...

Хнычев, придерживая за спиной дверь, которую уже кто-то тянул на себя, глядел между тем на гостя с какой-то странной задумчивостью, словно пытался что-то вспомнить, и в эту минуту

чрезвычайно напоминал затурканного, растрепанного чиновника с дореволюционных карикатур, только пера за ухом и не доставало.

– А знаете что, идемте-ка с вами в ванную, там и побеседуем, – вдруг предложил он. – Мне этот сумасшедший дом вот как надоел! Хоть немного отвлекусь.

Хнычев деликатными пассами завел опешившего гостя в ванную комнату, сам же прошел на кухню. Пока он отсутствовал, Тимницын старался привести себя в заданное Жижиным состояние, но тщетно: кроме острого желания побыстрей отсюда убраться, да еще, пожалуй, брезгливости, он ничего не чувствовал. По части тесноты ванная несколько уступала прихожей, но зато с лихвой превосходила ее загаженностью (особенно поразил Илью умывальник в желто-коричневых потеках с тщательно раздавленным в нем тараканом и лежавшей тут же, в умывальнике, неопровержимой уликой – шлепанцем; надо полагать, убийца ушел полуобутым); правда, здесь было тихо, но и этот недочет исправил хозяин, зачем-то принесший вместе с легким пластмассовым табуретом для гостя транзисторный приемник. Настроив его на первую попавшуюся станцию, он положил его в стоявший на стиральной машине таз с грязным бельем и, не глянув на Тимницына, снова исчез, а через минуту явился с двумя чашками кофе, парой рюмок и полбутылкой коньяку, плотно расставленными на какой-то книге. Бережно установив ее на краю умывальника, он усадил Тимницына на табурет, сам сел на бортик ванны.

– Как-то зябковато, а?.. – вдруг громко хлопнув в ладоши, произнес Хнычев и чему-то рассмеялся.

Первым делом выпили за знакомство. Затем, после повторного сетования по поводу неожиданного и вероломного приезда свояченицы, Хнычев, к удовольствию Тимницына, уже после первой рюмки заметившего отрадные перемены в восприятии, разлил по второй. Выпили.

– А что, собственно говоря, вы хотите от меня услышать? – морщась, потирая ушибленную коньяком грудь, спросил Хнычев.

– Меня интересует... – Тимницын, не спрашивая разрешения, закурил и бросил спичку в унитаз, – меня интересует Яма.

– Яма?! Какая Яма? – с деланным веселым удивлением воскликнул Хнычев.

– Яма вашей молодости, – пояснил Тимницын, не забыв при этом усмехнуться.

– Ах, Яма нашей молодости! Так бы сразу и сказали... Холмы и ямы нашей молодости, взлеты и падения, поражения и победы – так что ли?

– Примерно.

– Ясно. Пробил час. Выпьем?

– С удовольствием. Час чего?

– Да так, неважно, мысли вслух... Ваше здоровье!

Когда они поставили рюмки на книгу (Тимницына томило и нервировало навязчивое желание прочитать ее название, в котором он разобрал только первое слово «Основы...» – основы чего?), Хнычев спросил:

– И охота вам такой чепухой заниматься?

Тимницын пожал плечами. Хнычев усмехнулся.

– Да я ведь никогда и не был в завсегдатаях «Акрополя», – сказал он. – Разве что полгода, может быть, чуть больше... Меня в Яму привел, так сказать, сердечный интерес. Исчез интерес, исчез и я – и вся история.

Сквозь наружность нерадивого канцеляриста неожиданно проступило траченное годами и бытом лицо бывшего сердцееда, в котором еще можно было найти следы привлекательности.

– Но какое-то участие вы в этой истории все же принимали, – многозначительно заметил Тимницын.

– Ах, вы об этом! «Герострат Хнычев»? А я все жду: ну когда же уже, когда... Значит, вы хотите знать, что было тогда в Яме? – он насмешливо глядел на собеседника. – Я вам отвечу: ничего там не было!

– Ну, как же это не...

– Одну минуту. Объясняю. Вот представьте себе: сидим мы с вами тут, разговариваем, самые рядовые, ничем не примечательные, обыкновенные обыватели, а через тридцать лет является к вам какой-нибудь молодой человек и хочет узнать: что же тогда у нас с вами было? Очень странно, правда? То же самое с вашим визитом. «Что было?»... А ничего не было! Собирались по вечерам и пили. С дюжину молодых бездельников, изображавших художественную среду, и несколько томных девиц, переходивших из рук в руки. Жижин нес свою сугубую галиматью... Кто там еще? Полуидиот Решетилов, прохвост Левадийский, пара-тройка художников, ну и еще какая-то рвань... Читали убогие стишки, картинки друг другу показывали – так что? Что из этого?

– А Плуг? – напомнил Тимницын.

– Да, и вечно пьяный Плуг, конечно. Вы его читали?

– Кое-что, – солгал Илья.

– Чистейшей воды графоман. Но гениальный графоман, и это его хоть как-то ставит особняком от всех прочих. Если бы прилипала Левадийский его не спаивал так усердно, может быть и вышел бы какой-нибудь толк, хотя очень сомнительно.

– А Птицелов? –спросил Илья.

– Кто??! – резко подавшись всем телом вперед, подставляя ухо, словно не веря услышанному, переспросил Хнычев.

– Арсений Птицелов.

– Какой еще Птицелов?! Так и знал! Это вам Петька Жижин наплел?

– Не только.

– А кто ж еще? Левадийский? Не смешите меня. Не было никакого Птицелова в помине!

– Ну, как же это не было, – снисходительно возразил Тимницын. Он обнаружил, что ведет себя с Хнычевым точно так же, как всегда вел с Сумароковым, с одной только существенной разницей: он не ощущал никакой неловкости за свой санкционированный Жижиным тон и (самое важное) был совершенно уверен, что никогда и не будет потревожен этой неловкостью. Ему только хотелось отложить на потом так и подмывавшую радость, чтобы спокойно, трезво, не суетясь, насладиться этими нечаянными дарами.

– А вот так: не было, и все, – отвечал между тем на возражения Тимницына Хнычев. – Жижинские выдумки, Жижина и его дружка Левадийского – пара пройдох. Нельзя быть таким доверчивым.

– Я фотографию видел, – опять соврал Илья.

– Фотографию?! Подумать только!.. Нет, это просто восхитительно! Вам даже фотографию показали! А хотите я вам сейчас покажу сразу три фотографии: рыболова, зверобоя и пчеловода? Жижину похвастаетесь.

– Вы что-то слышали о нем?

– От Жижина и слышал. «Птицелов»! Голову даю на отсечение, что все это выдумки.

– Вы серьезно так думаете?

– Абсолютно. А дело было так. Или примерно так. Повадился в «Акрополь» какой-нибудь затрапезный алкоголик, наболтал там что-нибудь экстравагантное, а Жижин досочинил, это он мастер, и пустил по кругу. Если, конечно, не сочинил целиком, как все остальное. Все элементарно просто. И вот чудо: в вашем воображении живет человек, которого никогда не существовало, и это даже не литературный герой, а миф, призрак, черт знает что, с чем вас, кстати, и поздравляю! Идите теперь, собирайте о нем сведения... Я вам очень советую: во-первых, все, что вам рассказывает Жижин, сразу делить на десять, а во-вторых, вообще быть с ним поосторожней, потому что это такой скользкий тип, каких мало. Ради красного словца не пожалеет и отца – это про него. Но не только ради словца...

– Спасибо, – сказал Илья, по-прежнему невольно заглядываясь на заставленную обложку книги. Под самой дверью, то и дело толкаясь в нее, бушевали дети. Хнычев положил ногу на ногу, обхватил колено длинными веснушчатыми ладонями.

– Маленький городок, маленькие люди, – задумчиво проговорил он, глядя мимо Тимницына.

– Нет ничего больнее и отвратительней бесцветно прожитой жизни. Вы знаете, я тоже беспутничал, резвился как мог под девизом «один раз живем», но меня страшно раздражало, что они замахиваются на нечто большее, меня это разозлило наконец. Разозлило, что эти бездари там, в «Акрополе», биографии себе высиживают, легенду. Хотя, все это понятно. Человек только для того, чтобы «было что вспомнить», может Бог знает каких дров наломать, всю жизнь перековеркать. Скука это ведь довольно невинная вещь, но, возможно, она нас так мучает только потому, что мы угадываем в ней будущее, еще более мучительное сожаление по поводу невыразительно прожитой жизни. Я это хорошо понимаю, и тогда, кажется, понимал, не знаю даже, почему они меня так разозлили. Может быть потому, что не дрова ломали, а как-то чересчур намеренно усидчиво высиживали свои будущие воспоминания? Кроме Плуга, разве что... этот как-то яростно и целенаправленно занимался саморазрушением, только что серную кислоту не пил, была в нем настоящая одержимость. Лет сто назад вериги бы, пожалуй, носил... А ваш Жижин, кстати, тут же, конечно, эстетическое обоснование подвел, утверждал, что Плуг родоначальник нового художественного течения – «травматизм» или еще «искусство боли», и это совершенно серьезно, то есть вначале как шутка, ну а потом всерьез. Уверен, что у него где-нибудь ждут своего часа такого рода воспоминания... Он, хотя и любит поерничать, пошутить, а все-таки на редкость неостроумный человек...

– А может быть все это только ваши догадки?

Хнычев вопросительно поглядел на гостя.

– По поводу высиживания, – пояснил тот.

– Может быть, – согласился Хнычев. – Может быть и догадки. Я не спорю. Вот и моя роль явно преувеличена. Я, разумеется, сделал тогда фантастическую глупость, ну, когда сжег... мог бы предположить, что все это им только на пользу. Просто попала под горячую руку папка с повестью Плуга и чьими-то стихами... кажется, поэма еще какая-то была... ну, я и швырнул все в печку. Это Жижин потом раздул...

Коньяк разогрел Тимницына; незаметно для себя он расстегнул пальто, выпростал шарф, стянул шапку, влажную изнутри, и все равно, с каждой минутой все больше изнывал от жары. Его собеседник выпивал очередную рюмку в два глотка и хмелел на глазах с каждым из них: речь теряла связность, а во взгляде и в голосе все сильнее проступала пьяная элегическая грусть. Пора было уходить.

Напоследок Тимницын попытался разузнать что-нибудь о Жижине и Левадийском; у него почему-то сложилось мнение, что Хнычев до сих пор с ними дружен (и сама эта встреча служила подтверждением), но оказалось, что никаких, даже приятельских отношений между ними давно нет. О Левадийском Хнычев сообщил, что он торгует антиквариатом и старинной мебелью. Последний раз он его видел весной на бульваре, когда тот, изящно опираясь на трость (тут Аристарх Юрьевич вновь дал волю своей язвительности), меланхолически расхаживал по аллеям, держа перед собой томик Бодлера на французском. С Жижиным он встречается и иногда перебрасывается несколькими словами чаще всего в книжном магазине или в филармонии. Илья между тем совсем измучился, и надо было решать: или снимать пальто, или уходить. Он выбрал второе.

– Уходите? – встрепенулся Хнычев, как только гость оперся на раковину, чтобы подняться.

– Да. Спасибо за рассказ, за коньяк... Пора, – отвечал Илья, ловя на себе тот же, что и в прихожей, пытливый взгляд.

– Вы сказали, что где-то рядом живете?

– Да. На Парковой, – сказал Тимницын, предвкушая вольный студеный воздух улицы.

– Один живете?

– Нет, с матерью и теткой.

– Но своя комната есть?

– Да, конечно.

– Это самое главное.

«И чего привязался!» – раздраженно подумал Тимницын, уже готовый выйти. Но выход ему

преграждал хозяин, перешедший в следующую фазу опьянения: теперь он был чем-то не на шутку взволнован и не сводил глаз с Ильи. Вдруг он протянул руку и сделал громче приемник.

– Брамса любите?

– Да, очень, – ответил Тимницын и соврал в третий раз.

– А еще кого?

– Моцарта, Баха... Бетховена, Глинку, – перечислил Тимницын первые пришедшие на ум имена. – До свидания.

– Да... хорошо... а если я что-нибудь вспомню по интересующему вас вопросу или найду, у меня в кладовке валяются какие-то бумаги, может быть к вам зайти?.. если это так близко...

– Пожалуйста, если захотите, – без особого радушия сказал Илья и сообщил свой адрес, – вход со двора, там перед самым подъездом все перерыто и трубы лежат, вторую неделю воды нет горячей...

– Что вы говорите? Вторую неделю?! – воскликнул хозяин с необъяснимым, поразившим гостя волнением, тем самым доводя до сведения последнего, что их прощание перешагнуло за грань нормальной беседы и все больше и больше отдает бредом.

– Да ничего, ерунда, скоро починят, – как можно беззаботней сказал Тимницын. – Я сегодня там рабочих видел, что-то копаются... думаю, на днях пустят. Ничего страшного, походим пока в баню.

– В баню?! В нашу, четырнадцатую?! – прокричал Хнычев.

– Что делать, приходится... – снисходительно улыбнулся уже не на шутку перепуганный Тимницын и с натужной игривостью повторил, – спасибо вам за коньячок... Вы выходите?

– Зачем вам ходить в баню! Грязь, грибок, антисанитария! – оставляя без внимания слова гостя, продолжал кликушествовать Хнычев. – Вы можете здесь выкупаться, у нас прекрасный напор, пожалуйста, смотрите! Хоть сейчас... Не стесняйтесь, что тут такого, вот я вам немного помогу, – крепко обняв Илью, он выкрутил до упора кран, из которого в ванную после приступа кашля с грохотом полился крутой кипяток, и тотчас, ухватившись за воротник, стал стягивать с гостя пальто. Тот, совершенно ошарашенный атакой, уворачивался, отбивался и пытался урезонить хозяина.

– Погодите, постойте!.. да что вы делаете, зачем?.. Не надо, я чистое белье не взял, полотенце... мне пора идти...

Но Хнычев ничего не слышал и не слушал. Так и не сняв пальто с Тимницына, он вдруг быстро и ловко отпер и выдернул из скобы ремень на его брюках.

– Я вас прошу, вы поймете, – задыхаясь шептал он, – это не для меня, для вас, вы сможете это оценить... сейчас, сейчас, сейчас... только спокойно...

Комната быстро наполнялась густым горячим паром.

– Вы с ума сошли! Отпустите! – вполголоса воскликнул Тимницын. Он схватил хозяина за плечи, пытался оттолкнуть, но не тут-то было – тот, пятясь, повлек его за собой; от их толчка с книги в раковину звонко хлынула посуда.

– Это ничего! – горячо прошептал обезумевший, с перекошенным лицом, Хнычев, – сейчас, сейчас! – и вдруг упал на колени. Тимницын распяленной пятерней запрокинул ему голову. В дверь постучали.

– Аристарх Юрьевич! – как-то очень отчетливо, видимо в щелку, произнес молодой женский голос, – будьте так добреньки, впустите на минуту Сашеньку, он хочет по-маленькому!..

Тимницын рванулся из ослабевших объятий замешкавшегося Хнычева и, запахивая пальто, выскочил в коридор, где перешагивая через сидящих на полу детей, оступаясь, выворачивая ступни на разбросанных игрушках, падая со стены на стену, с трудом пробился к дверям. Сбегая по лестнице, он спешно приводил себя в порядок. На его счастье, никто ему не повстречался, только на площадке между вторым и первым этажами какой-то молодой человек курил, глядя в окно.

II. Встречи в Губернаторском

«Вот же сволочь! Чтоб было что вспомнить, да? Ничего-ничего, я тебе вспомню, я тебе так вспомню!..– возмущался то вслух, то про себя Тимницын, остановившийся отдышаться в Губернаторском саду под музыкальной беседкой. – Скотина! Сукин ты сын! Основные черты гидрологии Атлантического океана! А это еще что такое?! Ах да, книга... Он что, гидролог? А что это значит: гидрология? Изучение воды? Воду изучает? Ничего-ничего, я тебе поизучаю... Это Жижин специально меня ему подсунул, удавить его мало!..»

– Илья! – вдруг услышал он за спиной и, обернувшись, увидел Виктора. Тот был не один, рядом ковылял отрешенно сосавший леденец уродец.

– Вот нечаянная радость! – воскликнул Виктор, хватая Илью за руку. – Сам Бог тебя послал! Сделай доброе дело, покарауль пару минут Андрюху, мне тут срочно надо забежать кое к кому. Позарез! Постоишь? Все, бегу. Андрюха, веди себя хорошо... Одна минута! Тимницын слишком был занят своими мыслями; он и опомниться не успел, как холодная ладошка мальчика оказалась в его руке. Ему вспомнилось, что сегодня вечером он должен быть у Жижина с отчетом. Тимницын решил, что не пойдет. «Нет уж, довольно. Письмо, слава Богу, у меня, пусть выберет кого-нибудь другого для своих экспериментов». Бережно спрятав палочку от леденца в карман, Андрюха достал другой и, щуря от удовольствия раскосые, словно стянутые ладонями к вискам глазки, вновь заработал ярким, большим, едва умещавшимся во рту языком. Тимницына стало раздражать добросовестное караульное стояние, и он сделал несколько кругов вокруг беседки, в которой не спеша расчехляли свои трубы рассевшиеся по скамейкам оркестранты. Вернувшись на исходную позицию, Тимницын простоял еще битых четверть часа и опять, теперь уже чтобы согреться, поплелся по тому же маршруту, то и дело озираясь, опасаясь пропустить запропастившегося Виктора. Андрюха послушно следовал за ним. И тут произошла еще одна, совсем уж неожиданная встреча. Под звуки «Турецкого марша», тяжелого, на редкость нерасторопного, неуклюже преодолевавшего игривые пассажи, перед Тимницыным предстал Жижин.

– Прогуливаемся? – спросил он, как школьник заводя за спину свой одутловатый, вечно чем-то набитый портфель, имевший какое-то необъяснимое сходство с владельцем. – Это Навроцкого? – Жижин показал на мальчика.

Тимницын кивнул.

– Похож... Вы что же, к Хнычеву с ним ходили?

– Нет, один, – мрачно отвечал Илья. – А вы зачем... Вы специально меня к нему послали? Вы ведь знали...

– Илюша, вы о чем? Что-то произошло?

– Что вы мне голову морочите? – теряя терпение, воскликнул Тимницын. – Вы что, не знали, кто такой этот ваш Хнычев?! Вы нарочно так подстроили! Хотели, чтобы я ему морду набил, да? Вы этого хотели? Или что-нибудь еще в этом роде?.. чтобы...

Жижин глядел на Илью с неподдельным удивлением, с каким-то даже восторженным удивлением.

– Как?!.. вы хотите сказать... быть не может, неужели... – произнес Жижин, и у него вырвался коротенький смешок. – Однако темпы у Аристарха Юрьевича!.. если, конечно, я вас правильно понял... Это невероятно! Кто же мог подумать, что он так сразу! И чем у вас там закончилось?

– Послушайте! – рассвирепел Тимницын. – Ваше счастье, что я не встретил вас полчаса назад...

– Нет, это вы послушайте! – меняясь в лице, резко оборвал его Жижин. – Я не знаю, что там у вас произошло, но я вам дал четкую установку как себя с ним вести – вы выполнили мое задание? На вас вон до сих пор лица нет. Вы что же думали, я с вами буду в поддавки играть? Я вам сказал, как себя с ним вести, – раздельно повторил он. – А что вы? Если не смогли выполнить, так и пеняйте на себя! Впрочем, как хотите, дело ваше. Но я потакать вам не собираюсь. Или будем притворяться, что чем-то занимаемся, или будем серьезно делать дело. Решайте. Если надумаете, я вечерами дома. До свидания. Всего хорошего, дружок, привет папе.

Помахивая портфелем, он ушел. Тимницын задумался.

«Ну и черт с ним! Хотя, пожалуй, он прав. То есть мне, положим, наплевать на это и на его доводы, но, если так можно выразиться, юридически он прав. Назвался груздем и все такое. А все равно к нему я больше не пойду...»

Виктора, между тем, все не было, и Тимницын уже ясно понимал, что угодил в западню. Темнело. Под крышей грохочущей военными маршами беседки загорелась гирлянда лампочек.

– Ну, где твой Виктор пропал! – Илья в сердцах дернул мальчика за руку и тотчас же горько об этом пожалел, лицо его задрожало, перекосилось, он распахнул рот и, набрав воздуха, оглушительно заревел. В одно мгновение они оказались в центре внимания. На мощные звуки плача останавливались бездельники-прохожие, косились из беседки музыканты.

– Хочу! Хочу! – кричал сквозь плач на весь сад Андрюха, пытаясь выдернуть руку.

Тимницын старался закрыть собой его от публики.

– Успокойся, перестань, пожалуйста! – умолял он мальчика. – Ну, что ты хочешь? Скажи...

Ждать Виктора, конечно же, не имело никакого смысла, и надо было что-то предпринимать. Тимницын решил, что Андрюха просится по нужде, но когда он попытался завести его в ближайшую подворотню, тот завопил пуще прежнего. Не оставалось ничего другого, как вести его домой, на Дегтяревку. О том, чтобы сесть в трамвай, Илья и думать не хотел, живо представив себе эту веселенькую поездку.

С полдороги бушевавший и даже один раз вырвавшийся Андрюха, наконец, умолк, присмирел, видимо, догадавшись, куда его ведут. «Домой, домой идем, к маме...» – поощрял его намучившийся Илья. Однако добирались они бесконечно долго: мальчик то и дело останавливался, что-то разглядывал, и Тимницын робко теребил его за руку, пока он не трогался с места, еще долго не сводя глаз с заинтересовавшего предмета. Дверь им открыл сосед Навроцких Толик, ходивший, по словам Виктора, в любовниках у его жены.

– Виктор дома?

– Гуляет!

– Дома? – не понял Тимницын.

– Гуляет, говорю. А тебе чего?

Тимницын молча подтолкнул к нему Андрюху и ушел. Виктора он встретил возле рынка, неподалеку от остановки. Тот еле держался на ногах, был страшно бледен и, кажется, не сразу узнал Илью. Рядом с ним, повиснув у него на локте, качалась алкоголичка по прозвищу Брынза – маленькая, крепкая, кривоногая, с чужим, значительным лицом красивой женщины. За их спинами, под стеной магазина шумела пьяная ватага, кто-то выкрикнул: «Господь накажет суку, вот увидишь!» С отвращением глядя на Навроцкого, Тимницын подошел к нему вплотную, но не успел вымолвить слова, как был оттеснен подоспевшим старшиной Сеней, который подвел к Виктору щупленького паренька, похожего на тех несчастных спившихся нищих, что денно и нощно обретались возле Старого Базара. Парень испуганно смотрел на Навроцкого, Сеня держал его сзади за воротник.

– Вот он, – сказал Сеня и повернулся к Илье, – о, Тимницын! Бабу хочешь? Вон там, в подъезде. Давай, торопись, пока лежит, а то убежит.

– Как зовут? – спросил Виктор.

Сеня толкнул парня.

– Виктор, – тихо произнес тот.

Навроцкий, чуть откинув голову, вопросительно взглянул на Сеню.

– Виктор, говорит, – сказал Сеня.

Навроцкий ударил парня по щеке; тот хотел было закрыться, но Сеня криком «руки по швам!» остановил невольный жест.

– И меня зовут Виктор, – сказал Навроцкий. – А это значит, что один из нас говорит неправду. Как тебя зовут?

Парень, опустив лицо, молчал. Брынза хотела ударить его ногой, но не достала и едва удержала равновесие.

– Сейчас я с ним договорюсь, – сказал Сеня, заводя парню руку за спину.

– Подожди, – остановил его Навроцкий. – А вдруг его тоже зовут Виктор? Ну, вдруг... совпадение...

– Вообще, на свете всякие чудеса случаются, – отозвался Сеня.

– Тогда нам его надо срочно переименовать, – сказал Навроцкий и положил руку Тимницына на плечо. – Илья, придумай человеку имя покрасивее...

– А может быть лучше цифру? – предложил Сеня.

– Я к тебе больше не приду, – сказал Илья, стряхивая руку Навроцкого. – И ты ко мне не приходи. Я тебя видеть не могу.

– Ой-ой-ой-ой-ой! – презрительно сморщившись, передергивая плечами, пропела Брынза.

– Чтобы не было больше совпадений, давай назовем его какой-нибудь дробью, – продолжая держать парня, сказал Сеня.

– Вот тебе раз! – усмехнулся Виктор и в спину уходившему Тимницыну крикнул, – Илья, ты что, забыл, что ты в ответе за тех, кого приручил?!..

Когда Илья, уставший, замерзший, вернулся, наконец, домой, за ним в комнату без стука вошла Лена и положила рядом на кровать сверток. «Бандероль», – сказала она. Бандероль была обернута в бурую, плотную как жесть бумагу и перевязана шпагатом, но ни обратного адреса, ни сургучевых пломб на ней не было.

Лена едва не подавилась чаем, когда разъяренный Илья влетел на кухню с грязным кирпичом в руке.

– Кто это принес? – закричал он.

– Что принес? – пролепетала Лена.

– Вот это!.. Боже мой! Ну, бандероль, бандероль – кто ее принес? Слышишь? Я тебя спрашиваю!

– Во-первых... – едва опомнившись, но уже обидевшись, начала Лена.

– Во-первых, во-вторых! Кто это принес?!

– Откуда я знаю? Если...

– А кто знает?

– Позвонили в дверь, я открыла, она лежала на пороге. Если...

– Когда это было?

– Не помню. Часа через два после твоего ухода.

– А когда я ушел?

– Я за тобой по часам не слежу, у меня других забот хватает. Если еще и ты будешь на меня кричать, то я просто...

Тимницын размахнулся и что было силы швырнул кирпич на пол; коснувшись линолеума, кирпич развалился надвое.

– Совсем с ума сошел! – воскликнула Лена.

«Неужели ему даже в голову не приходит, неужели он совсем не боится, что когда-то может наступить конец моему терпению?!» – думал Илья, вернувшись в комнату. Он вырвал на себя пружинисто упиравшуюся, за зиму вросшую в раму створку окна. Холодный, заждавшийся ветер ринулся прямиком к письменному столу, жадно зашуршал бумагами. Под окном звенела неоновая вывеска парикмахерской; хлопнула дверь телефонной будки. «Нет, ошибаешься, ошибаешься, мой дорогой, – грозился Тимницын, разглядывая обертку бандероли, – это мы еще посмотрим!»; скомкал и отшвырнул.

III. Голованов

С отчетливым «разрешите» спотыкавшегося на ухабистом тротуаре Тимницына обогнал, потеснив к обочине, молодой невысокий офицер; ударивший сзади свет фар на миг остановил его скользившую по забору тень и погнал ее, сводя на нет, назад, к Тимницыну, но бодро шагавший

военный с лоснящимися голенищами, недолго думая, обзавелся новой. Едва Илья свернул на ул. 9 января, нарезанную по всей длине десятком одноименных пронумерованных переулков, в одном из которых, четвертом, проживал Жижин, во всей округе погас свет, и судя по тому, как быстро налились окна медовым свечением керосиновых ламп, такое случалось здесь часто. Где-то впереди раздался пронзительный разбойничий свист; раззадоривая друг друга, заходились от лая повысившие бдительность собаки. За несколько шагов до жижинских ворот Тимницына остановил прохожий и попросил спичек. Сколько времени прошло, а Илья, как только огонек осветил лицо курильщика, сразу узнал своего школьного мучителя Голованова, героя непрошеных воспоминаний и кошмарных снов.

То был здоровый, как бык, малый с крепким кирпичным румянцем на пушистых щеках, отсидевший по два года чуть ли не в каждом классе, и, вероятно, случайно и не без пассивного участия Тимницына открывший для себя сладость безнаказанных издевательств. Постоянной изнуряющей заботой Ильи было не попасться ему на глаза (заслышав головановский гулкий бас в туалете, он, еле дождавшийся перемены, мчался сломя голову на другой этаж), но уж если попадался, то исполнял его прихоти беспрекословно и деловито, тревожась только об одном: не привлечь внимания. Голованов тоже предпочитал интим. «Тимныцын (узкая, словно сквозь стиснутые зубы процеженная фамилия в его произношении приобретала убийственную объемность), Тимныцын, а ну подь суда!» – приглашал он свою жертву в пустующий актовый зал или под лестницу, где уборщица держала веники, тряпки, ведра. К счастью, фантазией он не отличался и удовлетворялся малым: смачно оплевав ботинки, заставлял их вытереть, мог отобрать выданный на завтрак двугривенный, а то и просто дать под зад. Самым страшным были вероломные нарушения этой негласной договоренности, например, прилюдно отданный приказ сбегать в буфет (о, эти нелепые, усугублявшие унижение попытки изобразить дружескую услугу, притворная ленца – когда внутри уже все трепещет – вопросов: а если пончиков нет? может быть, лучше бублик? Опасная медлительность походки с напряженным ожиданием возмущенного погоняющего окрика, с единственной мыслью дотянуть бы до угла, а там – во весь опор, прыгая через ступени!) или выкрики на всю школу: «Тимныцын, я скоро на твоей матери женюсь, будешь меня папой звать!» – убить, разорвать на куски, затоптать!..

Помнится, однажды их привели в учительскую как подельников. Голованов с криком «кто твой хозяин?» – была такая школьная игра – оседлал сзади Илью, тот его инстинктивно сбросил, за что и получил крепкий тычок под дых, от которого на несколько секунд потерял сознание. Учитель физкультуры, заставший только грузное падение Голованова и его ответный удар, потащил их обоих в учительскую. Когда завучем решено было вызвать в школу их родителей, Голованов, к удивлению Ильи, разревелся и, хватая за руки то завуча, то физрука, стал просить прощения. Оказалось, что он до судорог боялся своего отца, который, махнув рукой на успеваемость сына, ревностно следил за дисциплиной и за каждую жалобу от учителей драл его нещадно.

«Помнит ли он меня? – думал Тимницын, стоя у жижинского дома, глядя вслед Голованову, припоминая давний кроличий страх и сквозь его озноб прозябавшую, на его дрожжах поднимавшуюся электрическую дрожь ненависти с неутоленной жаждой мести и кровожадными грезами. – Вряд ли. У него, пожалуй, уже жена... может быть, дети. Такие рано обзаводятся семьями...»

IV. Договор

Жижин выслушал отчет Тимницына о визите к Хнычеву с веселым интересом, иногда изумленно выкатывая глаза и время от времени прерывая рассказчика восклицаниями и короткими торопливыми комментариями.

– И ведь все собачий сын наврал! – подытожил он. – Как сивый мерин наврал! «Полгода»... Как бы не так! Он в «Акрополе» дольше всех ошивался, замучил все живое своими бездарными стишками и папку эту из зависти сжег, потому что его туда не взяли, и было в ней, кстати, раз в десять больше, чем он рассказывал, это был уже готовый журнал. Но что меня больше всего по-

ражает – так это как он все ловко повернул! Век живи – век учись. Ай да Хнычев, ай да содомит! Я бы никогда до такого не додумался, вашему рассказу просто цены нет!..

Тимницын был необычайно доволен произведенным эффектом. Дневное происшествие у Хнычева теперь и ему представлялось забавным и не более, а вот за сцену у музыкальной беседки было неловко.

– Знаете, о чем я думал после нашей встречи в Губернаторском? – спросил Жижин и приложил палец к губам. – Тссс!.. Где-то мышь опять скребется, слышите?..

Илья прислушался. Они сидели в узкой кладовой, служившей одновременно и фотолабораторией, о существовании которой Тимницын и не догадывался, поскольку вход в нее из сеней был наглухо закрыт клеенкой. Жижин сообщил по секрету, что иногда вечерами скрывается здесь от случайных нежелательных гостей.

– О чем я? Ах, да... сейчас, соберусь с мыслями.

Жижин разлил вино; от полноты чувств он даже взял папиросу и неловко, по-женски держа ее в негнущихся пальцах, курил без затяжек, иногда глотая дым.

– Я, кажется, понял, в чем наша ошибка, да, то есть моя ошибка, прошу прощения, а впрочем, почему же только моя, дело-то общее, хотя... Ну, ладно, неважно. Так вот: дело все в том, что мы с вами совершенно забыли о такой важной вещи, как ритуал. Ритуал, который есть не что иное, как средство убеждения. Все эти свадьбы, проводы в солдатчину и на пенсию, первые получки и военные присяги имеют одну-единственную цель: утвердить новообращенного в его новом качестве, сделать ему своего рода зарубку и таким образом убедить его, ну, хотя бы на некоторое время, что возврат в прошлое состояние невозможен и даже преступен. Это равно необходимо как для самого неофита, так и для устроителей торжеств. Любое событие теряет три четверти своего значения и убедительности без всей этой ритуальной волокиты. Да что мне вам говорить! Вы лучше меня это понимаете, судя по вашему письму, которое я, кстати, куда-то подевал и никак не могу найти.

Тимницын понимал. Изнывая от переполнявшей его симпатии к хозяину, он едва сдерживал себя, чтобы не похлопать того по плечу, погладить по спине или как-нибудь еще засвидетельствовать свою горячую приязнь. Слушая Жижина, он растроганно глядел и не мог наглядеться на согретый теплым светом керосиновой лампы умилительный в своей безыскусности натюрморт: блюдце с состарившимся сыром, мелко нарезанный холмик черствой горбушки, чета стаканов, наследивших по всей столешнице липкими кругами и полумесяцами, припертый к стене будильник, таращащий цифры сквозь лучезарную толщу крепленого «Лидийского»... Даже чувство вины за украденное письмо странным образом добавляло тихой уютной радости.

– Одним словом, вот, полюбуйтесь на продукт моих размышлений, – сказал Жижин, протягивая Тимницыну сложенный вчетверо листок.

Начальнику ЖЭК 21
Ямского р-на, г. Лидии
Тахтасьеву С.Н.
от жильца д. № 7 по 4-му переулку 9-го Января
Жижина П.А.

Заявление

Уважаемый Станислав Нефедович, уже неоднократно обращался я в наш ЖЭК по поводу пришедших в полную негодность канализационных труб, подведенных к моему санузлу. Однако, на все мои...

Тимницын поднял глаза.

– Кажется, это не мне... Петр Андреевич...

– Что? Что такое? – качнувшись к нему, воскликнул Жижин и звонко хлопнул себя ладонью по лбу. – Ну, конечно, это не вам! Вы же еще не начальник жэка! Замечательно! Вот, вот это... – и он, со смехом, обменялся с Ильей листками.

«Я, Тимницын Илья Аркадьевич, поступая на послушание к Петру Андреевичу Жижину, обязуюсь беспрекословно выполнять все его распоряжения и давать отчет о проделанном по первому требованию».

– Отлично! – произнес Илья. – Это как раз то, что надо! – он взял было со стола ручку, но тут Жижин вытянул листок с договором из его расслабленной ладони.

– Петр Андреевич – ??.

Жижин, усмехаясь, отмахнулся.

– Ерунда все это, – промолвил он смущенно.

– Петр Андреевич, давайте бумагу, я хочу приложить руку...

– Не стоит. Я вот сейчас подумал, что в качестве ритуала и этого застолья вполне достаточно...

– Ничего не достаточно! Петр Андреевич... – настаивал Тимницын. – Пусть будет такая бумага. Это будет меня... поддерживать и дисциплинировать... а то опять сорвусь. Давайте!

Но Жижин, улыбаясь, медленно качая головой, разорвал листок надвое, сложил половинки и разорвал еще раз...

– Петр Андреевич! – воскликнул Тимницын. – Ну, зачем же! Так хорошо было сформулировано... Давайте новый напишем.

– Коли вам так неймется, можете расписаться вот на этом, – сказал, смеясь, Жижин и положил на стол перед Ильей заявление начальнику жэка, – в конце концов, какая разница? Нам ведь нужен дух, а не буква, правда?..

Тимницыну это парадоксальное предложение очень понравилось и он с восторгом поставил под заявлением дату и подпись.

На улице Илья взял, наконец, Жижина под руку. Жижин говорил:

– Эх, Илья Аркадьевич!.. Вот что я вам скажу: узок человек, узок... Я бы расширил. Вот, к примеру, был у меня один знакомый, солидный мужчина, отец семейства, профессор, уважаемый человек. И вот однажды он вдруг признается, что больше всего на свете желал бы, хотя бы на недельку, оказаться в какой-нибудь дворянской усадьбе прошлого века, в какой-нибудь полковничьей или генеральской семье, и чтобы там было две-три дочери на выданье, а кроме того, полный дом понаехавших гостей, среди которых еще и парочка кузин, и несколько молодых людей, ну, в общем, можете себе представить... Но воплотиться бы он желал не в хозяина и даже не в молоденького студента или офицера, что было бы понятно, а в младшую из генеральских дочерей, в девицу годов тринадцати-четырнадцати, которая постоянно путается у влюбленных под ногами, перехватывает у прислуги и направляет по другим адресам записки, то и дело кого-то вгоняет в краску своими неосторожными обмолвками, ну и так далее... этакая, одним словом, несноснейшая шалунья, неугомонный бесенок в юбке... Вот, скажите, кто поможет такому человеку?.. Впрочем, такому даже и я не помогу. Однако, это крайности. Чаще у людей желания и фантазии куда скромнее, но и они, увы, так же порой невыполнимы, как и это. А ведь невыполнимое желание это, если хотите, медленная, но верная отрава, гангрена души. От него до желтого дома рукой подать. А то и до могилы. А человеку иногда всего-то и надо, чтобы ему кто-то позволил, снял с него, так сказать, груз ответственности. Знаете, я бы поместил объявление в газету: «Даю разрешения». Приходили бы люди, и не надо, чтобы они что-то рассказывали, объясняли, а просто бы спрашивали: «Петр Андреевич, голубчик, разреши!» А я бы только отвечал: «Разрешаю». И все. А человеку и легче. Профилактика душевных заболеваний. Так что, Илюша, вам повезло, как мало кому. Сам завидую. Ну, скажите, что по сравнению с возможностью меняться, время от времени становиться кем-то другим, да хотя бы для того, чтобы просто-напросто отдохнуть от себя опостылевшего, что по сравнению с этим те же пресловутые слава или деньги, а?.. Так, чепуха, мелочь...

Тимницын, наконец, решился.

– Петр Андреевич! Я хочу... А куда мы, собственно говоря, идем?

– К одной веселой вдове.

– Вдове?!

– К веселой вдове. Она несет с собой опьянение.

– Отлично! Петр Андреич!..

Одним махом свет вспыхнул в фонарях, окнах, лужах и в витрине магазина; Тимницын осклабился, изображая рыхлой глупой улыбкой то ли участие в общем ликовании пространства, то ли само это ликование.

– Я вас слушаю, Илюша.

– Петр Андреич!.. я хотел бы сознаться... вам. То есть не хотел бы, но теперь хочу... и не для вас – для себя! Только для себя. Он, сволочь, вон там, внутри, не хочет и даже упирается, а я вот хочу... потому что если признаюсь – это я признаюсь, а если не признаюсь – это он не признается, а я его знать не хочу!..

– Желаете покаяться в том, что обжулить меня хотели? – насмешливо, но тепло спросил Жижин. – Да я ведь это сразу в вас раскусил. Вам ведь наставник только в качестве громоотвода нужен, чтобы на него все свои неудачи валить, и такой нужен, чтобы попроще, чтобы, если уж очень надоест, можно было бы и послать куда подальше, правда?

– Абсолютно точно! – воскликнул пораженный Тимницын, собиравшийся, впрочем, говорить совсем о другом, а именно о похищенном письме, но теперь, после слов проницательного Жижина начисто об этом позабывший. – В самую что ни на есть десятку попали!

– Я, Илюша, психолог – вот наука... Но хочу вас успокоить или обеспокоить: со мной это не пройдет, я с вас просто так не слезу!

– И правильно, Петр Андреич, правильно! Ни в коем случае не слезайте! Дайте я вас расцелую...

Как в дешевом бумажном калейдоскопе, который и крутить-то не надо, а достаточно лишь легкого щелчка, чтобы цветные осколки легли в новый узор, так в тот мартовский вечер в пьяном сознании Тимницына окружающее пространство складывалось то в ул. 9-го Января, то в Хлебную площадь, то в какой-то переулок, опять в улицу и, наконец, сложилось в незнакомую квартиру с накрытым белой скатертью столом под разлапистой люстрой, с хохочущей вдовой (крашеная блондинка), со смеющимся Жижиным, с улыбающимся в зеркале Тимницыным, с красным вином, с веселой вдовой, с раскрытым балконом и присмиревшим городом внизу, с ползущими по глянцевому небосклону звездами, с хохочущей вдовой, с уходящим Жижиным, с обнаженной вдовой, с вдовой, с вдовой, с вдовой, с вдовой, стемнело.

V. Яков

Дом был несомненно тот, с плаката по гражданской обороне в контролерской, с неутомимым веловентиляторщиком в подвале и группой сосредоточенно дышащих граждан вдоль стен с зелеными панелями.

Крепко сжав рукояти пулемета, Илья лежал на одном из верхних этажей под прикрытием волнисто обрезанной (для наглядности) стены; пулемет работал исправно, длинными и короткими очередями так и косил бегущих по улице, перебегающих улицу, выбегающих на улицу, но – звук стрельбы Тимницына смущал, тревожил: нажмешь на гашетку, и словно кто-то над самым ухом негромко так, с влажной хрипотцой: та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, та-та, та-та-та; огляделся – никого; и снова на гашетку – внизу заспотыкались, повалились, пулемет под руками вздрагивает беззвучно, а над ухом опять вкрадчиво: та-та, та-та-та, та-та-та-та-та...

а в соседней комнате кто-то громко, гортанно на каком-то (арабском?) языке ведет счет жертвам: юздурми ич!.. бошяккуз бош!.. раснутты патх!.. муджистин гюрх!.. харратуз мин!.. йеслион встал!.. солнышко спишь?..

– Проснулся, соня?

Лежавший на спине Тимницын замер, но спустя несколько секунд, не совладав с предательски задрожавшими веками, открыл глаза.

В ногах стояла, улыбаясь, приветливо делая ручкой, хозяйка в черном шелковом халате, а

из-за ее спины, облокотившись на косяк, слегка склонив голову, выглядывал некто немолодой и где-то уже виденный.

– Вы тут пока побеседуйте, а я приготовлю завтрак.

Она удалилась, и гость, нехотя отлепившись от косяка, подошел и сел рядом на стул.

– Прошу прощения, что разбудил, но боялся не застать, – сказал он, подбирая полы бежевого демисезонного пальто и втискивая их между коленями. – Меня зовут Яков, мы встречались у Левадийского. Я ненадолго.

– Да, верно... – вспомнил Тимницын игрока с больной шеей и дико огляделся, его поразила миниатюрность комнаты: от изножья кровати до двери было не больше полутора шагов, а до противоположной стены Илья мог бы, чуть наклонившись, достать рукой. Это помещеньице, как никакое другое, заслуживало название спальни.

– Вы здесь первый раз? – осведомился Яков.

– Да... – ответил Илья, уже слыша, как стучатся, нетерпеливо топочут готовые вот-вот ворваться, сулящие тихое бессильное отчаяние события вчерашнего дня.

– Меня к вам прислал Жижин...

– Сейчас, минуточку! – остановил Илья; надо было срочно принимать меры и он, гримасничая, защелкал скользкими пальцами в сторону двери, – эта ... да как же ее, черт возьми!..

– Вас познакомить? – предложил гость.

– Да нет, просто вылетело из головы...

– Бджилка.

– Что?

– Пчелка, – подсказал Яков.

Тимницын кликнул хозяйку.

– Вы тогда у Левадийского выиграли-проиграли? – хмуро спросил он у Якова; его раздражал насмешливый тон собеседника.

– Выиграл немножко. Я всегда в выигрыше.

– А как шея?

– Спасибо, ничего.

– Извините, – сказал Илья и, быстро натянув брюки, бросился на кухню. «О, Господи!..» – повторял он про себя, держась за стену.

У умывальника под гудящей колонкой Пчелка чистила зубы. На вопрос Тимницына, нет ли чего выпить, она показала щеткой в сторону холодильника, возле которого стояла едва начатая бутылка хереса. Затаив дыхание, Тимницын влил в себя наполненный до краев стакан, и пока вливал, переполошенно думал: а что если, что если все, что было вчера, ему только приснилось, представилось в похмельном бреду, и эти люди, так называемая Пчелка и так называемый Яков, вовсе не Пчелка и Яков, а неизвестно кто, и попал он сюда к ним как-то случайно, и теперь не помнит ничего (ошибся квартирой?), и вот сейчас они обнаружат его, постороннего, пьющего их херес, и со страшными перекошенными от ярости лицами, с криками, гиканьем и битьем вытолкают его за дверь, спустят с лестницы, погонят по улицам?!.. Прихватив еще один стакан и бутылку, он вернулся к Якову.

– Будете? – предложил Илья.

– Мне еще рановато, – отказался Яков.

Тимницын выпил еще полстакана.

– Простите, но я иначе плохо соображаю: похмелье, – пояснил он. – Я вас слушаю. Жижин. Что – Жижин?..

– Он мне порекомендовал вас как помощника в одном деле.

– А что за дело?

– Дело нехитрое. Я вам потом как-нибудь объясню. Вы бывали на Мощевке?

– Конечно! – отвечал Тимницын; вино действовало мгновенно и самым благотворным образом: ситуация из ужасной превратилась в занятную.

– Девятнадцатого в два часа дня я буду ждать вас на остановке «Станкостроительный завод». Не забудете?

– Постараюсь.

– Постарайтесь. Вот это вам от Жижина, – он вручил Илье тощий заклеенный конверт и поднялся, – а я ухожу. До встречи.

Еще не хлопнула за ним дверь, а Илья уже читал коротенькое письмецо.

«Дорогой мой, ты опять спрашиваешь о нашем общем знакомом. Что тебе сказать? Сведения самые неутешительные. Кто бы мог предположить, что этот еще совсем недавно робкий, застенчивый, отзывчивый молодой человек может превратиться в грубого, циничного, отвратительно самоуверенного наглеца, обуреваемого к тому же неожиданными вспышками гнева (дело порой доходит чуть ли не до рукоприкладства)?! Пытаясь самому себе объяснить это превращение, отыскивая его причины, я лишний раз убеждаюсь в своей беспомощности и уповаю только на то, что происшедшая с ним перемена – не последняя в его жизни». 12 марта, 10 ч. утра.

Тимницын выпил еще вина и перечитал письмо. «Обуреваемый к тому же неожиданными...»

– Подъем! Завтрак на столе, – объявила вошедшая Пчелка и, усевшись бок о бок, игриво спросила:

– А что солнышко читает?

Пристально глядя на нее, Тимницын вытянул из-под дородного горячего крупа свою ладонь и – как в ледяную воду («обуреваемый к тому же...»), – крепко ухватив ее снизу за подбородок, отшвырнул от себя, в угол.

– Никогда не называй меня «солнышко»!

Пчелка тут же вскочила и, держась за подбородок, совсем по-детски выкатив еще не накрашенные глаза, уставилась на него.

– Подонок! – наконец выговорила она. – А ну вон из моего дома!

Тимницын весело ринулся к ней и повалил на кровать.

VI. «Ты мне поможешь»

Простились нежно. Щедро вознагражденная за оскорбительную, но вполне символическую трепку, Пчелка покормила Тимницына, помогла ему одеться, у дверей пылко и затейливо расцеловала и, наконец, проводила его таким томным благодарным взглядом, что Тимницын не смог удержаться от глуповато-самодовольной ухмылки. Обещался быть вечером.

Сходя по лестнице, он несколько раз останавливался и напрягал память, пытаясь вспомнить, когда и при каких обстоятельствах он здесь уже бывал, если не считать вчерашнего вечера: чем-то неуловимо знакомым веяло от этих мраморных оплывших ступеней, от густо и неряшливо выкрашенных поручней лестничных перил... Все встало на свои места, когда он вышел на улицу – это оказался тот самый дом по ул. Героев Стратосферы за номером 17, куда он как-то проводил незнакомку из контролерской, вот только подъезд был другим. Тимницын повеселел, и обрадовало его не только неожиданное, что-то сладко обещавшее совпадение, но и обретенная определенность: все утро его исподволь подтачивало и раздражало незнание, где он находится. А кроме того, в полном разгаре была весна: дул теплый медленный ветер, светило яркое чистое солнце, и голова шла кругом от густого запаха черной жирной земли под деревьями и пронзительного писка птиц. Тимницын не спеша шел по улице, выглядывая себя в промытых витринах, блаженно ощущая неторопливую работу крыльев за спиной, и все в нем пело хвалу Жижину.

Дома никого не было; Лена в это время обычно отправлялась по магазинам и иногда брала с собой мать. Тимницына встретила орда голодных кошек, норовивших потереться о его ноги, с рычанием и шипением отстаивая это сомнительное преимущество. Разметав их по сторонам, Тимницын прошел в комнатку Лены, обставленную с солдатской непритязательностью, всегда чисто и как-то уныло прибранную, с образцово заправленной кроватью, со старым неработающим телевизором под брюхатым стеклом, с которого ежедневно вытиралась пыль, и с раски-

дистым фикусом на высокой тонконогой этажерке, сухие листья которого он пробовал в детстве курить, и до сих пор помнил неимоверно горький, саднящий вкус тяжелого дыма. Здесь искать было нечего, да и негде, и Тимницын отправился в комнату матери.

На крыше работали кровельщики, весело наперебой стучали молотками, мимо окна вверх проплыл лист жести.

То, что искал Тимницын, оказалось частью в тюке, загнанном под шкаф к самой стене, частью в самом шкафу. Из всех найденных отцовских вещей Илья отобрал плащ, пару китайских рубашек, темно-серую широкополую шляпу и длинные тупоносые ботинки из черной кожи с прошитым белыми нитками рантом, мягким мятым верхом и безукоризненно гладкими, твердыми, как кость, желтоватыми подошвами (Тимницын не удержался и прижал их к щекам).

Он переоделся. Просторная, складчатая одежда свежим, знобящим, чуть царапающим в местах швов прикосновением вызвала в теле ощущение молодости, крепости, упругости, которыми тотчас же захотелось с кем-нибудь поделиться, ну, с той же Пчелкой, например.

Потянуло сквозняком, из прихожей послышались голоса Лены и гугнивого дурачка из соседнего дома, за мелкую мзду носившего хозяйские сумки.

– На кухню, на кухню, а эту оставь!.. Ладно, все, иди с Богом, сама разберусь, спасибо.

Илья потуже перетянул талию поясом плаща и подошел к шкафу. Из слепнущего, в ржавых крапинах зеркала, сквозь сталью отливающую муть на Илью пристально смотрел Тимницын-старший. «Ты мне поможешь...» – произнес он, то ли грозя, то ли указывая пальцем. У него за спиной бесшумно появилась мать.

– Аркадий, что же ты так долго не приходил? Если бы я знала, что ты сегодня придешь, я бы с Леной не пошла, мы ходили за сметаной, потом пошли за пенсией, а там девушка сказала, что какая-то задержка, интересная такая девушка, похожа на Белобородову, как две капли воды, помнишь Белобородову? Это наверное ее дочь, я ее даже спросила, девушка, ваша фамилия не Белобородова, она говорит нет, а я говорю точно, вы совершенно правы, ведь ваша мать Белобородова такая интересная женщина, она же наверняка вышла замуж, значит вы не можете быть Белобородовой, интересная ситуация, правда? Но тут Лена начала меня тянуть, идем да идем, она стала ужасно вредная, я встречаю столько знакомых, и она никогда не дает мне поговорить по-человечески, я просто устала с ней пререкаться на эту тему, двух слов не дает сказать...

Отец глядел растерянно. Мать медленно и устало обошла стол, опустилась на кровать.

– Аркадий, иди сюда... Может быть ты останешься сегодня со мной? Оставайся. Хочешь, ляжем? Я сейчас закрою дверь на ключ...

– Не на, – Тимницын кашлянул, – не надо закрывать.

– Хорошо. Как хочешь... Иди сюда, пожалуйста.

Илья снял шляпу и подошел к ней; взял за руку.

– Мама, с кем ты только что разговаривала? – строго спросил он.

– Илюша?! – мать удивленно уставилась на него. – Ты пришел с занятий?..

– С каких еще, на хрен, занятий! Перестань молоть ерунду! Ты прекрасно знаешь, что я нигде не учусь! Отвечай: с кем ты только что разговаривала? Отвечай! – потребовал Тимницын, крепко сжимая ее руку.

– Илюша, о чем ты?

– Не тяни время! – гаркнул Илья, свирепея от мысли, что время уже потеряно и застать врасплох не удалось. – Говори! Ты только что вошла в комнату, так?

Не сводя с сына глаз, подернутых тою же мутной пеленой, что и зеркало в шкафу, мать кивнула.

– Да, мы только что пришли с Леной...

– Не перебивай меня! Ты вошла в комнату, а вот здесь, перед зеркалом стоял мужчина в шляпе, вот в этой шляпе, – Тимницын показал матери шляпу и надел ее. – Я тебя спрашиваю: кто это был?

– Это... был ты, Илюша? – робко и растерянно спросила мать.

– Это был я. Но с кем, черт побери, ты говорила, когда я тут стоял?!

– Я только с тобой говорила... Илюша, отпусти, мне больно!

– Не хочешь, значит, по-хорошему... не хочешь... Ну ничего, я тебя все равно заставлю, я тебя отучу дурочку валять! Кто это?! – показал он на черно-белого кота, сидевшего, поджав лапы, на круглом половичке и во все глаза следившего за их препирательствами.

– Это Маркизик, Розкин сын.

– Сейчас смотри, я на твоих глазах этому Маркизику отверну башку, если ты мне не скажешь, с кем только что говорила!

Зацепив и выбив из-под ног матери скамеечку, Тимницын бросился к коту, тот метнулся, словно этого только и ждал, за штору, а когда Тимницын оказался у окна, вылетел из-под нее и спрятался под стол. Разъяренный Тимницын упал на четвереньки и, с грохотом разгребая стулья, полез за ним.

– Лена!!! – истошно закричала мать, но та, видимо, прибежавшая на шум, распахнула дверь секундой раньше.

– Кто это? Кто здесь?! – выкрикивала она, держась за дверь, боясь войти; мимо ее ног пулей прошмыгнул перепуганный насмерть кот.

Из-под стола выскочил измятый, в шляпе набекрень, раскрасневшийся Илья.

– Закрой дверь к чертовой матери! – проревел он.

Лицо Лены покрылось обморочной бледностью.

– Господи! Это ты?!.. – пролепетала она.

Но еще ближе к обмороку был Тимницын: от резкого подъема у него больно зарябило в глазах и заломило в висках и затылке – весенняя слабость. Он закрыл лицо ладонями и низко, к самому столу, опустил голову.

VII. Начало

Подвиг послушания начался с двух больших коричневых чемоданов, вынесенных среди бела дня из неизвестно чьей квартиры в самом центре Лидии, куда они приехали на такси, встретившись для этого почему-то на Мощевке.

Выставив чемоданы на лестничную площадку к ногам поджидавшего Тимницына, Яков, придерживая задом дверь, вытянул еще две наплечные кожаные туго набитые сумки и, коротко кивнув, побежал вниз по широким пологим ступеням.

– Что, страшно? – бросил он на ходу.

Тимницын, молча, путаясь в полах отцовского плаща, поспешал за ним; неплотно сидевшая шляпа по взмокшему лбу съехала на переносицу. Они стремительно прошли насквозь многоячеистый двор и остановились за распахнутым створом ворот; из темного сырого угла разило перегарной уриной.

– Не бойся, вещи мои, потом как-нибудь объясню, – усмехаясь углом рта, закуривая, сказал Яков.

Тимницын пожал плечами.

– Что будем делать дальше? – спросил он.

Яков, словно ужаленный, выдернул из кармана руку, взглянул на часы.

– Сейчас поможешь загрузить мне все это в машину. А в следующий вторник в два часа встречаемся на Безменовке у кинотеатра «Слава».

Он отбросил сигарету и вышел на мостовую ловить такси.

– Через неделю, в два! – напомнил Яков, усаживаясь рядом с водителем. – Вопросы есть?

Вопросов не было; Яков лихо хлопнул дверцей и укатил. Тимницын постоял немного и пошел в кафе напротив.

Вопросов не было. Кроме одного: на кой ляд ему понадобилось утешение Якова? Хотя бы он и украл эти чемоданы – ему-то, Тимницыну, что за дело до этого? А ведь как сразу отлегло от сердца, когда угадавший его мысли Яков предложил свои объяснения...

Прихлебывая гадкий, какого-то странного для этого напитка телесно-розового цвета кофе с молоком, он привычно и уныло корил себя все за ту же неспособность жить без оглядок. Плох или хорош был путь, предложенный Жижиным, глуп или умен был сам Жижин (скорее глуп), но он еще вчера, в здравом уме и трезвой памяти клятвенно обещал себе твердо следовать по этому пути, не задавая вопросов и не оглядываясь. И вот в первый же день... «НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ!» – вот девиз, который Тимницын, если бы мог, отпечатал не только в мозгу и в сердце, но и на самой сетчатке, чтобы сквозь него глядеть на мир точно так же, как он смотрел теперь на улицу сквозь прозрачную надпись «ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ» на стекле витрины.

В назначенный день возле кинотеатра «Слава» все было то же, что и неделю назад. На этот раз Тимницын был приглашен в квартиру и ждал, сидя как на иголках в кухне, пока Яков шуровал в комнатах. Судя по обстановке в кухне, квартира принадлежала людям состоятельным. Вещей набралось почти столько же, сколько и в прошлый раз. Уходя, Яков снял со стены над холодильником и спрятал в сумку небольшую икону золотого письма.

В тот день, посадив Якова в машину, Тимницын отправился прямиком к Жижину. Петра Андреевича дома не оказалось, и он пошел к Левадийскому.

Уже защелкал замок, когда Тимницын прочитал на табличке, что звонить надо было два раза.

– Дома, – недовольно ответил сосед, открывший дверь, и впустил его в коридор.

Дверь в комнату Левадийского была приоткрыта. Илья заглянул. В комнате никого не было; горел свет; стол, за которым в прошлый раз шла карточная игра, был уставлен посудой, преимущественно стеклянной и хрустальной: бокалы, рюмки, вазы, графины... Все это чистое, сверкающее, по-видимому только что вымытое, кое-где блестели еще капли воды, походило на макет чудесного города и тоненько позванивало от неощутительных сотрясений дома. Само собой, будто оно все время сидело в мозгу и только ожидало этой минуты, выскочило слово «венеция».

Голос Левадийского вдруг донесся из смежной комнаты и Тимницын, оторвавшись, пошел на него.

– Это же ни в какие ворота не лезет! – возмущенно говорил Левадийский. – Он, ссылаясь на меня, занимает у кого-то деньги, а я плати! Мне еще этого не хватало! Нет, пора с этим кончать!

– Да, я думаю, что скоро само собой все кончится, – отвечал ему другой голос, в котором Илья узнал голос Жижина.

– Само... как бы не так! Он еще нас с тобой переживет! Что-то надо делать...

– Добрый вечер, – робко произнес Илья.

Левадийский и Жижин удивленно уставились на него. Жижин тут же двинулся навстречу Илье, взял его под руку и, не говоря ни слова, быстро повел по коридору.

– Вы где сейчас живете? У Пчелки? – спросил он, когда они вышли на лестничную площадку.

– Да... – растерянно отвечал Илья.

– Ну вот и ступайте.

Илья послушно пошел вниз.

– Меня очень тронуло, как вы только что произнесли «добрый вечер»... чуть не прослезился... – насмешливо сказал ему вслед Жижин. – Так-то вы выполняете задание?

Илья остановился в конце пролета.

– На вас же просто жалко смотреть!.. Зачем вы пришли?

– Мне не нравится то, чем я занимаюсь с Яковом, – сказал Илья.

– Не нравится? Странно... а я так хотел, чтобы вам понравилось, – продолжал издеваться Жижин. Он стоял на верхней площадке, заложив руки в карманы, и насмешливо, с легким презрением смотрел на Илью; выглядел при этом, как иногда бывало, весьма внушительно. Он поставил локти на перила и сказал:

– Вам очень хочется объяснений? – ударяя на слове «очень». – Вы ведь потом будете жалеть. Чего стоит самоотверженность, которой требуются объяснения?.. Честно говоря, не думал, что вы так пугливы. И торопливы... Ну, хорошо, Бог с вами... Яков был не один раз женат и столько же

раз разводился, оставляя женам квартиры и вещи. Теперь, перед смертью, он хочет некоторые из этих вещей вернуть. У него, кажется, какой-то бзик насчет того, чтобы ничего после себя не оставлять или оставить как можно меньше. А может быть еще для чего-то, не знаю. Достаточно?..

– Как перед «смертью»? Почему «перед смертью»?! – спросил пораженный сообщением Тимницын.

– Потому что он готовится умирать. Говорят, он неизлечимо болен. Я сам его не расспрашивал. Такими вещами, сами понимаете, интересоваться не очень удобно. И вам не советую. Всего хорошего.

И Жижин вернулся к Левадийскому.

Предсказание Петра Андреевича не сбылось: Тимницын совершенно не сожалел о том, что получил разъяснения, – напротив, у него сразу же сделалось прекрасное веселое настроение. От Левадийского на ул. Героев Стратосферы он шел, чуть ли не распевая, не зная, что ему делать с этим неожиданным душевным подъемом, который пришелся, правда, не совсем кстати, поскольку на сегодня Тимницын запланировал расставание с Пчелкой. Сделать это он намеревался в ее отсутствие: где-нибудь на самом видном месте он собирался оставить свой ключ и коротенькую записку, чтобы не дать ей повода разыскивать его через Жижина, истолковав исчезновение как случайное. Сегодня, однако, он, похоже, уже опоздал: Пчелка работала буфетчицей на макаронной фабрике и возвращалась домой часам к пяти.

Тимницын прожил у Пчелки около двух недель, и с самого начала его насторожили старания Пчелки превратить его пребывание здесь в привычку, навязать ощущение, что живет он с ней уже давным-давно и будет жить еще долго. Надо сказать, ей это неплохо удавалось. Уже на второй день у Тимницына появились зубная щетка, полотенце, тапочки и ключ от квартиры, и появились они как-то сами собой, вполне естественно, как бы между делом, как будто Тимницын на некоторое время уезжал, но вот вернулся, и его опять окружают старые, знакомые вещи. В перерывах между любовными утехами Пчелка рассказывала Илье о своей небогатой событиями жизни, или же расспрашивала его, и в этом тоже присутствовал оттенок привычности – так разлученные очередной командировкой мужа супруги, встретившись, не только делятся новостями, но одновременно и отчитываются друг перед другом о времени, проведенном в разлуке. Словом, романтической стихийности случайной связи Пчелка предпочла иллюзию рутинной семейной жизни со стажем. Не далее как позавчера, вернувшись утром раньше обычного с почтамта, Тимницын вдруг поразился тому, с какой привычной степенностью (получая от этого даже некоторое удовлетворение) он открывает дверь, раздевается, переобувается, умывается и т.д.; привычными, хотя все еще сладостными были и горячие объятия хозяйки, разбуженной его приходом. Но сгонявшие за прогнозами на будущее в возможную перспективу мысли перепугали его не на шутку: пройдет еще неделя, другая, месяц, полгода, и он останется тут навсегда. Илье аж дурно стало, и мелькнула даже такая мысль: а не подстроил ли Жижин все это, чтобы сосватать его Пчелке? Глупость, конечно.

Кстати, никакой вдовой она не была и даже никогда не была замужем. Ей было, по всей видимости, уже за тридцать, но точного возраста Илья так и не узнал. Жижину она приходилась дальней, к тому же бывшей родственницей, какой-то двоюродной племянницей его второй жены. Звали ее Тамара Пчелинцева.

Вчера вечером Пчелка принимала ванну, что делала каждые три-четыре дня. Ванной комнаты в квартире не было, поэтому в кухне ставилось большое цинковое корыто из кладовки и заливалось горячей водой.

Тимницын сидел рядом на низеньком стульчике и натирал мочалкой широкую розовую спину Пчелки, которая, качаясь в такт, рассказывала свой последний сон. Тимницыну всегда были неинтересны чужие сны, они даже вызывали у него какое-то нетерпеливое раздражение, поэтому он почти не слушал. Покончив со сном, Пчелка некоторое время помолчала, а потом, приподняв на ладони левую грудь и внимательно разглядывая сосок, как бы между делом сообщила, что подала заявление и в начале следующей недели уходит в отпуск. А сколько дней отпуск, спросил Илья.

Восемнадцать, ответила Пчелка, восемнадцать рабочих дней. Потом она сказала, что не удобнее ли будет, если Илья на время отпуска перенесет сюда свое белье, бритву и еще какие-нибудь вещи первой необходимости, чтобы не бегать за каждой мелочью домой? Илья в ответ что-то промямлил про мать, за которой нужен уход. Но ведь там есть Лена, сказала Пчелка. Возникла неловкая тишина. Я подумаю, сказал Илья, а про себя решил: завтра; тянуть больше нельзя.

«Завтра», – подумал Тимницын; он прошел мимо подъезда, в котором жила Пчелка, и остановился напротив следующего. В мутной темноте слабо отсвечивали зависшие в пустоте, словно выдавленные из тюбика, ярко-желтые поручни.

Тимницын поднялся на второй этаж, толкнул дверь в 3-ю квартиру и вошел в куцый коридорчик, пропахший жареной рыбой. Ему не пришлось искать: сквозь белую вязаную занавеску, закрывающую верхнюю застекленную часть двери, он увидел стоявшую возле плиты незнакомку из контролерской. Тихо постучал.

– Вам кого? – спросила она, открыв дверь.

Тимницын видел, что она его узнала.

– Мы с вами недавно встречались, не помните? – глупо улыбаясь, сказал он. – Вот, проходил мимо, решил заглянуть... Можно войти?

Незнакомка пожала плечами и впустила его в кухню. Тимницын вошел и, помявшись, сел на табурет; стянул шляпу. Хозяйка, повернувшись к нему спиной, переворачивала на сковородке рыбу; подлила из пыльной захватанной бутылки масло.

Бросая по маленькой, сплошь заставленной утварью кухонке затравленные взгляды, Тимницын ощущал в теле бисерную дрожь и не знал, о чем говорить. Впрочем, он хорошо видел, что и хозяйка не меньше его взволнована неожиданным визитом. Он замечал это по ее напряженной осанке, по притворному спокойствию, с каким она продолжала готовить. Разглядывая ее черные, блестящие, собранные на затылке в хвост волосы, он угадывал напряженные косящие взгляды, для которых был недосягаем.

– Вы, наверное, к папе? Он должен вот-вот подойти, – сказала она.

– Я пришел к вам, – сказал Илья.

– Ко мне? – удивленно спросила она, не оборачиваясь. – Странно... но...

– Вы ведь сразу поняли, что я пришел к вам, правда? – сказал Илья, поднимаясь, нащупывая в кармане жижинское письмо и сминая его, выжимая из него необходимую ему сейчас решительность. – Мне просто ничего не хочется объяснять... приставать на улицах я, к сожалению, не умею...

Она невпопад, растерянно пожала плечами. Тимницын стоял немного сбоку и теперь то и дело наталкивался на ее пугливые взгляды.

– Меня зовут Илья, а вас как?

– Лида...

– Тезки, – улыбнулся Илья.

Она отважилась глянуть на него через плечо.

– Я имел в виду город, Лидию.

Сплошная гладкая струя из крана бесшумно лилась в раковину, в переполненный, обтянутый пленкой воды чайник. Тимницын подошел, закрутил кран и вернулся на место.

– Спасибо, – сказала Лида.

У нее было смугло-бледное с тонкими чертами и большими темными глазами лицо, длинные суховатые кисти, хрупкий торс, но от талии она неожиданно грузнела, и было что-то милое, привлекательное в грациозной неуклюжести ее осанки и движений, в слегка повернутых внутрь коленях и ступнях полных ног.

Продолжая комкать в кармане жижинское письмо, Тимницын принялся с усмешкой, так, словно речь шла о каком-то им обоим знакомом недотепе, рассказывать о том, как первый раз увидел ее в контролерской, как даже попытался было познакомиться, как спустя несколько дней неотвязно преследовал ее по городу и провожал в Яму; говорил, ничего не утаивая, сладко чувс-

твуя, как с каждым словом эта откровенность и развязная снисходительность к герою повествования разрушают недоверие, опутывают и завораживают ее все крепче. Ее обещавшая скорый успех покорность, с которой она слушала, в сочетании с близостью Пчелки (буквально десятка два шагов, если идти напрямик, сквозь стены) необычайно волновали Тимницына, и он уже совсем собрался перейти к решительным действиям: подойти вплотную, положить ладонь на покатое бедро, как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги, дверь вздрогнула, отворилась, и на пороге появился отец Лиды (в этом не было сомнения) – косолапый, коренастый, неповоротливый; редкие, отдававшие марганцовкой волосы, тщательно собранные с затылка и закрученные, чуть ли не завязанные в узелок впереди, плохо скрывали плешь.

– Это Илья, – торопливо сообщила отцу Лида. – Сейчас будем ужинать.

Целую минуту длилась неловкая заминка, только под потолком сухо и назойливо звенела лампочка, сообщая всем о своей близкой смерти. На исходе минуты Тимницын, наконец, узнал в вошедшем арестовавшего его контролера; кажется, и тот узнал Илью.

Отец Лиды разулся, повесил пальто на вешалку возле входной двери, прошел в комнату и опустил за собой откинутую портьеру; тотчас, словно дождавшись, наконец, хозяина, заработал телевизор, понеслись кликушеские плясовые визги.

– Я зайду к вам как-нибудь, можно? – тихо спросил Илья.

Лида пожала плечами.

– Вы днем бываете дома?

– Иногда...

– До свидания!

Тимницын поймал, сжал и легонько тряхнул ее холодную ладонь.

VIII. На пустыре

– Все-все-все! Я повторяю: впускать вас сюда было ошибкой. Передавайте привет вашему приятелю и, как говорится, честь имею!

Он был отвратителен Илье своим отталкивающе комическим видом: небольшого росточка, с круглым аккуратным брюшком под высоко натянутыми спортивными рейтузами (при этом белая сорочка, галстук, запонки), с растрепанной седой бородой – стоял, гордо вскинув голову, скрестив на груди руки, закрывая Тимницыну вход в коридор и далее, в комнаты, и этаким корольком глядел на гостя, да еще и прихлопывал выставленной ножкой. Его бурное возмущение казалось Тимницыну ненатуральным, напускным, что весьма облегчало задачу.

– Я отсюда не уйду, пока не получу эти письма, – сказал Илья. – Не хотите уговорами, силой возьму.

– Вот интересно! Да вам-то я почему должен их отдавать?! Кто вы такой! Если они нужны Якову, пусть приходит сам. А вас я не знаю!

– Мне все равно, знаете вы меня или нет, – вяло и презрительно отвечал Тимницын, – и вам тоже должно быть все равно, потому что без писем я не уйду...

– Я сейчас подниму шум, милицию позову!

– Тогда зовите сразу и пожарных.

Одна стена коридора с пола до потолка была битком набита книгами; Тимницын чиркнул спичкой и поджег уголок торчавшей газеты; сырая бумага нехотя загорелась. Хозяину изменило его жеманное негодование, он бросился к полке, но Тимницын его грубо оттолкнул; оттолкнул еще раз.

– Погасите, погасите, я отдам, погасите...

Тимницын выхватил газету и бросил под ноги. Затоптав огонь, прошел за хозяином в комнату.

– Хороши методы, ничего не скажешь, – приговаривал тот, роясь в буфете, и опять Илье показалось, что он чрезвычайно доволен происходящим. – Передайте вашему Якову, что он дурак,

скажите ему, что он болван! «Ему нужны письма!» Зачем?! Может быть единственный раз повезло человеку в жизни... Ему что, не нравится эта компания? Посмотрите какие имена!

Швыряя на стол письма, он выкрикивал фамилии, среди которых было несколько известных, а одна очень известная.

– Это она? – спросил Тимницын, не сводя глаз с фотографии на стене. Качество печати оставляло желать лучшего, но сам портрет был очень удачным: застигнутая фотографом врасплох красавица левой ладонью, чуть оттянув уголок глаза, придерживала взбитые ветром волосы, с правого плеча спустилась бретелька; судя по взгляду и улыбке, она была пьяна, и это еще добавляло очарования.

Ниже портрета и вокруг висело еще с полтора десятка фотографий поменьше, на которые Тимницын сначала не обратил внимания, и на всех была все та же женщина: на берегу моря, в распахнутой машине, на похоронах, за праздничным столом, на подоконнике с кошкой и проч.

– Вот они, – сказал хозяин, протягивая пачку писем, – берите и уходите, и не забудьте ему сказать, что он болван! Я знал, что рано или поздно он их потребует, так что у меня уже давно заготовлены копии!.. Ха-ха-ха, что, съели?!

Тимницын пожал плечами, уж кому-кому, а ему это было совершенно все равно.

– Это не копии? – спросил он.

– А вот пусть сам попробует определить, пусть у Жижина справится, это его работа...

– Вы знакомы с Петром Андреевичем? – удивился Илья.

– Ну конечно знаком! Только я думаю, что уже и сам Жижин не определит – на совесть сработано... хотите чаю?

– Спасибо, – сказал Илья и вышел.

Яков ждал его на пустыре, шагах в трехстах, в двухэтажном доме, разрушенном ровно настолько, чтобы походить на театральную декорацию. Когда Илья подошел, он сидел на ящике у раскрытого, с выбитыми стеклами окна, облокотившись на подоконник, уложив на ладонь длинное усталое лицо обрусевшего арийца; в последние несколько дней он отрастил коротенькие рыжеватые усы.

К самому окну подходил строительный котлован с кучами мусора в углах и остатками грязного снега, а за ним тянулась бетонная ограда завода, из гигантских кирпичных труб которого поднимались рукава буро-желтого дыма. Небо было наглухо затянуто низкими облаками.

Тимницын положил на подоконник письма. Яков поставил рядом четвертушку водки; письма спрятал в карман.

Когда Илья, рассказывая о визите, дошел до копий, Яков спокойно заметил:

– Я так и думал. Вот еще шут гороховый.

О Жижине Тимницын почему-то умолчал. По его просьбе Яков нехотя и вкратце рассказал историю этого человека. Лет двадцать назад он женился на одной из первых лидийских красавиц. Он всегда был серењким, ничем не примечательным учителем физики, и как ему это удалось – загадка. Не прошло и года, как она стала ему изменять. Потом она устроилась реквизитором на киностудию и спустя какое-то время уехала в Москву с одним очень известным актером. С актером не сложилось, она вернулась к нему, издерганная, измученная, прожила зиму, а весной опять укатила в столицу. Там Яков с ней и познакомился. Много лет она металась между Москвой и Лидией, и каждый раз учитель радостно принимал ее обратно. Он, кажется, жил ее увлечениями и разочарованиями так же, как некоторые родители живут успехами и неудачами своего ребенка. Разочарований было ровно столько же, сколько увлечений. Что-то странное было то ли в характере, то ли в самой природе этой женщины, что раз и навсегда определило отношение к ней почти всех, за редкими исключениями, ее любовников – первоначальные обожание и преклонение неизменно оборачивались жесточайшей ненавистью и отвращением, и дело обычно заканчивалось побоями и, порой, издевательствами. Два года назад она умерла.

Внизу, во дворе, возле умывальника был рассыпан желтый песок, задевая боковым зрением который, Илья всякий раз ощущал радостное беспокойство, принимая его за пятно вышедшего,

наконец, солнца. Из протянутой четвертушки Тимницын сделал неловкий глоток, поперхнулся и, поскольку закусывать было нечем, закурил.

– Не хотел бы я оказаться на месте этой женщины, – сказал он, за уши вытягивая тему, которая его интересовала чрезвычайно.

– Да уж чего хорошего, – согласился Яков.

– Я не о том. Он ведь теперь собирает все, что связано с нею? Это-то и ужасно...

Яков, щурясь от дыма, щепкой снимал грязь, налипшую на подошвах; поддерживать беседу он по всей видимости не собирался.

Илья решил идти напролом.

– Я всегда, когда думал об этом, – осторожно начал он, – меня больше всего...

– О чем «об этом»? – не поднимая головы, спросил Яков.

Тимницын, переборов неловкость, ответил:

– О смерти. Когда я думал о смерти...

Яков вдруг издал упругий звук. Тимницын смущенно умолк.

– Виноват, – сказал Яков. – Бобы.

Тимницын продолжал потерянно улыбаться.

– Да... я понимаю... – сказал он.

– Страшное дело, – подтвердил Яков. – Хоть совсем не ешь.

– Я понимаю, – повторил Тимницын. – Это, наверное, выглядит смешно, но я все равно продолжу.

– Давай.

– Мучительней всего эта мысль, это сознание, что я не совершенно исчезну, что после меня еще что-то останется, что я слишком наследил в этой жизни, понимаете? Если уж исчезать, то совсем, вчистую, чтобы ни крошки, ни былинки после не осталось!.. Был такой немецкий король, точно не помню, Карл Второй, кажется... Так вот он завещал после его смерти взорвать все замки, в которых он когда-нибудь бывал. Мне это понятно. Я иногда, чтобы пощекотать себе нервы, представлял: а что было бы, если б я был каким-нибудь известным человеком – актером, например, или писателем – ведь это ужас! Что может быть хуже? Остаться на фотографиях, кинопленке, в книгах – тут уж от следов не избавишься... Мне бы и в памяти ничьей не хотелось бы задерживаться хотя бы на минуту дольше самого себя, и идеальным было бы исчезновение всех тех, кто хоть что-нибудь обо мне знает... Я не могу объяснить откуда это, почему, но это так...

Яков, оставив ботинки, склонив голову набок, глядел на Тимницына.

– Скажи, – произнес он, – тебе это все про меня Жижин наплел?

Илья не смог удержаться, просиял.

– Нет, честное слово, нет! Он только проговорился о том, к чему вы готовитесь.

– Проговорился? Ну-ну... Жижин проговорился...

– И больше ни слова! Все остальное я угадал сам! – продолжал Тимницын, не замечая неуместности своих восторгов; правда, когда он говорил, в его сознании промелькнула какая-то легкая тень, которую, если бы не водка и не его возбуждение, он, может быть, поймал бы и разглядел. – А разве вы что-нибудь ему говорили?

– Нет.

– Ну вот видите! Откуда ж ему знать? Он ведь человек совершенно противоположного склада. Ему это вряд ли было бы понятно... Ну, скажите же, ведь я угадал?

Яков помолчал, глядя под ноги, и, наконец, как-то неопределенно покивал.

– Меня еще интересует чисто технический вопрос: что вы со всем этим собираетесь делать? Ну, письма, понятно – можно сжечь. А остальное? Тоже?

– Ну зачем же жечь, я их просто продам, – ответил Яков, поднимая лицо.

Тимницыну потребовалась чуть ли не минута, чтобы оценить гениальную простоту этого решения. Куча песка вдруг оказалась слева, за окном, на краю котлована; Тимницын повернулся – это вышло солнце.

– Я понял, – сказал он, – вы просто пропустите их обратно через себя, вы обезличите их, распродав незнакомым людям. Здорово! Я до этого не додумался.

– Хорошо, – промолвил Яков, поднимая лицо с закрытыми глазами к солнцу, – припекает. Поспать бы.

– Бессонница? – участливо, с заискивающей интонацией спросил Илья, подготавливая почву для последнего, самого важного и неловкого вопроса.

– Да нет, – довольно беззаботно отозвался Яков. – Скорее наоборот: сны замучили. Все время одно и то же, какие-то подземные нефтяные моря... даже и не поймешь, цветные они, б..дь, или черно-белые... Пора!

Он поднялся, смел ладонью деревянную труху с пальто.

– Еще один вопрос, – попросил, жалко улыбаясь, Тимницын. – Это ваше вынужденное решение или...

– Папиросы не забудь, – сказал Яков, спускаясь.

IX. Визиты

Огромный в шесть этажей дом, в котором жил Терентий Плуг, стоял в нескольких кварталах от дома Ильи. На дряхлом лифте, с крупной дрожью ходившему по клети, они поднялись на последний этаж. Одетый с иголочки щеголь Левадийский, повесив зонтик-трость на локоть, прикурил сигару и толкнул дверь. Такого длинного коммунального коридора Тимницыну видеть еще никогда не приходилось – по меньшей мере дюжина квартир, да еще в конце он заворачивал. Со стены на них уставился целый хор мотающих киловатты счетчиков. Из просторной, как спортивный зал, общей кухни вышла женщина со стаканом молока на тарелке и, кивнув Левадийскому, ушла, обогнав их, по коридору. Где-то звучала музыка.

– Томазо Кампанелла. Город Солнца, – сказал Левадийский.

Дверь Плуга была первая за углом, по левую сторону. Левадийский крепко постучал, прислушался, постучал еще раз. «Неужели?..» – пробормотал он. Открылась соседняя дверь и оттуда вышла только что виденная ими женщина; лицо и платье ее были залиты молоком. «Фокусы!» – негромко произнесла она, с кривой улыбкой проходя мимо.

Левадийский достал ключи.

– Я так и знал! – воскликнул он, переступив порог. – Я так и знал! Это же не человек, это животное!.. Полюбуйтесь! Мерзкая, гнусная скотина!

В первое мгновение Тимницыну показалось, что он попал на свалку, и чтобы понять, что перед ним все-таки комната, человеческое жилище, ему понадобилось времени не меньше, чем нужно человеку, попавшему со света в темноту, чтобы привыкнуть. Кроме самого по себе пугающего беспорядка, даже хаоса, сбивало с толку еще присутствие странных предметов вроде зубоврачебного кресла или кучи клейменой марсельской черепицы; все вещи в комнате стояли и лежали кое-как, где придется, словно согнанные со своих мест бешеной многодневной качкой.

– Ну что мне с ним делать, а?! – возмущался Левадийский, направляясь к кровати в углу, на которой под пестрым лоскутным одеялом и грудой тряпья спал, по всей видимости, хозяин квартиры, Терентий Плуг. – Ведь договорился же с ним по-хорошему, чтобы сегодня к вечеру был трезвый... нет, все, кончилось мое терпение, хватит!

Не меньше, чем беспорядок, Тимницына поразили запахи перегара и дешевого одеколона, пустые склянки из-под которого валялись под ногами.

– Мы можем прийти в другой раз, – попробовал Илья успокоить Левадийского.

Левадийский оторвался от листка, лежавшего на столе.

– Что?.. В другой раз? – рассеянно переспросил он и вернул лицу прежнее выражение. – Никаких других разов, хватит, баста! Я кормлю этого негодяя, одеваю, обуваю, а он не может сделать для меня простой услуги: не пить один день! – Он на мгновение замолчал и вдруг ударил зонтиком по столу. – И когда он уже наконец сдохнет!..

– Может быть, он просто спит? – предположил Тимницын.

– Просто спит?.. Ах, он просто спит, вот в чем дело!.. Как же я это сразу не догадался?

Левадийский подошел к кровати и, ухватившись за спинку, принялся ее трясти и подбрасывать.

«А что, если он и в самом деле умер...» – подумал было Тимницын, глядя на сползавшее одеяло, как вдруг услышал сдавленное мычание.

– Ну, наблюй здесь еще, наблюй, паразит! – закричал Левадийский и высоко подбросил кровать.

Пьяный в ответ жалобно застонал. Левадийский вернулся к столу и взял зонтик.

– Все, надо уходить, – деловито сообщил он Илье, – сейчас чего доброго соседи снизу прибегут.

Выйдя из лифта, они нос к носу столкнулись со странным молодым человеком. Впрочем, ничего особенно странного в нем не было, разве что был как-то уж очень дурно одет, но увидев Илью и Левадийского, он, пряча лицо, заметался на площадке, что-то пробормотал и бросился вверх по лестнице. Тимницын вопросительно взглянул на спутника, но тот и бровью не повел, будто не видел никого.

На улице они раскланялись и разошлись в разные стороны, но не успел Илья дойти до угла дома, как его нагнал задохнувшийся Левадийский и вручил письмо от Жижина.

– Он просил, чтобы я отдал вам его, как только мы увидимся, а я забыл. Сказал, чтобы вы сразу прочитали.

Он попрощался и ушел.

Тимницын вскрыл конверт, достал из него сложенный листок, как две капли воды похожий на предыдущий, но читать не стал и, зажав между пальцами, долго стоял в задумчивости. Мысль, посетившая Тимницына, лишь только он получил письмо (последние две недели она была частой гостьей), занимала его все больше и больше. Подобно нервозному нетерпеливому советчику, который разгоряченно, чуть ли не в самое ухо прокричав свои резоны, отступает, чтобы полюбоваться на произведенное впечатление, она то накатывала, то отпускала, и ей в такт сердце билось то сильней, то покойней, а главный, исправно точивший изо дня в день довод «другого такого случая может и не быть» с каждым наскоком звучал все убедительней.

Время и место для раздумий были не самые подходящие: час пик, бойкий перекресток. Тимницын сделал несколько шагов, на ходу развернул листок, поднес его было к глазам, но тотчас же отвел и остановился. Терпеливо дождавшись очередного наскока, но не дослушав до конца, он сунул листок в карман и быстро направился к трамвайной остановке. С этой минуты он больше об этом не думал, словно оставил там, под домом Плуга, кого-то вместо себя разбираться и взвешивать все «за» и «против».

«... и как же все это неизменно, изо дня в день, из вагона в вагон...», думал он спустя несколько минут, стоя на площадке, глядя в заоваленный угол вагона, где на рифленом полу, в трамвайной грязи валялись пара смятых талонов, обгоревший фильтр сигареты, огрызок яблока, обугленная спичка...

Дверь в подвал Навроцкого не запиралась ни днем, ни ночью. Не раздумывая, не строя планов, он распахнул ее и вошел. Ему сразу бросился в нос резкий пряный запах анаши. В комнате навстречу ему метнулась плоская голубая пелена дыма. Виктор сидел на кровати, поджав под себя ноги, откинувшись на яркий плюшевый коврик, на котором несколько мавров или бедуинов верхом на перепуганных лошадях отбивались саблями от нападавших львов. На нем были полосатые пижамные штаны и пиджак на голое тело. Вытягивая движением бровей тяжелые веки, он с пьяным удивлением уставился на вошедшего и расплылся в улыбке.

– Тимницын?!.. Ты что, из Бухареста приехал? Что это ты вырядился, как румынский детектив? – Виктор прыснул и затрясся от смеха. – Как там погодка?.. ничего?.. – анаша была из «смешных». На подобную встречу Илья не рассчитывал.

– Смеешься? – мрачно выдавил он, чем развеселил Виктора пуще прежнего.

– Да!..

Тимницын подошел к столу, придвинутому к самой кровати.

– Давай-давай, смейся... Ты ведь, наверное, думаешь, что вот так всю жизнь будешь надо мной потешаться, да? – голос у Ильи дрожал, и он прекрасно понимал, что говорить ему сейчас что бы то ни было бессмысленно и совсем не следует, и лучше бы было повернуться и уйти, но между тем продолжал, – а я буду терпеть, я ведь очень терпеливый, правда?.. я ведь все проглочу... Я терпеливый осел, а ты просто весельчак, шутник. Кирпичи мне по почте присылаешь...

Виктор, вздрагивая от душившего его смеха, изумленно смотрел на гостя мокрыми от слез глазами и вдруг истошно закричал:

– Ки-рпи-чи?!!.. Вас ист дас кирпичи??!!

И уже больше не в силах себя сдерживать он, надувшись, громко прыснул и бешено захохотал; колотя кулаком в постель, навалился плечом на коврик, засучил ногами...

Тимницын оттолкнул стол и, схватив Виктора за пиджак, рывком поднял его с кровати.

– Ты мне надоел, понимаешь! Что ты мне жить не даешь?!

Виктор, слабо упираясь ему в плечи, продолжал хохотать. Пытаясь высвободиться, отталкиваясь безвольной рукой, он провел пальцами по лицу Ильи. Илья легонько его отпихнул от себя и сильно ударил кулаком в лицо. И когда Виктор, как подкошенный, упал на пол, принялся бить его ногами. Когда он опомнился, Виктор уже почти затих. Он лежал у ног Ильи, свернувшись калачиком, уткнувшись лбом в пол и дышал редко, рывками. Щека и шея у него были испачканы кровью, впрочем не сильно. Шелковые штанины задрались чуть не до самых колен, неприятно обнажив бледные волосатые ноги, хотелось их одернуть.

Тимницын отступил на шаг, потом еще на один. Теперь он не мог понять, как это все так произошло, ведь он шел сюда только для того, чтобы... а для чего?.. Ну, во всяком случае не для этого. А для чего? А может быть, как раз именно для этого?.. На какую-то минуту ему показалось, что он совершил что-то ужасное, непоправимое, но это продолжалось всего лишь минуту, не больше. Ему даже не пришлось особенно подробно вспоминать перечень своих обид: ту унизительную трепку за этим вот столом, Жижина со львом, Андрюху в Губернаторском, бандероль с кирпичом... – достаточно было пройтись по верхам. А пожалуй, что и без этого можно было обойтись. Просто он вдруг подумал: «так надо», и это прозвучало почему-то очень убедительно, и необходимость каких-либо объяснений отпала сама собой. Так надо. Все.

Уходя, он прихватил со стола завернутую в целлофановую обертку от сигарет анашу.

Оказавшись в темной подворотне, Илья обомлел: на противоположной стороне мостовой спиной к нему, наполовину закрытый черным стволом акации стоял тот самый молодой человек, с которым они с Левадийским столкнулись в парадной Плуга. А кроме того, мелькнувшая тогда же догадка теперь переросла в уверенность: да, это был тот парень, которого он заметил на лестничной площадке, когда убегал от Хнычева.

Тимницын не растерялся; не дожидаясь пока его преследователь обернется, он опустил глаза и вышел на улицу. На остановке трамвая он высмотрел его сначала в окне парикмахерской, перед которым остановился якобы для того, чтобы почитать висевшие на водосточной трубе бумажные лохмотья с объявлениями, затем вынудил его отразиться в окне газетного киоска; разглядев его как следует и особо отметив растерянно-озабоченное выражение лица и робкую настороженность движений, Тимницын решил, что с таким он справится.

Добравшись до центра, он вышел на две остановки раньше. Уже начинались хмельные весенние сумерки; фонари еще не зажглись, и неподвижный попахивающий дымком воздух серебрился от слабенького тумана над влажными мостовыми.

Тимницын шел довольно быстро и никак не мог выбрать подходящую подворотню. Наконец он стал опасаться, что его преследователю надоест эта беготня, и вошел в первую попавшуюся под номером 47. Он не стал прятаться, а просто прижался к стене спиной и, едва только показался соглядатай, схватил его и потащил в парадное, на второй этаж.

– Давно за мной ходишь? – спросил он, поставив молодого человека напротив мутного окна, чтобы получше рассмотреть.

Молодой человек стоял, опустив голову, переминаясь с ноги на ногу, робко и, скорее всего, невольно пятясь. Тимницын поймал его за грудки, привлек к себе, сам сел на подоконник. Молодой человек, лишь только Илья его отпустил, вновь осторожно отступил, все так же не поднимая лица.

– Кто тебя ко мне приставил? Будешь тут стоять, пока не скажешь.

– Петр Андреевич, – тихо отвечал молодой человек.

– Жижин?

Парень кивнул.

– Для чего?

Тот пожал плечами.

– Ну что он тебе говорил, когда посылал?

– Сказал... сказал следить за каждым шагом... все...

– А потом что? Докладывать ему?

– Да.

– И давно?

– Да... не помню...

– Когда?

– Я не помню.

– Совсем не помнишь? Неделю, год, три дня?..

– Месяц... кажется...

– И ты все время за мной следил?

– Да.

Вид у него был чрезвычайно жалкий; он упорно не хотел поднимать голову, а если поднимал, то тут же и опускал, тяжело топтался на месте и все шмыгал носом, из-за чего Илье то и дело казалось, что он плачет. В его лице, насколько Илья успел его разглядеть, было что-то странное, и Илья не сразу сообразил, что детское виноватое выражение на нем совсем не вязалось с густой щетиной взрослого мужчины. Илье показалось, что он видел его где-то раньше, еще до Хнычева, и вот это сочетание ему тогда и запомнилось.

– Как тебя зовут?

– Меркурий.

– Я спрашиваю имя, а не кличку.

– Это имя.

На лестнице становилось темно.

– Идем, – сказал Тимницын. – Перекусим где-нибудь. И не вздумай бежать!

– Я не убегу.

X. Меркурий. У Жижина. Брат Николай

За окнами шел неторопливый весенний дождь. Стемнело. За соседним столиком ужинали четверо работяг; говорили о футболе, пили водку и закусывали принесенной с собой снедью, разложенной на мятой, выпачканной собственным шрифтом газете. На подоконнике пара нищих, старик и старуха, молча и деловито звенели медью, подсчитывая дневную выручку.

Забегаловка была маленькая, из самых дешевых, с пластиковыми салатовыми панелями, высокими столами и застекленным освещенным прилавком, похожим на террариум или на музейную витрину с неизменной экспозицией: плавленые сырки, крошево жареной рыбы, кусочки высохшей опавшей селедки с торчащими толщиной в волос костями, почерневшая тушеная капуста, котлеты...

По требованию Тимницына, Меркурий послушно рассказывал о том, как он попал к Жижину. Случилось это еще полгода назад, а может больше, когда Меркурий со своим старшим братом Стронцием... что?.. имена?.. отец всегда увлекался наукой... и техникой... у них был еще один брат,

самый старший, Изя, полностью Изотоп, он умер восемь лет назад, утонул. Отец мечтал, кажется, что они станут какими-нибудь большими учеными, хотя бы один из них, но ничего из этого так и не вышло. Ему, Меркурию, например, с трудом давалась даже школьная программа. Изотоп, тот и вовсе забросил школу и ничего знать не хотел, кроме своей голубятни... Вот только Стронций как-то связал себя с техникой, он работает на такой машине с выдвижной вышкой, ремонтирует уличные фонари... А полгода назад, или чуть больше, они со Стронцием напоили и ограбили одного моряка, отобрали у него большой золотой перстень. Собственно говоря, задумал и исполнил все Стронций: сам познакомился, сам угощал, сам завел потом в парк пописать и сам же бил моряка по голове, а Меркурий при этом только присутствовал. Потом, на следующий день оказалось, что перстень вовсе не золотой, а латунный, ну или что-то в этом роде, в общем, не золотой. Стронция это очень поразило. То есть, его поразило то, что из-за металлической безделушки он, может быть, убил человека. А потом его стала мучить мысль, что раскаяние он почувствовал, только когда узнал, что перстень латунный, а окажись он и в самом деле золотым – все было бы в порядке. И от этой мысли он сделался прямо сам не свой. Даже пошел как-то в церковь. Там ему батюшка сказал, что главное осознать свой грех, глубоко покаяться и впредь ничего подобного не совершать. Но Стронция мучило не столько преступление, в котором он давно раскаялся, а вот то, что он раскаялся, только когда узнал, что перстень не золотой. Меркурий и сам никогда не мог толком понять переживаний брата. А тот, кажется, только об этом с утра до вечера и думал. Стал пить больше прежнего. И вот однажды в каком-то подвале за стаканом вина познакомился с Жижиным. Так они и попали к Петру Андреевичу. Он сразу им все объяснил, правда из объяснений этих Меркурий почти ничего не понял и не запомнил, что-то там было очень научное, с психологией. Жижин выразил желание заняться Стронцием, но Стронций пришел еще один только раз и больше у него не появлялся, а он, Меркурий, вот остался. И принял послушание. Да, в некотором роде он стал себя чувствовать намного лучше, чем прежде. Уверенней. Раньше он очень страдал от своей робости и нерешительности, доводивших его до полного паралича и умственного и физического, а теперь все стало намного ясней и определенней, хотя, может быть, он и ошибается. Может быть, это все и само собой пришло бы к нему. А может быть и нет. Если вообще что-то пришло. Он не взялся бы об этом судить. Но, во всяком случае, когда он, например, выслеживает Тимницына, он точно знает, чем он занимается и для чего...

Илья только в начале беседы задал несколько вопросов, а дальше слушал не перебивая. Остывшие сосиски расставались с целлофановой кожурой мучительно. Между тем, речь разговорившегося Меркурия, выйдя за рамки, обозначенные вопросами, становилась все путанней и бессвязней, и Тимницына начало уже мутить от этой косноязычной болтовни. К тому же его, аж до ломоты в костях, томило нетерпение...

– Мальчики, мы закрываемся, – очень кстати сообщила старушка-уборщица; едва дотягиваясь, она убрала посуду и протерла столешницу грязной тряпкой, оставляя жирные разводы на пластике, расписанном крохотными лабиринтами.

– Ладно, – сказал Тимницын. – Пошли.

На улице он наспех распрощался с новым знакомым и направился в сторону Ямы. Когда, отойдя на квартал, он оглянулся, Меркурий все еще неприкаянно стоял возле забегаловки.

Дождь только закончился, еще капало с голых лип, чьи блестящие ветки мигом, стоило лишь поднять голову, собирались в тесные гнезда вокруг фонарей, глядевших сквозь кроны; в прореху вывалилась стареющая луна, и края разошедшихся туч клубились рыхло и невесомо, как пущенные в воду чернила.

Жижин открыл тотчас, словно поджидал под дверью. Пьяный, веселый, горячий, с кухонным полотенцем на плече, похожий на тренера на ринге, он был как будто рад приходу Тимницына.

– Вот так гость! Входите-входите... пожалуйте в залу... Вот, знакомьтесь: мой троюродный брат Николай. Человек замечательный. Почетный железнодорожник и все такое, но не лишен тяги к высокому, большой охотник до любомудрия... А это – Илья, ищущий молодой человек...

Из-за журнального столика в углу комнаты, заставленного бутылками и закусками, навстречу им неловко поднялся худой высокий человек и оцепенело уставился на Тимницына. Илью сразу

же поразила и даже уязвила (как будто дышать стало труднее) косная убогая унылость всего его облика: маленькая головка, гладко зачесанные назад жидкие волосы, неряшливо торчавшие на загривке, невысокий узкий лоб, глубоко сидящие глаза, слегка оттопыренные уши, тонкие губы... да еще скверного синего цвета пиджак поверх синей же рубашки и бордового широкого галстука. Плюс неподвижный взгляд – какое-то настойчиво-тупое сосущее ожидание ответа на вполне бессмысленный вопрос.

Ходулевато шагнув к Тимницыну, брат Жижина протянул ему долгую плоскую (спасибо, что сухую) ладонь.

– Николай.

Жижин вручил Тимницыну рюмку.

– За знакомство!

– Мне надо с вами поговорить, – сказал Илья.

– Ну и прекрасно! Выпейте и поговорим. Мы, кстати, именно этим здесь и занимаемся: сидим, говорим...

Чокнулись.

– Мне надо вам кое-что сказать с глазу на глаз, – сказал Тимницын, выпив и поставив рюмку на столик. – Может быть, выйдем?

Когда они вышли в сени, он строго произнес:

– Это что еще за слежка?! Что это за Меркурий?..

– Что-что?.. Ах, это! – воскликнул Жижин, всплеснув руками и, как показалось Тимницыну, только изображая удивление. – А что? Слежка как слежка. Надо же было молодого человека куда-то пристроить. Между прочим, очень тяжелый случай. Полный паралич воли. Привели мальчонку, а что я могу – скромный краевед? Попробуем лечить... А вы хотите сказать, что вам не нравится?

– Что «не нравится»? – несколько ошарашенно спросил Тимницын; надо сказать, Жижин умел иногда поставить в тупик неожиданным вопросом.

– Ну, вот это... слежка. Признайтесь, ведь было приятно, когда обнаружили? А? Да и сейчас недурно, правда?.. Как после баньки. А ко мне пришли, чтобы продлить наслаждение. Экий вы, батенька, сладострастник!..

Тимницын даже не нашелся, что ответить. А напористый Жижин, пользуясь замешательством, вдруг крепко схватил его за шею и резко повернул к маленькому замызганному зеркалу, вмазанному в стену.

– А вы лучше сюда посмотрите! Вот-вот-вот-вот! Вот это и есть вы в чистом виде! Сейчас, сию минуту! – восторженно произнес Жижин. – Полюбуйтесь...

Илья не увидел в грязном зеркале, да и темно было, своего отражения, но знал наверняка, лицом чувствовал, что там – она, «аппассионата».

– Идемте к столу, – Жижин взял Тимницына под руку и потащил в комнату. – Однако, вы пришли с претензией! Посмели прийти! Я, конечно, рад вашему приходу чрезвычайно, но за ваш небольшой мятеж вы должны понести наказание по всей строгости. Этого требует историческая справедливость. Что бы вам такое придумать, позаковыристей?.. О! Вот! Давайте-ка я вас закатаю на три дня в ссылку к брату Николаю! Он, знаете, в некотором роде домашний мыслитель, Чаадаев Ленивой Слободки, а поговорить ему решительно не с кем. В ихнем депо тоже редко касаются философских спекуляций... Николай, примешь узника? Поболтаете...

– Добро пожаловать, – солидно произнес Николай.

– У него кот эпилептик, и вообще он большой поклонник Достоевского, – добавил Жижин.

– Петр Андреевич, я же работаю! – взмолился Тимницын, почувствовавший серьезность намерений и напуганный такой перспективой.

– Вот еще! А мне-то что за дело! Сейчас еще одно взыскание схлопочете за пререкания. Ну, ладно, не трое суток, а двое, хорошо-хорошо, так и быть – сутки. И все. Последнее слово. Обжалованию не подлежит.

Тимницын клял себя последними словами за то, что сунулся к Жижину, но делать было нечего, пришлось подчиниться. Впрочем, оставалась надежда, что, посидев, выпив еще, Жижин как-

нибудь забудет о своем приговоре или Илье удастся как-то под шумок улизнуть, однако уже через четверть часа брат Николай, сославшись на позднее время, стал собираться, и Илье показалось, что заспешил он только для того, чтобы увести его с собой.

– Пленника не забудь, – сказал Жижин, тыча пальцем в Тимницына.

– Петр Андреевич, может быть в другой раз? Я уже осознал свою ошибку. Больше не повторится, – сказал Илья, все еще пытаясь перевести в шутку.

– Илюша!.. – Жижин постучал пальцем о край стола. – Не ожесточайте мне сердца. Идите подобру-поздорову...

Илья с явным неудовольствием на лице поднялся. В центре комнаты стоял и ждал брат Николай. Илья отвернулся от него и стал одеваться.

Жижин вывел их в сени. Отперев входную дверь, он крикнул во двор:

– Ну, давай, заходи, погреешься... Эх ты, секретный агент...

Навстречу вышедшим уже на крыльцо Тимницыну и Николаю со смущенно-глуповатой улыбкой поднялся по лестнице Меркурий. Чтобы не встречаться с ним взглядом, Илья принялся закуривать.

– Будьте как овечка! – крикнул через плечо Меркурия Жижин.

– Пошли? – спросил Николай, когда дверь захлопнулась. Илья пожал плечами и поплелся за ним. Так они дошли до остановки трамвая, сели в почти пустой.

Давно забытой детской всеохватной тоской, безутешной горькой покинутостью веяло от этой молчаливой поездки. Даже воспоминания о Викторе и события прошедшего дня, вынырнувшие, когда проезжали Андреевский рынок, возле которого когда-то жил Навроцкий, едва всплыв, тотчас и утонули в этой тоске. На каждой остановке Илья с трудом сдерживался, чтобы не ринуться в раскрывавшиеся перед ним двери.

Они доехали до конечной, до вокзала; к ужасу Тимницына они прошли через вокзальное здание, вышли на перрон и сели в электричку.

– Далеко ехать? – мрачно спросил Илья, запоздало припоминая, что Жижин говорил про Ленивую Слободку.

– Две остановки. Недалеко, – отозвался Николай, вперившись в попутчика все тем же неподвижным взглядом, и Илье страшно захотелось со всего размаха дать кулаком этому деревянному истукану по его маленькой прилизанной головке.

В тамбуре с жестким резиновым стуком сошлись двери, и электричка без объявления тронулась с места; в вагоне загорелось несколько ламп. Выбрав из десятка переплетенных путей свой, поезд медленно покатил мимо глухих зданий складов, безлюдных ярко освещенных прожекторами строительных площадок, свалок металлолома, оцепеневшей техники...

Когда сошли, Николай повел Илью по мокрой платформе вдоль щедро застекленного заводского цеха – там, за мелкими окошками что-то беспрерывно громыхало, то и дело вспыхивала сварка. Перебравшись через рельсы и пройдя между низенькими домами, они оказались на маленькой грязной площади с единственным фонарем у продуктового магазина. Вокруг не было ни души, и почти сельскую тишину нарушали только отдаленные поездные свистки и напряженное гудение трансформаторной будки. Заслышав их приближение, из мусорного бака, стоявшего посреди широкой кучи мусора, выпрыгнула дворняга и убежала в переулок. В этом же переулке стоял приземистый дом Николая. Они вошли в калитку, прошли через маленький дворик и, войдя в дом, оказались в кухне. Сидевшая напротив дверей бледнорыжая кошка, бросив вылизываться, грозно уставилась на них, выставив вертикально вверх заднюю лапу с двумя торчащими коготками, чем напомнила Илье суриковскую боярыню Морозову.

– А ну, брысь! – сказал ей Николай и замахнулся рукой. Кошка метнулась к двери в дом и протиснулась в щель.

– А ты садись, вот здесь, – Николай поставил перед Ильей табуретку. – Подожди.

Он вышел. Илья сел. Его внимание тотчас привлекла полоса синей краски сантиметра в три шириной, которая затейливо и явно не без умысла вилась по всему полу кухни. Взяв начало у порога, а точнее, от самой его середины, она, плавно изогнувшись влево, то есть к центру кухни,

но не дойдя до него, так же плавно уходила вправо, к холодильнику и, не дотянувшись до него сантиметров сорок, опять поворачивала к центру, но только для того, чтобы, сделав петлю, направиться к умывальнику. Далее, тем же манером, нигде не приближаясь вплотную и все время стремясь к центру, она обходила газовую колонку, буфет, газовую плиту и, наконец, добиралась до середины порога под дверью, ведущей в жилые покои. Вероятно, она имела продолжение и по ту сторону, и скоро Илья смог в этом убедиться. Из дома в кухню вышла рыжеватая, похожая на изгнанную кошку девица и направилась к газовой плите, где на огне стояла кастрюля. На приветствие Тимницына она никак не отреагировала, словно и не видела его. Пока распахнутая ею дверь медленно, сама собой закрывалась, Илья успел заметить, что синяя линия, больше ни на сантиметр не отклоняясь, прямиком шла через коридорчик и далее, через освещенную комнату, пока не уперлась в простенок между окнами.

Помешав ложкой в кастрюле, девица ушла, а ей на смену пришла женщина лет сорока с лишним, одетая в точно такой же халат, что и девица, такая же рыжеватая и похожая на нее и, соответственно, на предшествовавшую ей кошку, так что создавалось впечатление, что и кошка, и девица, и женщина – все одно и то же существо, предъявляющее себя в разных обличьях. Женщина не отозвалась на «добрый вечер» Тимницына, едва скользнув по нему бесцветным взглядом. Вслед за ней вернулась девица. «Ну что?» – спросила она. «Чисть картошку», – отвечала женщина.

Тимницына томила неловкость ситуации, и в то же время он чувствовал себя невидимкой. Женщины занимались готовкой, переговаривались и не обращали на его присутствие никакого внимания, будто его здесь не было или же он был отделен некой стеной, непроницаемой с их стороны, но прозрачной с его. Должно быть, стена эта проходила точно по синей линии, потому что ни одна, ни другая ни разу за нее не заступили, а если им надо было разминуться, одна из них, сторонясь, заходила в ближайший изгиб. Только теперь Илья понял, что кухня, как, очевидно, и весь остальной дом, была поделена синей линией на две части с учетом необходимости пользоваться общими предметами. Кстати на той половине, где он сидел, пол был затоптанным, а на женской – образцово чистым.

Входная дверь открылась и вошел Николай с ведром угля и бутылкой.

– Пошли, – сказал он.

Они вышли в коридор, и Николай, поставив ведро у ног, зазвенел ключами, отпирая дверь на своей стороне. В комнате – маленькой и холодной – он включил настольную лампу и занялся растопкой печи. Печь разгоралась медленно, попыхивая дымом в комнату; жалобно засвистел стоявший на ней чайник.

Тимницын, не раздеваясь, сидел у стола, прижавшись спиной к стене, рядом с провонявшим сыростью тулупом, и брезгливо наблюдал за хозяином, который осторожно, словно боясь кого-то потревожить, ходил из угла в угол, мял одну в другой ладони и время от времени бросал длинные завороженные взгляды на первый попавшийся предмет, на Илью или в темное окно с отражением лампы, стола и ночного гостя. Что-то противно-близкое, тошнотворно-родное было в этом человеке, особенно в его взглядах... Как будто извечная хандра Тимницына, а точнее, та ее грань, что ведала тоскливым отвращением к окружающему миру, пытливо всматривалась в него глазами Николая.

– Петя говорил, ты в университете учишься, на философском, – сказал Николай, глядя в сторону Ильи, но как-то вбок и вниз.

– Учился. Бросил.

– Ах, ты... Жаль.

– И не на философском, а на филологическом. Курить здесь можно?

– Жаль... Кури.

Тимницын закурил. До утра (а он твердо решил уехать отсюда первой же электричкой) была еще целая вечность.

– А я вот, видишь, книг накупил, – печально сказал Николай, делая едва заметное движение в сторону комода, который стоял между окнами и был завален книгами; они лежали плашмя, стопками, так что корешков не было видно. – Читаю, читаю, а ничего не понимаю...

Он вздохнул и вышел. Илья хотел было подняться и посмотреть, что за книги лежат на комоде, но, поколебавшись с минуту, принял решение свести свое участие в этой ситуации к минимуму.

Николай принес банку соленых помидоров и перемешанную с консервированной килькой в томате рисовую кашу в одной миске на двоих. Вид каши вызвал у Тимницына отвращение, поэтому он ограничился хлебом, помидорами и самогоном.

Выпив, Николай продолжил разговор:

– Беру книгу и каждый раз думаю: ну, на этот раз начну понимать. Нет... не идет. Ни в какую. Видно, у меня просто ум тесный, не вмещает...

Илья, глядя в пол, вспомнил его узкий лоб и усмехнулся.

От крепкого самогона Тимницына потянуло в сон, а Николай наоборот разговорился и говорил, говорил, говорил, медленно, с паузами, усыпляюще. Тимницын за все время не промолвил ни слова, и Николай ни разу не попытался втянуть его в беседу, то ли заметив его непреклонность, то ли не чувствуя необходимости. Все, что он говорил, было какое-то куцее, мятое, сдавленное, словно и впрямь вытащенное из какой-то крайней тесноты.

– ...или я вот, например, потею сильно. Особенно, когда что-то делаю – так и льет. А вот если подумать, это ведь тоже для чего-то нужно... даже в этом ведь должен быть какой-то смысл... этот дар потения что-то же тоже значит, ведь не просто так... а?.. Или идешь где-нибудь и вдруг – раз! – зачем здесь, а не там? Почему это, а не то? Что ты будешь делать... Вот недавно тоже шел-шел и вдруг остановился – опять оно. Стою, недалеко здесь, возле пивной... Стою, вот, стою... Солнце, погода такая тихая. Стою и вдруг вижу, а у меня прямо под ногами люк, канализация, чугунный, круглый. А на нем написано – вверху: «ПСКОВ», в середине цифры «1957», а внизу: «ВЫДВИЖЕНЕЦ». И вот стою, смотрю на этот люк, и аж мурашки по коже: вот зачем я здесь стою возле пивной в эту минуту над этим люком?! Ведь какой-то смысл должен быть, что я стою над этим люком, а не где-нибудь в каком-то другом месте?.. И прямо что-то космическое!.. Что ж это такое, а? Как это понять? Откуда берется?.. Как будто меня кто-то за ворот дернул и говорит: вот, видишь? вот ты сейчас стоишь над этим люком, вот, соображай!.. А что «соображай»? Что тут можно сообразить? Люк он и есть люк... как это понять?..

Тимницын, откинувшись на стену, отчаянно боролся со сном. Все ж таки откровенно пренебрегать он не решался. Затуманенное сознание лепило из слов Николая какие-то образы, картинки, короткие сценки. В одно мгновение ему даже пригрезилось, что Николай, подойдя вплотную, нависнув над ним, яростно жестикулирует, – Тимницын испуганно открыл глаза. Желание спать вдруг пропало (Тимницын подумал, что сейчас, должно быть, около половины третьего, время, когда он обычно вставал и уходил на работу), но ненадолго, и скоро навалилось с новой, еще большей силой. Николай его борений со сном, кажется, не замечал. Он сидел, сжав в руке граненый стакан с недопитым самогоном, и, уставившись в круг света на столе, продолжал задумчиво говорить.

В очередной раз очнувшись, Илья переменил позу. Николай подвинул к нему стакан с чаем.

– Пока, вот, с женой не поссорились, я ее просил мне книги читать, – снова вернулся Николай к начальной теме. – Я, когда кто-то вслух, вроде лучше понимаю... Потом тут сосед один, Павел, мне читал, но он пьет сильно и произношение у него – ничего не разберешь...

Он некоторое время помолчал.

– Ты это... почитал бы мне, а?.. – предложил он вдруг и, не дожидаясь согласия Ильи, встал и прошел к комоду. Там он долго перебирал и перекладывал книги, некоторые перелистывал, наконец, вернулся с одной из них и, раскрыв, положил перед Ильей; придвинул к нему лампу. Илья заглянул на обложку: «Гегель. Работы разных лет». Николай положил свою длинную ладонь на открытую им страницу.

– Вот, прямо отсюда, – сказал он. – Почитай... А я пока прилягу. – Что-то поясницу опять тянет, полежать надо...

Тимницын угрюмо глядел в страницу. «Второй курс. Средний класс. Феноменология духа и логика. Первый отдел. Феноменология духа, или Наука о сознании. Введение». Дальше шли параграфы. «Будьте как овечка!», крикнул из-за плеча Меркурия Жижин.

Николай тем временем, постанывая, улегся на топчан у дальней стены и теперь, вытянувшись, лежал на спине – длинный, плоский, неподвижный.

Илья, кашлянув, начал читать.

– Параграф 1. Наше обычное знание представляет себе лишь предмет, который оно знает, но в то же время не представляет себе себя, т. е. самого знания. Целое же, которое налицо в знании, это не только предмет, но и Я, которое знает, а также взаимоотношение между мной и предметом – сознание. Параграф 2. В философии определения знания рассматриваются не односторонние, только как определения вещей, а вместе с знанием, которому они принадлежат по меньшей мере настолько же, насколько и вещам; иначе говоря, они берутся не только как объективные, но и как субъективные определения, или скорее...

До слуха Ильи донесся протяжный тоскливый вздох, и поверх книги он увидел, как Николай обреченно махнул ладонью. Вздох и жест должны были, очевидно, означать: все, сдаюсь. «Нет уж, – зло подумал Илья, – захотел слушать, так слушай!..» И голос его зазвучал громче.

– ...или скорее как определенные виды отношения объекта и субъекта друг к другу. Параграф 3. Поскольку в знании находятся вещи и их определения, то, с одной стороны, возможно представление, что они существуют вне сознания сами по себе и даются сознанию просто как нечто чуждое и готовое. С другой же стороны, поскольку для знания настолько же существенно и сознание, становится возможным также и представление, что сознание само создает себе этот свой мир и само своими действиями и своей деятельностью целиком либо отчасти производит или модифицирует определения этого мира...

Николай по-прежнему лежал на спине, но лицо его было теперь повернуто в сторону стола. Тимницын не мог определить, открыты или закрыты у него глаза, но ему все время казалось, что Николай на него неотрывно смотрит. Между тем, голос Тимницына постепенно приобрел какую-то автоматическую звенящую упругость; время от времени он как будто отрывался от чтеца и тогда сыпался на него же откуда-то сверху с некоторым, едва заметным запаздыванием.

– ...Параграф 22. Как самосознание Я созерцает само себя, и выражением его в его чистоте является Я = Я, или Я есмь Я. Параграф 23. Этот принцип самосознания лишен всякого содержания. Стремление самосознания в том и состоит, чтобы реализовать свое понятие и полностью осознать себя. Самосознание является поэтому 1) деятельным: снимает инобытие предметов и отождествляет их с собой, 2) отчуждает само себя и тем сообщает себе предметность и наличное бытие. И то и другое представляет собой одну и ту же деятельность. Быть определенным для самосознания то же самое, что самому определить себя, и наоборот. Оно само себя порождает как предмет...

Николай... Да! Теперь в этом уже не приходилось сомневаться – глаза хозяина были широко раскрыты, а лицо перекосилось судорогой от тщетного усилия подняться. Илья вдруг понял, что Николая на топчане удерживает его голос, и как только голос умолкнет, Николай встанет и двинется к нему. Но самое ужасное таилось за спиной, где сырая вонь овчинного тулупа; отделившись от источника, уже давно обрела какое-то зримое воплощение и теперь вместе с Николаем ждала, когда их гость выбьется из сил.

Буквы путались, сливались, строчки наползали одна на другую, и Илья, уже не разбирая слов, продирался сквозь текст, превратившийся в мутную вязкую кашу. И если бы кто-то посторонний оказался в эту минуту в комнате, он застал бы Илью в таком виде: низко склонившись над столом, пялясь в раскрытую книгу, он издавал какие-то странные звуки, что-то среднее между пением и мычанием...

Тимницын не помнил, когда он, сложив руки на книгу и уложив на них голову, заснул, однако проснулся он именно в этом положении. За окнами было еще темно, но уже вовсю перекликались ближние и дальние слободские петухи. Николай спал на боку, повернувшись к стене. Илья встал и, стараясь не шуметь, вышел.

На улице оказалось заметно светлее. Платформа была пуста. Илья долго смотрел на разбитые часы без стрелок над закрытой кассой, словно пытался по ним угадать время. Потом сел на сырую скамейку и стал ждать электричку. На душе у него было гадко, гаже некуда.

(Окончание следует)

Мария ВАТУТИНА

* * *

В дни, когда Бог открывает свои склады и презентует развалы
И говорит: бери, сколько можешь взять, неси, сколько можешь нести,
Я бегаю по рядам, я залезаю на самый верх стеллажей, все мне мало,
И я беру больше, беру больше, чтобы хватило до старости.

А потом спустя миллионы шагов говорю, морду наверх:
Зачем это я, мой хороший, взяла так много?
Я не могу нести, не могу нести, а и бросить грех.
У других вон какая легкая торба и какая легкая тога.

Я не вынесу, говорю, зачем я это взяла на себя, скажи?
У меня спина болит, и в коленях давка.
А он нарочно открывает склады, запускает на стеллажи
И смотрит, как я снова ношусь от прилавка до прилавка.

* * *

Было у меня три ангела в гостях
А четвертый дома жил да в углу бирюк
Один ангел мне принес пряничек в кармане брюк
Другой ангел мне принес птичку в горстях
Третий ангел мне принес сердечко стук-стук

Вот взяла я пряничек выбросила
Вот взяла я птичку выпустила
Вот взяла сердечко больно грудь
У меня свой ангел скажи что-нибудь

Подает мне четвертый кверху ладонь
А из этой ладони выходит огонь
А под этой ладонью водопад льет
Это вот мое это вот мое это вот

Господи Иисусе забери своих ходоков
Не трави мне душу не пускай на волю меня
Я сама отравлюсь и сама через пять шагов
Упаду у меня сердце болит от огня

Мария ВАТУТИНА родилась в 1968 году в Москве. Окончила Московский юридический институт и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России. Публиковалась в журналах «Арион», «Знамя», «Новый Берег», «Новый Мир», «Октябрь», а также в Антологии новейшей русской поэзии «Девять измерений» и др. Автор четырех книг: «Московские стихи» (1996), «Четвертый Рим» (2000), «Перемена времен» (2006), «Девочка наша» (2008). Дипломант поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» (СПб, 2007). Лауреат (2004) и дипломант (2007) Международного литературного Волошинского конкурса, Лауреат литературной премии «Московский счет», Специальная премия (2009).

У меня руки взбухли у меня нет ни словца
Вот сидим мы с ангелом на скамье у крыльца
То огонь ему остужу то воду выпью с лица
И любви и памяти о любви не видно конца

В доме радость

В доме радость – детка на ноги встал.
Встал и держится за табурет.
Бегает между имеющихся в доме зеркал,
Тянется, хочет увидеть: есть он уже или его еще нет.

Тянется, тянется, тянется, вот твой джаз.
Хочет дитя достать окна, поглядеть в окно.
Он уже достает до подоконника лбом: да там ли оно,
То, для чего он пришел сюда в этот раз?

Вот он дитя, дитя, тянется, чмокая и кряхтя,
Чтобы с поверхности письменного стола предшественника своего,
Дотянувшись, вечность схватить, на вкус попробовать, хотя
Горькая она, горькая, тьфу-тьфу! Не трогай тут ничего.

В доме радость, дитя подросло и умеет (и ведь знает, как и зачем)
Доставать до выключателя и звонка:
Дитя – свет, дитя пришло, ох-ох, оно выросло-то как совсем,
У него рост увеличивается в облака.

А дитя растет, растет, тянется, тянется, к небу росток.
Ты зачем, росточек, тянешься, ты зачем песню поешь?
Говорит: хочу увидеть, вытянувшись на восток,
Есть ли Кто за небом, за облаками или ложь.

Дотянуться, протянуть руку, на ощупь попробовать и на вкус,
Понять, господи, в толпе стоять, раны омыть слюной.
Расти, расти, дитятко, тянись, бутуз,
До окна, до стола, до света, до неба небесного, до земли земной.

* * *

Ракушка с дырочкой. Можно на пальчик надеть.
Можно на море сквозь дырочку ту посмотреть.
Можно увидеть тебя, словно в медной трубе.
Что я скажу тебе? Я не умею – тебе.

Пела я песенки времени и кумовьям.
Время рассыпалось галькой. Что скажешь камням?
Стайкою братцы снялись, нарезают круги.
Серая Шейка, пропела б, да спазм на крови.

Серая Шейка, конфетка, ракушка, рачок.
В ушке игольном залатанный бог-рыбачок.
Лик мой заплаканный. Галька глазуньей шипит.
Всем говорила, а этому бог не велит.

Вот и колечко на лапку, и – клювом об лед.
Крякнуть тебе напоследок Господь не дает.
Селезень неба, не плачь надо мной, не умру.
Это пестрит оперенье моё на ветру.

Памяти отца
(4 сентября)

Так закручено время, как будто его отжимали.
Первый раз в первый класс мы дитя провожали.
А три года назад провожали отца.
Первоклассники не желают домой из-за парты,
Дома что ли им хуже, чем в области Спарты
Новорусского образца.

Ну, какие там были сегодня уроки?
Ты опять подставлял однокласснику щеки?
Первой юшкой запачкан пиджак.
И стиралка стирает, жужжит пулеметом.
Стайки мамок кружатся над первым пометом,
Поднимая и эдак, и так.

Это в памяти насмерть засело, застряло.
С этой болью не спрятаться под одеяло,
Это выело напрочь всю радужку глаз.
И бесланский сентябрь в задымленье и саже,
И отца, что смотрел по Москве репортажи,
Поминаю совместно в назначенный час.

Кто сидит в мастерской перед пыльным экраном:
В спайки мозга вплетается рой над Бесланом.
Не вживайся, иди мастери!
Нет, сидит умирает, снаружи дымится.
И по швам расползаясь, сердечная мышца
Замирает внутри.

Соловьи

1.
Памяти Надежды Плевицкой

А как в Ренне-городе да не поёт соловей.
Входят немцы. Всё веселей.
Где тут сенцы? Где сцена твоя?
Не доищутся соловья.

Соловья в клетку на двадцать лет,
Посадил Реннский Горсовет.
Соловей к ним из дальних зим –
А они вона как с ним.

Немцы входят в ночной тиши.
Им бы что для сердца да для души,

Они ищут, свищут, по тюрьмам пошли,
Роют землю, ой-люшеньки-ой-люли.

Ой, березонька со калинкою,
Чего они роют-то Лотарингию?
Чего им рытися, чего боятися?
В чем с костлявою им бодатися?

Под ногой земля бело-красная.
Каторжанка умерла больно страстная.
Лежит земля кругом да красно-белая.
А в ней могилка что ни есть пустотелая.

А в ней могилка так и быть не печальная.
Ох, светит месяц. Дорогая дальняя.

2.

памяти Лидии Руслановой

На улице дождик с ведра поливает.
Меня маленькую крестная качает.

Слова не мудрены, ноты не казенны.
Льются голосочки из радиоточки.

Ту радиоточку выпить по глоточку.
Валенки подшиты. Вот и люди сыты.

Вот и вот и вот и...дело до зевоты.
То ли свет на крестной, то ли крест над сосной.

То ли шепоточки из радиоточки:
Саратовской девке – шубы за припевки,
Саратовской шлюшке – именные пушки,
Саратовской бабе – генерал при штабе.
Саратовской глотке – тюрьма да колодки.
Саратовской мамке – Россия на лямке.
Дубинушка, ухни! Поем мы на кухне.
Поем, как умеем. Себя не жалеем.
Ой-лёшеньки-лёли. Поем не для боли.
Чтоб детки уснули. Ой, люшеньки-люли.

3.

памяти Вадима Козина

Что за родина такая... господи, куда ни глянь
То цветущая Тверская...то бесцветный Магадан...

Осень, утро непрозрачно. Да прозрачная страна.
Засосет тебя изящно персональная вина.

Родина, клеймя и щерясь, обмакнет тебя в дерьме,
Прожует и сплюнет через щель в зубах – на Колыме,

И певунья, и плясунья в страстной горести своей, –
Бублик маковый подсунь ей. Дай же милостыню ей.

Спой на выселках смертельных, забывая стыд и страх,
О певцах ее скудельных, о забытых соловьях.

Без дна

Вот страна моя картой на стенке, плазменным светит огнем.
Откулупнем?
Помнишь, эти обои клеила мама прошлой эпохе в тон.
Под обоями слой за слоем: «Правда», труха, бетон.

За бетоном деревянные перекрытия, клад под бревном.
Много красного в новостийной заставке, много черного за окном.

Ночь. В эту пору я собиралась когда-то на приработок и к пяти часам
Получала стопки газет, раскладывала по адресам.
Поквартирно прописывала карандашом, поквартально складывала в тюки.
На левом плече таскала в подъезды, опускала сущую правду в ящики.

А по вечерам мы мыли бассейн: спускали воду, смывали песок и грязь.
Жизнь удалась.
И удалась бы так же в любую другую эпоху, в любой другой стране,
Но дороже та, что захоронена у меня в стене.

Так и чудится, за последним слоем на деревянном столе
Прадед Иван лежит посредине комнаты, на челе
У него испарина и блестит. Он назвал свой последний час
Попрощается и умрет, не дождавшись нас.

Отзвуки позывных, отблески новостей.
У электронной почты нет для меня страстей.
А в конце июля нанятый азиат
Залатал все щели. Выровнял стены. Ничто не цепляет взгляд.

Виталий ПУХАНОВ

* * *

Мы тихарились средь гробов.
Мы прятались меж городами.
Проскакивали меж зубов
И повторяли «нет» годами.

Когда бы мы сказали «да» –
Нас бы искали на погостах
И возвращали в города.
Но мы давно из девяностых!

Проститься и собраться в путь.
Надеть ушанку-невидимку.
Укрыться снегом и уснуть
С могильным ангелом в обнимку.

В нигде, не здесь и не сейчас,
Спросить прохожего, так просто:
«Который час? Который час?
А вы давно из девяностых?»

* * *

Чего уж проще: «мертвые слова».
Слова, и – мертвые. Наверно есть причины
Словам быть мертвыми. На вкус едва-едва,
На ощупь чуть, как воздух, отличимы
От мертвых слов ожившие слова.
На мертвых языках не говорят,
Лишь произносят заклинанья:
Дожди идут, а города горят –
Достаточно огня упоминанья,
Имен вещей в значении былом,
В порядке слов незыблемо живом.

Виталий ПУХАНОВ родился в 1966 году в Киеве. Окончил Литературный институт, был первым и последним лауреатом учрежденной под эгидой Литинститута премии имени Мандельштама. На рубеже 1990-2000-х гг. был редактором отдела прозы журнала «Октябрь». С 2003 года ответственный секретарь молодежной литературной премии «Дебют». Публиковался в журналах «Воздух», «Континент», «Новый Мир», «Октябрь». Автор книг «Деревянный сад» (1995), «Плоды смоковницы» (2003).

* * *

О, весна! Раз пошла у подростка
По лицу нехорошая сыпь –
Неотложка, холодная ложка...
Лучше сразу его усыпить.
Двадцать лет он промучится дурью,
А потом пропоет: «Ах, умру ль я?»
А потом замолчит на года
И однажды уснет навсегда.
Одного отпустите подростка
Прогуляться, уснуть под березкой.
Может, встретит кого-никого,
Кто от смерти отучит его.

* * *

Прими бессмертие мое,
Как ваучер из девяностых.
Не говори: «хуе-мое»,
Бери, пока дают так просто.
Иначе даром пропадет.
Случайный дар. Пропало даром.
Иди сюда. Стой, кто идет
С невыносимым перегаром?
Иди, не парься, идиот,
Не возвращайся. С легким паром!
Душа тебя переживет.
Оно и жалко, что задаром.

* * *

С нелюбимым мужчиной женщина обращается, как с цветком.
Поливает по пятницам. Наливает чай с молоком.
Поит его кипятком.
Мужчина такой цветок: пьет чай-кипяток.
Хочет чего покрепче, сторожится затрещин.
Вдруг перестанут звать – поливать- поить.
Пока поливают – все еще может быть.
Могут вдруг полюбить.
А женщине, что?
Стоит себе и стоит цветок на подоконнике.
Как стоят под окном неведомые поклонники.

* * *

Побродил с сумой, сидел под судом,
Отлюбил, отболел с умом.
Но последний гвоздь забивал с трудом,
Умирая, достроил дом.

И никто не сказал: «Я пойду с тобой,
Без тебя белый свет не мил».
Мыли в доме пол ключевой водой,
Чтобы больше не приходил.

* * *

Подари своим стихам одёжку –
Издай им книжку.
Нужны деньги.
Поработай официантом, пока мальчишка:
Жизнь и судьба отдельно.
На «Улице ОГИ» хорошие чаевые.
Золотые поэты. Послушай, пока живые.
Пащенко нарисует обложку в один карандаш.
Файзов с Цветковым подарят нержавеющую ложку.
Зуб дашь?
Закурят козью ножку. На раскрутку.
Присядь на дорожку, вечность пройдет за минутку.
Пиши правду, живи понарошку.
В стихах умирает своя и чужая боль.
Привыкай к смерти. Медленно, понемножку.
Только любовь.
«Любовь» – рифма такая, бездонная плошка.

* * *

На заводе, почти заброшенном,
Трудятся бобыли.
Делают очень хорошие костыли.
Год без зарплаты.
В кассе – пара рублей.
Ничего!
На складе припрятаны
Тысячи пар костылей.

* * *

Хорошо, что счастья нет.
Тяжело томиться счастьем.
Счастье застит белый свет,
Мнится Богом и причастьем.

А когда болит в груди,
Повторяю слишком часто:
Только счастье впереди!
Бедный друг, мое несчастье,
Ты меня не подводи.

Валерий МУХАРЬЯМОВ

Ассоль

Буксир «Ассоль» стоял у бетонной стенки затона, поджидая замешкавшихся после смены рабочих, чтобы переправить их в поселок на другом берегу реки. Шум работающего на холостом ходу двигателя заглушал бухавший неподалеку свайный молот, и только частая рябь маслянистой лужицы, оставшейся на палубе после недавнего налетного дождя, выдавала нетерпение «Ассоли».

Буксир был старый, многажды битый бестолковыми баржами и сплавными плотами, которых он немерено потаскал на своем веку, но все его вмятины и свеженаваренные заплаты создавали лишь ощущение матерой зрелости и надежности этого трудяги.

Тугой, разгульный ветер дул с реки. Иногда он тяжело наваливался на вздернутый нос суденышка, слегка прижимал его к пирсу, и тогда буксир, как привязанный бычок, потягивал кормовой причальный конец, будто пробуя его на крепость.

Капитан Серафим Куриленок сидел в своей тесной рубке на высоком металлическом табурете и, привалившись виском к иллюминатору, устало смотрел, как за каменистой косой затона бегут и бегут со стороны далекого поселка стылые, гребнистые волны.

Настроение у Куриленка было мрачное: старинный друг его, Степан, бессменный помощник капитана на протяжении многих лет, уже третий месяц лежал с инсультом в районной больнице, и, судя по тому, как плакала вчера звонившая из Волокши жена Степки, ждать оставалось только самого худшего.

Отгоняя тяжелые мысли, Серафим тряхнул головой, встал и, взглянув на часы под замасленным обшлагом рукава, вышел на крыло мостика.

На палубе, возле открытой двери машинного отделения лежала большая вислоухая собака. При виде капитана она торопливо поднялась с нагретого места и, готовая в любую минуту выскочить на берег, замерла, искоса глядя на него с привычной ко всему покорностью.

Эту худую псину притащил сегодня утром Жорка, назначенный на буксир вместо слегшего Степана. Разбитной мичманок, уволенный с флота то ли за пьянство, то ли за какие-то темные делишки, Жорка был в этих краях человеком случайным, и, направляя его на «Ассоль», Куриленка в пароходстве предупредили: «Будь с ним построже, Серафим Василич. А уж если что, мы цацкаться не будем. – Но, и вздыхали при этом: – Людей нет. Обмелела людьми река».

Технику Жорка знал неплохо, и хотя обязанности свои исполнял с ленцой, Серафим старался недовольства не показывать – понимал: другого помощника взять неоткуда. Но вчера, после первой же выданной накануне получки, Жорка на работу не вышел. Не видели его и в общежитии. Он появился в затоне только утром. Грязный, без своего щегольского форменного бушлата, с расцарапанной рожей, Жорка с ухмылкой взглянул измученными пьянством глазами на наблюдавшего за ним с мостика капитана и, сняв обрывок провода с шеи этой жалкой, Бог знает откуда приведенной им собаки, молча полез в теплое нутро буксира. «Ладно, хоть пришел, – подумал тогда Куриленок. – Авось, обломается»...

Серафим покосился на строительную бытовку, откуда уже тянулись, с трудом прикуривая на ветру, рабочие, открыл дверь рубки и тихим свистом поманил собаку к себе. Псина странно изог-

---

Валерий МУХАРЬЯМОВ родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский педагогический институт. Печатался в журналах «Волга», «Континент». Автор сценария художественного фильма «Артистка» и ряда пьес, поставленных во многих странах мира. Член Московской городской организации Союза писателей России.

нулась, отчего ее тощий зад оказался едва ли не у самой морды, боком подвинулась к трапу, но, боясь подвоха, подниматься не стала, а выжидательно замерла внизу, колотя по ребрам сбившимся в колтуны хвостом. И лишь когда он, опять коротко свистнув, шагнул внутрь и несколько раз шлепнул себя ладонью по ляжке, собака, промахиваясь лапами мимо металлических прутьев ступенек, неловко полезла вверх. Проскользнув в рубку, она плотно прижалась к переборке у самой двери и, пока Куриленок рылся в шкафчике, неотрывно следила за этим, как она понимала, самым главным здесь человеком, боясь поверить в его дружеское к себе расположение.

Серафим поставил перед ней коробку с остатками своего холостяцкого обеда и торопливо подался навстречу застучавшим по трапу шагам: «Все? – Не дожидаясь ответа, кивнул: – Добро». Уже закрывая дверь, он с раздражением успел заметить, что с носовым швартовом возится не Жорка, как должно было быть, а один из рабочих.

Слегка толкнувшись кормой, «Ассоль» отвалила от пирса и, теребя винтами мутную воду, ходко пошла вдоль далеко растянувшейся по реке косы.

Сразу за причальной стенкой, слева открылся небольшой залив, отделявший строительство от высокого, поросшего кустарником откоса с крохотными домиками на самом краю яра. Сверху, от выглядывавших из-за палисадников изб косо сбегала вниз нечеткая тропинка, но не к заливу, а много дальше – к выходу из затона. Там, на мелководье стоял еще не видный отсюда полузатопленный дебаркадер, куда дважды в неделю чалился пассажирский катерок, возивший местных баб в поселок за всякой хозяйственной нуждой.

В заливе, углубляя дно, работал земснаряд. Надсадно пыхтя трубой и скрежеща цепями, он упрямо тянул из воды бесконечную вереницу черпаков со всякой придонной дрянью и сбрасывал ее в трюм жавшейся у борта шаланды.

Ладная, черноволосая женщина вышла с ведром на палубу пыхтящего чудовища и стала внимательно смотреть из-под руки на проходящее мимо суденышко. На «Ассоли» мокро откашлялась и взвизгнула сирена. Женщина нерасчетливо плеснула из ведра на ветер и, едва увернувшись от брызг, игриво пошла обратно, то и дело оглядываясь на буксир и призывно смеясь над своей неловкостью.

Куриленок еще раз дернул рычаг сирены и перевел озорной взгляд на собаку. Она уже оставила в покое вылизанную дочиста коробку, привстала на задние лапы и настороженно смотрела в боковой иллюминатор.

Когда обогнули небольшой мыс, и открылся выход из затона, капитан заметил впереди сидящую на мели самоходную баржу. Тяжело груженная, она наскочила скулой на оконечность косы, и теперь, судорожно работая винтами, пыталась вырваться из песчаного плена. На ее ржавом борту с трудом читалось название: «Комсомолец Тульчак».

Подойдя ближе, Серафим застопорил ход и щелкнул тумблером громкой связи. «Ну что, Александр Кондратич, – разнесся его голос, сопровождаемый металлическим пощелкиванием, – сидишь, чайный гриб?» Ответа не последовало. Усмехнувшись упрямству хорошо известного на реке своим желчным характером капитана, Куриленок миролюбиво предложил: «Да не жги ты попусту солярку. Давай, я тебе буксирный трос подам». Он уже тронул ручку машинного телеграфа, но в этот момент баржа чуть заметно качнулась и стала медленно сползать с отмели. Дверь ее рубки на секунду приоткрылась, и оттуда высунулся кулачок с крепко сложенным из пальцев кукишем. Посмеиваясь, Серафим подработал машиной ближе к берегу. «Проходи, проходи, – сказал он в микрофон, – я уж пропущу тебя, от греха...»

Порыв ветра принес с кормы растрепанный обрывок смеха. Капитан «Ассоли» оглянулся на сидевших тесным кружком рабочих, пошарил хозяйским глазом по буксиру, потом выдернул из раструба свисток и подул в переговорную трубу. «Слушаю», – через долгую паузу сипло отозвался Жорка. «Ты швартовы-то прибрал бы с палубы, – строго напомнил Куриленок. Он напряженно подождал, хотел было заткнуть молчащую трубу, но, все-таки, наклонился и, досадуя на себя, вкрадчиво спросил: – А?..»

С правого борта уже втягивался в затон груженный щебнем «Тульчак».

Жорка вылез наверх мятый, заспанный; поеживаясь и лениво огрызаясь на шутки строителей, стал наматывать на кормовую вьюшку канат.

И тут утробно заскулила, заволновалась собака. «Чего ты?» – удивился Куриленок. Та отпрянула от иллюминатора, подскочила к высокому порогу и несколько раз царапнула его когтями. «Ах ты, Господи...» – досадливо сморщился Серафим. Придерживая собаку ногой, он приоткрыл дверь, бросил вороватый взгляд на корму и только тогда выпустил псину наружу. Она слепо кинулась вниз, ударилась грудью о палубный настил, но тут же вскочила, и вдруг, свесившись за борт, скользнула передними лапами на привальный брус и прыгнула в воду. Задавленно вытянув шею, собака плыла прочь от буксира, но не прямо к берегу, а забирая вправо – к просевшему на воде, старому дебаркадеру. Серафим взглянул в том направлении и возле покосившейся лавочки, где обычно сидели в ожидании катера старухи, заметил странную фигуру в коротком, черном пальто. По голым коленкам, торчащим из голенищ высоких сапог, он понял, что это молодая женщина или даже девчонка, но лица ее, наполовину скрытого большим венком из листьев, рассмотреть не мог. То заходя в воду, то отступая от набегающих волн, она металась по берегу, просяще тянула к буксиру руки и, в отчаянье топая ногой, видимо что-то кричала им, неслышное на таком ветру. Это было тем более странно, что подойти в этом месте к берегу буксир не мог, и жители деревни прекрасно об этом знали. На ощупь сняв висевший за спиной бинокль, Серафим поднес его к глазам. «Чего она хочет?» – думал капитан, вглядываясь в заплаканное лицо с выразительно, но безмолвно двигающимися, как за стеклом отходящего поезда, губами. И тут он узнал ее...

Куриленок не раз встречал эту глухонемую девчонку в поселке. Обычно она приезжала туда с высокой, худой старухой и они, разложив на газете, в зависимости от сезона, пучки зелени, снизки сухих грибов или побитые паршой яблоки, подолгу сидели у пассажирской пристани в ожидании покупателей. И еще он вспомнил, как однажды отбил эту несчастную у поселковых мальчишек, подстерегших ее на спуске к реке. Пользуясь тем, что руки девчонки были заняты банкой с постным маслом, подростки подбегали к ней сзади, задирали подол платья и, отскочив, опять норовили зайти за спину. При этом лица их были сосредоточены и бледны. Девчонка затравленно верещала, плевалась, но они упорно не оставляли ее в покое, и, не вмешайся тогда оказавшийся неподалеку Серафим, дело могло кончиться плохо.

Куриленок вновь навел бинокль на берег. Собака уже выбралась из воды, и устало отряхивалась, обдавая хозяйку брызгами. Та, не глядя, пнула ее ногой и опять безмолвно закричала, запрыгала, из последних сил стараясь привлечь внимание находящихся на буксире.

«Ах ты, мерзавец!» – вдруг застонал капитан. Он потянул к себе микрофон:

– Георгий, ну-ка, поднимись ко мне! – прокатился над палубой его голос.

Сидевший с рабочими Жорка бросил окурок за борт и нехотя направился к трапу.

– Ну?.. – спросил он с порога.

– Войди и закрой дверь! – приказал Серафим. И, когда тот шагнул в рубку, ткнул ему в руки бинокль. – Твой бушлат?! – спросил он хрипло, кивнув в сторону дебаркадера.

– Не мой, – сразу ответил Жорка. Он посмотрел в указанном направлении и замотал головой: – Нет... Откуда?.. Свой я стропальщику с лесовоза продал.

– Врешь, сучонок! – задохнулся гневом капитан. – Врешь!

– А вы докажите! – с пришедшей от испуга наглостью взвизгнул Жорка.

– Что?! – качнулся было на него Серафим, но сдержал себя. – Сегодня же заберешь в общежитии барахло, и если я тебя еще раз, не дай Бог, где-нибудь встречу... – Он прикрыл глаза. – А теперь... пошел вон с мостика!

Когда Жоркины шаги скатились по трапу, Куриленок несколько раз глубоко вздохнул и взялся за ручку телеграфа.

За мысом, у выхода на большую воду волнение стало размашистей. «Ассоль» несколько раз клюнула носом, потом приноровилась, глухо заурчала и задиристо полезла грудью на набегающие с реки волны.

Герман ЛУКОМНИКОВ

* * *

Не Бабель, но
Читабельно.

* * *

Тюря, уха... Забор, роба... Захуярют...

* * *

бальзак воспел тридцатилетнюю
сельвинский женщину под сорок
набоков двенадцатилетнюю
а я сметанушку и творог

* * *

она ль искала
анализ кала

анализ кала
она ль искала

* * *

будьте любезны
постойте у бездны

* * *

а глаза нас водят за нос

Герман ЛУКОМНИКОВ родился в 1962 году в Баку, с 1975 года живет в Москве. Учился в МИРЭА (1979-1980), работал дворником, сторожем, продавцом в книжной лавке «Гилея». Сотрудничал с газетой «Гуманитарный фонд». Печатался в журналах «Знамя», «Огонек», «Новое литературное обозрение», «Соло» и др. Публиковал стихи в детских журналах «Фигли-мигли», «Вовочка». Вместе с Андреем Белашкиным подготовил и провел первый фестиваль палиндрома (1991). Организатор первой конференции по проблемам палиндрома (1992). В 1993-94 гг. составил сетевую Антологию русского палиндрома, а в 2001 – Антологию русского палиндрома, комбинаторной и рукописной поэзии. Автор книг «Вешнія воды: Сборник срамной лирики» (1993), «Стихи» (1997), «Птицелов (оплот-идея)» (1997), «Бонифаций и Герман Лукомников. Стих нашёл» (2000), «Бонифаций и Ася Флитман. Мы буковки» (2001), «Дмитрий Кузьмин. Стихотворения Германа Лукомникова. Осень 2000: Произведения, написанные <Лукомниковым!> с 1 сентября по 30 ноября 2000 года» (2001), «Стихи сезона» (2001), «Слова Германа Лукомникова» (2003).

* * *

блаблабла
бал бабла

* * *

Лиру кумир пилил и «Приму» курил.

* * *

Неужели я настоящий,
Как какой-нибудь звероящер?

* * *

Туз точит Ире
«Ту»-104.

* * *

Поэзия должна быть глуповата,
А сахарная вата – сладковата,
Селёдочка – солоновата.

* * *

у медного всадника
на коленке ссадинка

* * *

Ара! За базар, а?

* * *

Але-оп! Мадам поела.

* * *

А спаси-ка, киса, пса.

* * *

и похотливы
эпох отливы

* * *

со скупердяем
соску пердя ем

* * *

Я-то – хиппи? Хотя...

* * *

Ахметьев сказал
что Холин сказал
что Шаляпин сказал

даром только птички поют

* * *

а вы дети
выйдите

* * *

Вобью ль взором мороз в любовь?

* * *

Чем смотреть кинишко,
Почитай кинишка.

* * *

Позабочусь о бомже:
Заведу ему ЖЖ.

* * *

Не избу строю,
А из бус Трою.

* * *

То там,
То тут...
Крутой маршрут.

Наталия ЧЕРНЫХ

Мелкая сошка

Рассказ

*

В Царствии Небесном, говорила Сонина мама, в Царствии Небесном... Должно быть, знает мама, что есть в Царствии Небесном, хотя Сошке не рассказывает. А что мама – в Царствии Небесном, Сошке сомневаться нельзя, голову повредишь. Вот и сказка, оставшаяся от мамы.

*

Жила-была в городе Москве Соня Гончарова, бывшая студентка педагогического института, когда-то отличница, добрая душа и незаметная всем помощница.

*

Отца своего Соня помнит плохо. Воспоминания о нем кажутся будто подкрашенными, лубочными. Мол, с папой лучше было. Однако надобно было учиться жить и без папы. От папы Соне Гончаровой осталось только прозвище: Мелкая Сошка.

*

Была у Сони мама, Екатерина Николаевна, простая душа и отчаянная путешественница. Почти странница. Екатерина Николаевна побывала, еще в восьмидесятых годах, кажется, во всех святых местах России, или Союза. Екатерина Николаевна любила бывать на святых местах и много рассказов Соне оттуда привозила. Маслице освященное – тоже привозила.

*

Сонино воспоминание о маме всегда подернуто удивлением и даже испугом. Будто чужого, нечаянного человека вспоминает. Вот, мама вернулась из очередного странствия. Вся вымазана йодом, даже волосы стали луково-рыжие. Вернулась из одного поволжского монастыря. По дороге домой мама заехала еще в один «монастырь», к некой «благодатной целительнице», которая «люголем лечит». Потому и волосы рыжие, от люголя.

Соня хлопочет: мама вернулась! Готовит вкусную яичницу с лучком, сыром и помидорами. А мама, огромные черные ручищи, ломает полкаравая ржаного хлеба и ест, улыбаясь. Не дождалась яичницы. Молилась Екатерина Николаевна всегда как-то врозь с Соней, будто Соня иной веры. Соня поначалу просила маму помолиться вместе с нею, а потом перестала. То, что Соня готовила, мама ела редко, что называется, в охотку.

Но зато, когда Екатерина Николаевна готовила суп (картофельные вареники, клецки, гречка, рис, мороженая капуста, лук поджаренный), то из кухни подолгу не выходила. Ноги уже старые, усталые. Чай Екатерина Николаевна могла пить хоть до полуночи, и еще ночью вставать, доедать с вечера оставленное. Как-то зимой, по возвращении из очередного монастыря, Екатерина

Наталия ЧЕРНЫХ родилась в 1969 году в Челябинске-65, ныне Озерск. Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. В 2001 году – победитель Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Куратор поэтического Интернет-проекта «На середине мира». Автор семи поэтических сборников. Стихи печатались в журналах «Волга», «Воздух», «Новый мир»; эссеистика и малая проза опубликованы в антологии современной малой прозы (сост. Дмитрий Кузьмин), журналах «НЛО», «Кольцо «А», «РЕЦ» и др.

Николаевна заболела воспалением легких. Не сразу сообразила, что заболела. Потом лечиться пришлось сильными антибиотиками. Почти весь Великий Пост Екатерина Николаевна кушала жирное мясо: нутро сожгла антибиотиками. Соня не сразу догадалась покупать маме оливковое масло и наливать его в небольшую бутылочку, чтобы мама всегда ее с собою носила. Перед тем, как таблетку выпить – глоток оливкового маслица. Масло дорогое, но и бутылка большая. Надолго хватить должно.

*

Когда Екатерина Николаевна заболела совсем, Соня от огорчения тоже заболела. И решилась пойти на Бежицкое подворье, к отцу Анатолию Калинину. Хоть записаться на прием. Однако едва Соню записали на прием, отворилась нараспашку соседняя дверь. Чуть Сошку не сбила с ног. Огромная дверь, почти квадратная, с фигурными петлями. Дверь, находящаяся слева от секретаря, распахнулась, и вышел сам отец Анатолий. За ним поспешно следовал худосочный очкарик-монах. За ними – какие-то миряне, видимо, засыпавшие отца Анатолия вопросами. Соня потрусила за отцом Анатолием, пристроившись в хвост, и очень скоро смогла подойти поближе к батюшке. Миряне ушли, и Соня, наконец, спросила:

– Отец Анатолий! То и то. Что такое, не пойму.

Невысокого роста, в старенькой ряске, отец Анатолий остановился и почти рявкнул:

– А вы-то где были? Уж сколько лет прошло...

Сошка оторопела: совершенно не представляла, что она может на маму повлиять. А с ней так серьезно разговаривают, будто она обладает сильной волей и живет в достатке.

Отец Анатолий добавил, глядя почти беспомощно, сквозь очочки:

– Помолимся, что ли.

Худосочный монашек, увидев, что Соня готова заплакать, бочком пододвинулся к ней и залепетал, будто колыбельную:

– Вы не плачьте, Господь не отдаст, Господь поможет...

Соня согласно кивнула, потому что слезы уже текли с носа. Говорить она не могла. И вдруг – от души поклонилась отцу Анатолию, и монаху – тоже.

Отец Анатолий тоже поклонился, чуть-чуть.

В назначенный для приема день Сошка не пришла: зачем?

*

Когда Сонина мама умирала, в июле, Соня подошла к отцу Григорию и попросила маму на дому причастить. Отец Григорий осторожно спросил:

– Транспорт сможете обеспечить?

Сошка, грешным делом, думала, что вишневый Фольксваген, на котором батюшка разъезжает, ему принадлежит. А так... Отец Арсений приехал, за тысячу рублей, в больницу. Понятно: по жаре, в ряске, с Дарами, постхристианское общество. Только вот у Сошки мама одна. Господь маму не оставит, и Сошку – тоже. Так лучше думать, а люди очень разные. Говорят: терпи, потому что велел... Ишь, какая, Сошка, захотела спокойно жить...

*

Критики пишут, что классики литературы много пишут. О том, как поэту (или драматургу, или писателю) хочется спать, спать. Потому что классики смерти боятся. Все смерти боятся, не только Сошка. Но как же иногда не хочется просыпаться! Хотя отец Арсений говорит, что жить очень даже интересно. Пожил бы он Сошкиной жизнью месяцок, что ли.

Отец Арсений – новый священник на Алексеевском подворье, молодой совсем, его даже такая тихоня, как Сошка, всерьез не воспринимает.

Отец Арсений хороший, деловитый такой.

*

Жила-была Соня Гончарова, уже без мамы, и, Слава Богу – жила. По праздникам и воскресным дням, а то и чаще, ходила на Алексеевское подворье. Радоваться жизни и освящаться. Любила Соня восхитительные дни празднеств: цветы и многолюдье. Ни одна вечеринка не сравнится. Однако терпение и в храме нужно. Маму в июле похоронили, а теперь уж сентябрь, Рождество Пресвятой Богородицы. Мир, любыми путями.

Праздничная череда к исповеди, и Сошка в ней. Попискивает, устала, недовольна, но молчит. Исповедальные мытарства проходит. Отец Григорий, которого Сошка за версту теперь обходит, вдруг вызвал и сказал, разорвав хартийку. Тихо так сказал, по-детски:

– Я вот тоже от своих аналоев страдаю.

Сошка и не сомневалась, что страдает. Только вот на исповедь к отцу Григорию все равно не пойдет, так только, случаем. Лучше отцу Игнатию записку написать... и забыть. Отец Григорий, когда начинает волноваться, из всякой мелочи выкладывает на аналое таблицу Мендлеева. Он вообще на ион кислорода похож, когда в хорошем настроении.

*

Жизнь Сонина после смерти Екатерины Николаевны почти не изменилась. Хлопоты прежние, даже чуть меньше. Денег нет, а на работу ходить надо. Словом, как все. На то и Мелкая Сошка. Осень миновала, уже зима на пороге. Казанская как раз на воскресный день пришлась: престольный праздник. Первый лед, первый мороз, душистый еще.

Соня Гончарова, снова затерявшись в исповедальной толпе, думает:

– И все равно лучше верить. Хоть как-то, хоть с пятого на десятое. Хоть по субботам и воскресеньям. Потому что люди настолько одинаковые, что в храме, что вне храма; мне даже страшно. С мамой, когда не болела, здоровалось множество прихожан. За два месяца болезни никто ни разу не позвонил. Зато соседи, оба, приходили, и еду приносили... Вызов врача на дом оплатили. Теперь мамины знакомые говорят, что соседей надо окрестить. Кто крестить будет, Маргарита Леонтьевна или Вика Маратовна? Они хоть молились, и то ладно. Надо веровать, несмотря на какую-то озлобленную и наскоро прикрытую иерархию. Мол, верующий выше неверующего в мире, где скорбными должны быть. Потому что Спаситель сейчас особенно милостив к верующим. Ведь если не веровать в милость, не оправдаешься.

Правда страшна, и лучше ее не видеть. Милость примиряет. Осталось только не возмущаться, когда по тебе ходят, за всех молиться, и все прощать, а сумею ли я? То-то.

*

Ходят. Ходить они умеют, и говорить разные вещи тоже. Вероника Феликсовна, Вика Маратовна, Маргарита Леонтьевна. Впрочем, каждый человек говорить умеет, даже глухонемой. По-своему, но говорит. Не говорить не может, так уж человек создан. А у тех баб мужья по целому вечеру перед телевизором сидят. Жалко баб, озлобились совсем, несмотря на приходскую конфессиональность. Помолиться за них чуточку, что ли?

Вероника Феликсовна – романтически седая, лицо почти иконописное, молодая поэтесса пятидесяти лет, недавно читавшая стихи в малом зале Центрального Дома литераторов. Работает редактором в каком-то окололконфессиональном издательстве. Высота и полет мысли такой, что Соне – и не снилось. Дочка Вероники Феликсовны тут же ходит. Вон, под благословение к отцу Игнатию подошла, Ларисой зовут, мамина помощница. Вслед за мамой на мягкий коврик ступила, конечно же, Лариса. А за ней, вне очереди, некая очкастая родительница с громким дитем на руках. Все – как положено, и не возникай, Сошка.

Соня, понятно, даже имен приходских дам не знает, а уже деталей биографии – тем более, а вот прочие прихожане, в среде которых Сошка исповеди ждет, часто многое друг про друга знают и вслух говорят. Так что, не слушай, Сошка.

Пробираясь через толпу, собравшуюся возле аналоя, Вероника Феликсовна отчаянно хлопнула Сошку по уху широкой кожаной сумкой, навроде портфеля. Конечно, нечаянно: народу – тьма. В голове у Сошки хорошо зазвенело, как рой комаров в августе.

– Вы уж потерпите нас; так, значит, вам надо.

Надо – потерпим. Только Сошка уже плачет, молча. Ишь, какая нервная.

Слева, вслед за Ларисой, заходит на коврик известная журналистка Вика Маратовна. Неторопливо, с видом скушавшей мороженое школьницы. Подошла к аналою. Темноволосая, сочная женщина, лет пятидесяти, как и кума. У Вики Маратовны сын Свято-Тихоновский заканчивает, Олежек: шея из-за маминого плеча торчит. Еще у Вики Маратовны есть дочь, православная журналистка, как мама, только на телевидении. Новый телеканал открыли недавно, а Ирочка уже там. Отец Игнатий благословил:

– Сражайтесь оружием репортажа!

*

Вика Маратовна что-то рассказывает отцу Григорию, долго, очень долго. Отец Игнатий, почуяв замедление, робко выглянул из-за колонны и выслал на другой аналой отца Ефрема.

Несколько раз возле Сошки мелькал креповый платок кирпичного цвета: Маргарита Леонтьевна «за чередой» следила, не пропустить бы свою.

Маргарита Леонтьевна постарше обеих кум, ей лет шестьдесят, и великолепные организаторские способности. Хоть на Камчатку автостопом, в паломничество.

– Будь добра, подвинься! – Маргарита Леонтьевна заметила подруг. Очередь стала на одного человека больше. Что ж, Соня подождет. Или завтра на обедне поисповедуется.

До исповеди так и не дошло: отец Григорий утомился и ушел в алтарь, и отец Ефрем – тоже. Возле коврика осталось несколько дам, из щеголеватых, и Маргарита Леонтьевна.

– Наша беда в том, что мы относимся к таинству исповеди как к очереди в поликлинику. Там своих увидела, здесь без очереди прошла, и так далее...

Соня с Маргаритой Леонтьевной вполне согласна.

Однако к первому часу вышел отец Арсений, и Соня, наконец, радостно ступила на любимый коврик: узор – модерн, лилии и чайные розы. Как раз Сонин узор.

*

Соня Гончарова возвращается с праздничной всенощной, довольная и счастливая. Снежок сыплет, мягкий, но сухонький, приятный. Отчего не всегда так на душе хорошо, отчего не всегда все небо в ангелах? Почаще надо в храм ходить, там дышится душе легче.

«Жить или не жить? Господи, ты знаешь. Ты видишь, что все струночки на моих гуслях подпилены, и уж никто их не свяжет, не сплавит, чтобы звук был. Что было – жизни, что не было ее. Вспомнить толком нечего. Вот Оптину только, в августе, да Печоры, весной. Ну, Загорск, это конечно, любимое место. И отчего мне в Загорске так весело всегда? Господи, какой же дивный там твой угодник, Преподобный Сергий! Ни разу не было, чтобы из Лавры без подарка вернулась, духовного... Ах, как в Лавре хорошо. Поехать, что ли, завтра?

Жить или не жить. Нечем жить, уже нечем, а лет... и сказать стыдно. Теперь в насмешку будут все шутки, все указания на молодость, все призывы к терпению. Я ж как птичка теперь, лапками вверх. Ты знаешь, а кроме меня и Тебя, Господи – никто. Ты возьми меня и не посчитай за грех, что я вот так скоро прошусь к Тебе.

Не потому что на земле плохо, а потому что изжила я уже свою землю, проросла уже, а меня, растение, снова в грязь втаптывают. Будто какую святыню топчут. Любой человек – святыня. Потому и надо прогибаться, и надо, чтоб по тебе ходили, чтобы одна только святыня осталась. Будто в каждом человеке, перед смертью, одна лишь святынька и остается. Страшно, ужас, как страшно. Но не могу я жить более, и не хочу дурной веры. Упадешь-поднимет. От ума это, только от одного ума, и более ничего. А вот в смерти видеть благословение – труднее. Это как целовать то, что по

тебе ходит. Надо целовать, тогда и скорое избавление. Даже если танк по тебе пройдет и скажет: надо целовать – и целуй, и терпи. А не упадешь-поднимет. Не ванька-встанька, а святыня».

*

Отец Игнатий напоминает Соне водяного. Главного водяного: с русалками. Заворожит, заговорит, увлечет своей мурлыкающей реченькой, а потом ты – хлоп об угол головкой. Глаза у него мертвые, рыбьи, хоть и нос веселый, дельфиний. Такие глаза бывают у человека, у которого в жизни сей ничегошеньки не осталось, и которому ничего от жизни сей не надо. Говорит отец Игнатий порой даже красиво. Мол, покаялись, глазки блестят, крылышки выросли. Что-то вроде азарта борьбы. Мол, победил врага. Потому, мол, и жить интересно. Только до Сони эти слова не доходят, потому что у отца Игнатия глаза рыбьи, и весь он внутри стеклянный. Химера одна. Потому что внутри – пусто, нечего там искать, там скуфеечка одна, а в ней бумажки шуршат. Ни одного слова не подберешь. Страшно! Тьма скорбей у отца Игнатия внутри. Все скорби – чужие, напрасные. С долгами смешанные, забытыми обещаниями пересыпанные. Соня отчасти понимает, вроде как с ней: я ударю, а ты потерпи. То же самое: я напишу, а ты прочитай.

*

Отец Игнатий – наоборот, с Сошкой весело заговаривает, как будто в мужском роде:

– Как ваша жизнь? Как жизнь?

И смотрит своими рыбьими глазами с железным зрачком, как из-за стекла.

Нету жизни, нету ее, а вот умирание есть. Возможно, что и греху. Но Соня не знает.

*

Отец Игнатий говорит властно, однако слушать его приятно.

– Не сетуйте, не огорчайтесь, вам легче будет! – Батюшка распрямился во весь рост.

– Вот ваше место!

Взмахнув длинной рукою, указал на сонмище своих окормленцев. Дети его, духовные, что ли. Да кто ж на Алексеевском подворье духовным чадом отца Игнатия не является? Все.

– Берегите себя, и сохрани вас Господь, сохрани вас Господь...

Знает отец Игнатий, о чем Сошка лучше всего молится, очень даже знает.

«Господи, ты знаешь отца Игнатия лучше меня. Спаси его и вразуми, что уж нет моих гусель, и играть на них некому. Не поют гусли; и скоро уже, так скоро...»

Здесь Сошка всегда плачет. Себя ей не жалко, а вот терпеть – трудно.

– Потому и терпеть трудно, что себя жалко, – крякнула почти над ухом Маргарита Леонтьевна кому-то, как Сошке. Что ж, все мы в одной храмине, и Сошка – тоже.

– Благословите на путь, Батюшка! – вздохнула Соня. Страшновато ей стало в последнее время преодолевать Москву под землей, в вагоне метро.

– Ну и что, – вдруг выросла рядом Вероника Феликсовна и взглянула на Соню свысока, как учительница на двоечницу. – Маргарита Леонтьевна все лето из Истры ездила, каждый день. А ты еще молодая. Никак, пророчествуешь?

– Был грешок... – растерялась Соня.

– Раз был грех, значит, каяться надо! – наставительно приказала Вероника Феликсовна. И вдруг Сошка заметила, что нос у нее совсем не иконописный, как на картинах. А очень даже каменный, как на вавилонском медальоне. И прикусила губу.

Так что лучше помолчи, Сошка.

*

Под Рождество к отцу Игнатию на исповедь Соня не попала, и даже загрустила. Зато снова попала к отцу Арсению, порадовалась: ну, хоть молодой опекун нашелся!

Отец Арсений казался Соне каким-то подкрашенным, лубочным, как и воспоминания о папе.

Слишком положительным показался Соне молодой батюшка. Все у него к лучшему, как у Вольтера в «Кандиде» опекун говорит: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Раньше такое расположение мыслей квиетизмом называлось. Словом, ура – и все спаслись, причем моментально. Ничего подобного, конечно, отец Арсений не говорил, но Соня своей изношенной душонкой очень хорошо чует подоплеку, и даже морщится. Будто во рту привкус горького лимона вдруг объявился. Больше всего отец Арсений говорил, и, как Соня, заметив, сообразила, любил говорить, о радости христианства.

Да, радость. Соня соглашается влет, не рассуждая. Именно радость! Только другая. Не просто другая, а очень даже другая. Очень даже не простая радость. С хорошим лишком простая, и потому – страшная. Здесь Сонины мысли расходились в разные стороны. Сердце, наоборот, приободрялось. Будто пятерку на экзамене получила, свой билет ответила верно. Так вот и с радостью христианства: для Сони она не закрыта. Только вот другая она, радость. Как черный хлеб в Египте, как гречневая каша в Марокко. То-то. У радости христианства – железная поступь. И любовь христианства наступательна и непобедима, потому что... Дальше Соня почти всегда плачет. Дальше начиналось странное, но будто издавна принадлежащее ей поле, с которого даже после смерти, кажется, не сойти.

После разрешительной Соня долго стояла перед иконой Тихвинской Пресвятой Богородицы и плакала-плакала, винилась. Будто и не было над ней прочитано разрешительной молитвы. Ну, как сказать, что ты так вот просто и вымаливаешь себе смерть, потому что гусли уже не играют! Соня уже поняла, что никто-то те гусельки не заведет, потому что Господь уже начал черточку под Сониным изложением подводить, и более уже гусли не нужны. Соня нисколько не печалится, только разве о смертном часе, потому что его все боятся. Никто врагов человеческих видеть не хочет, мерзкие они.

*

И вспомнилась Сошке вся ее маленькая, даже, можно сказать, крохотная, жизнь. Ни талантов, ни заработка, ни замужества – ничего нет. Только вот дети в детском саду мамой Соней зовут, кажется, и все тут. Вспомнилось, как Екатерину Николаевну с работы чуть не выгнали (Сошке лет восемь было) – за посещение храма. Как Екатерина Николаевна не боялась, что выгонят, однако заболела. Как потом Сонину маму сумасшедшей считали, да так и осталось, до самой смерти. Как самой Соне неловко было мамину веру скрывать, потому что ничего дурного в ней Соня не видела, хотя в воровстве всех попов подозревала. И боялась, что вот такой, «купленный», маму выдаст. Вспомнила, как потом сама стала в храм ходить. Как в институте диплом по нравственным основам воспитания в связи с Евангелием писала, и даже защитилась. Никто из оппонентов не возражал. Только обществовед, Ежик Алексеевич, спросил:

– Откуда комсомолка столько о Евангелии знает?

– Я не комсомолка, – ответила Соня.

Еще вспомнилось Соне, как ухаживал за нею Толик, и как в то время ей было хорошо и весело. Вспомнилось, как Толик потряхивал живописными прядками, закрывавшими карие глаза, и рассказывал Соне о разных школах иконописи. Знал, что Соня иконы любит. Однако с Толиком Соня скоро рассталась, и не помнит, из-за чего.

Вот, кажется, и все.

*

За литургией отец Арсений говорил слово, и будто сказал – совсем не то, что готовил. Начал говорить о маловерии, и дошел до самоубийц. Мол, нет им прощения, и Господь не принимает таких. Ибо они первый дар, дар жизни, презрели. И ни во что вменили сами себя.

Соня слушала внимательно и думала-думала. О самоубийцах и их загробной участи она не задумывалась никогда, но как-то их понимала. Для нее самоубийство от тяжести жизни было что-то вроде жертвы, крайней жертвы: мол, окончательно такие люди позволили по себе другим

ходить. Вовсе не от гордости они от жизни отказались, а в пользу других. Другие пусть живут, и все неумелости, которые самоубийцы наделали, в себя втянут. Прожуют, переварят, и уберут – без остатка. Ведь выживают только лучшие и сильные. Даже здесь, где скорбными должны быть. Иногда лучшими и сильными оказываются люди вовсе не большого ума, да ведь так и должно быть. Какой толк и польза от умного? То Божий знак: нищета духовная выше богатства, хоть злодей ты, хоть блаженный.

Соня несчастных самоубийц нечистью посчитать не смогла. И не то, чтобы за них молилась, а так, втихую, для себя, оправдывала. Ведь теперь, в мире, где все настроены именно на убийство другого, на победу или на поражение как залог победы; настроены на одно только выживание; светится добровольное невыживание – как жертва, как листочек, оставленный убийцам на покаяние. Все равно, как душу свою за ближнего положить. Только, понятно, не о каждом самоубийстве такое сказать можно. Не от слабости на себя руки накладывают, и не от горя. Потому, что своего куска не хотят, а другим оставляют. Это как во время голода: одни своих детей съедают, а другие умирают, но свою картофелину отдают другим. Или как в пустыне. Умер, но свой глоток спутнику оставил. Сам виноват, и нет более на других обвинения, что целый рай не стоит одного замученного ребенка.

Выслушав слово отца Арсения, Соня снова постояла у Тихвинской, но на сей раз не плакала, так. Устала очень, а ведь служба недолгая была.

Только вот гусли уже не играют, хоть и причастница.

*

Святки в разгаре, а перед Соней возникла местная библиотекарша и писательница Ангелина Кречетова, на вид замечательная. Невысокого роста, кругленькая, но не полная. С приятно властным личиком, окруженным весенними кудельками. В замшевой тужурке, отороченной ламою. Осанистая, с повелительным взором глазок, цвета ореха лещины. Соня Ангелину немного знает и даже побаивается. Громкая она, голос у нее грачиный, как у строгой учительницы. Как Соня от самой Ангелины слышала (в паломничестве в одном автобусе оказались), та, будучи тридцати семи лет от роду (старше Сошки, но выглядит моложаво), собралась вдруг выходить замуж и ребенка рожать. Только вот жениха не было.

Ангелина встала прямо перед Соней, в притворе храма, и изрекла. Сделав витиеватый и, вместе, робкий, какой-то буратинистый, жест ручками.

– Ты, Софья, чего – ничего в приходскую газету не написала?

Соня даже вздрогнула. Она не смогла вспомнить, когда и о чем Ангелина просила написать.

– У меня голова болит... – невпопад ответила Сошка.

– Юмористка ты! –с сердцем сказала Ангелина и стушевалась прочь.

«Бунтует, – подумала тогда Сошка. – Климакс у нее начинается, ей срочно рожать надо, а то с ума сойдет. Помолиться, чтобы у нее сыночек родился, что ли?» Затем спохватилась, даже краской залилась. Всплеснула руками, и быстро-быстро щеки закрыла. «Ах, у нее же мужа нет... Хотя какой там муж, в сорок-то лет...»

*

Соня к семейной жизни никак не относилась. Она и при маме-то не отдыхала толком, а тут муж и дети. Как только Соне вспоминалась семейная жизнь, перед глазами мгновенно возникали – Вероника Феликсовна, Вика Маратовна и Маргарита Леонтьевна. Вне очереди.

*

На следующий день пришлось воскресенье. Ангелина снова возникла перед Сошкой, но уже мирная. Оглядела нарядную Соню с ног до головы, так, вскользь, в рамках приличия. И заявила, довольно мягко, однако с прежней повелительностью:

– Ты вот что, Софья... Приглашаю тебя на венчание... Мы с Олегом Романовым, ну, сыном

Вики Маратовны... И еще Ирочка Романова, с алтарником Антоном Темкиным... И еще Лариса Серегина, дочка Вероники Феликсовны с регентом Андрюшей венчается... В среду, перед Сретением... Приходи... И заметку напиши, обязательно.

Венчание – хорошо; Соня даже обрадовалась. Вот так частичка священной радости поселится и в Сошкино сердце, только про то никто, никогда и ни при каких условиях не узнает. А обложка – на то и обложка. У Сошки она уже отслаивается, как переводная картинка в теплой воде. Заметку Соня напишет, хоть в стенгазету.

*

Олежеку Романову – двадцать три года, Ангелине же – полных тридцать восемь.

Было время, когда Олежек работал под началом Ангелины в приходской газете, журналенком. И был момент, когда номер вышел, и деньги в качестве гонорара выписали. Олежек, не того слова, все деньги взял и... уехал поступать в Свято-Тихоновский. Теперь вот скоро заканчивает. Ангелина тогда очень огорчилась. И Сошке, как человеку далекому от внутренних кругов Алексеевского подворья, пожаловалась:

– Мужчины всегда были моими друзьями... Помогали. А тут...

И протянула как-то заученно, по-детски грустно:

– Но я проща-а-аю.

«Вот мы все так прощаем, – подумала Сошка. – Надо по-другому. Любить надо».

Вот такая вот – любовь.

*

Не кончились святки, а Сошка слегла. Первые дни лежала почти сплошь весь день, завернувшись в одеяло, и никому не позвонила. Зачем? Не хотелось, чтобы песком мозги промывали. Затем Соне полегчало, даже кашу гречневую с аппетитом поела. К Богоявлению совсем поднялась, и даже до храма доехала, на троллейбусе. Однако, увидев огромную череду возле аналоев, несколько смутилась и отползла к стеночке: нет, не выстоять в такой духоте. Тут и на скамеечке уголочек освободился: Сошка присела. И молилась, себя забыв, до самого Великого Славословия. Однако потом как проснулась: заторопилась к выходу, домой. Слабость сильная. Да и поесть надо. По дороге к остановке купила в ларьке хлеба и пакетик сока, тут же и съела. Дома еще картошка дожидается.

К Литургии Сошка приехать не смогла. Лежала, сонная и ленивая, и смотрела в потолок. Молилась, конечно, сколько могла. Долго молилась. И не помнила, о чем молилась-то. Все перед глазами вчерашние лица: Ангелина Кречетова, Вероника Феликсовна, Вика Маратовна, Олежек, Лариса, Ирочка. Когда слабость чуть отступала, поднималась, заваривала чай. Даже макароны сварила, на сковородке. Температуры не было, сил – тоже.

*

«Господи мой, Господи! Как же это получается, чтобы терпеть все то нечаянное зло, которое вдруг, и так основательно выливается на нас, руками таких близких и милых людей. О которых и думать-то плохо нельзя. Перед которыми душа моя должна стоять на коленках... Отец Игнатий, верно, думает, что я сильная. Как-то заявил, так прямо: «Вы только с виду немощная! Вы – сильная!» А я, мелкая сошка, силы этой вовсе не чувствую и о ней ничегошеньки не знаю, и не нужна она мне, сила эта. Не юродивая, и виниться особенно не в чем. У меня даже гордости не осталось, мной пол мыть можно. Вот протрут меня до дыр, там и... на покой. Господи, все, что я знаю: Ты человека не выбрасываешь. Выбрасывать и забывать, как болеть и убивать – дело человеческое».

*

«Не надо – среди чужих хлопот и в больнице. Надо тихо и кротко, дома, как мама. На своих ногах. Господи, Ты знаешь лучше меня, как надо. Говорят, пшеница созрела. Да теперь, верую, и

зеленая – в меру спелой идет. Время-то... Как во все времена. Только более легкое. Воздуха нет совсем. Очень легкое время, без воздуха. Промысел тут особый.

Я вот скоро всех увижу: маму, отца. Увижу, где они, и, может, мама для меня какой-то сарайчик выпросит. Кого еще увижу? Писателей и поэтов любимых, это точно. И святых увижу, как богач – Лазаря. Господи, чтобы Святые Твои милостивыми ко мне оказались! Вот хорошо-то будет! Вот праздник! Святость, мир и благодать».

*

Сошка, конечно, когда совсем плохо стало, позвонила. Болящей одной, из храмовых знакомых. Знакомая заохала и приехала, скорую вызвала. Скорая приехала, а Сошка, вымытая, в чистой рубашке (пока знакомая ехала, Соня и помыться успела) – уже задыхалась. В больницу не повезли, дома скончалась.

*

Венчание состоялось, мирное и благостное. Гости принесли невероятное количество белых цветов, просто море цветов. Все светлые, будто белые. Холодноватые и дорогие каллы, как множество снежных королев, покоились в вазах и пятилитровых пластиковых канистрах из-под артезианской воды. Розы, тоже многочисленные, неврастенические героини цветочного бала, чуть растрепанные, покачивали шелковыми уборами в такт присыпанному печалью ритму торжества. Будто не свадьба, а похороны. Венчал отец Игнатий. Тихо так венчал, пел почти одними губами. Ангелина и Олежек шли первой парою. Она – в молодежном платье, в веночке из живых гвоздик, тоже белых, в оренбургском платке на плечах. Он – в аккуратном и будто обычном костюме, при галстуке.

– Исайя, ликуй!

Вероника Феликсовна за праздничным чаем в трапезной прочитала целую поэму, правда, небольшую. О том, как матери страдают и радуются одновременно, предавая детей семейной жизни. Маргарита Леонтьевна бегала тут же на своих сухопарых ножках, щелкая фотоаппаратом и скворчала: «Батюшка, благословите, в кадр...». Вика Маратовна сидела и длинно, чуть таинственно, улыбалась. Она одна знала, что уже заказаны билеты на самолет, на Великий Четверг, в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь за Благодатным огнем.

*

На Сретение раннюю обедню служил отец Арсений. Служил с особенным настроем: любимый праздник, годовщина! И все казалось ему, что на клиросе народу больше обычного. И будто Сонин голос: тихий такой, маленький. Вот там, у окошка, она и стоит.

Так бы и закончилась чуть грустная повесть о мелкой Сошке, если бы отец Арсений после панихиды не отправился в нижний храм венчать молодую пару, и среди голосов певчих вдруг ему почудился снова голос Сони Гончаровой:

– Исайя, ликуй!

Валерий ЧЕРЕШНЯ

После Греции

1. Вместо эпиграфа

Страх насовсем попасться в плен
наплыва ясности минутной
подсунуть норовит взамен
слова, в их яркости лоскутной.

Люби их полновесный блеск,
на радость людям расцветивший
холодный и немой отвес
над пропастью, их породившей.

Лови их светоносный блик,
сумасводящую природу:
надёжность суши – только вскрик
материков, ушедших в воду.

Как новый Одиссей, плывёшь
и, с болью слушая сирену,
в сладчайшем пенье узнаёшь
первоначальную подмену.

2. Море (бык и Европа)

Волненье у прибрежных скал,
вихрастой страсти пенный оттиск.
Горбатый зверь воды кусал
веками выступ скальной плоти
и выгрыз полость для себя,
под стать своей настырной сути.
Там, закругляясь и любя,
смиряется волненье мути, –
чиста, спокойна, холодна
вода, ликуя бликом в гроте,
даёт смотреть себя до дна –
плод страсти на её излёте.

Валерий ЧЕРЕШНЯ родился в 1948 году в Одессе. Окончил Ленинградский институт связи. Живет в Санкт-Петербурге. Печатался в журналах «Волга», «Дружба народов», «Звезда», «Октябрь», «Постскриптум» и др. Автор поэтических книг «Другое время» (1996), «Пустырь» (1998), «Сдвиг» (1999), «Шепот Акакия» (2008), книги эссе «Вид из себя».

3. Дельфы

Крутой амфитеатр гор
сжимает маленькую душу
венцом величия. И рушит,
выманивая на простор.

Развалин ветхий разговор,
вплетаясь в громогласный хор
вершин нависших, дорастает
до слуха. В трещинах колонн
то, что зовётся Аполлон,
как в прочном доме обитает.

Парнас в сиянии проплешин
приластившихся облаков.
Там сонной вечности альков
от любопытных глаз завешен,
а в нём, беспечностью изнежен,
ворочается бог веков.

4. Афины

Ты стоишь на холме.
Вдалеке синева выцветает –
это марево моря тает,
собираясь в чалме
кучевых улетающих джиннов...
Ветер мягко толкает в спину,
пригибая к земле.
Дальний гром.
Громовержца калёным железом
звук вонзается в улиц прорезы
под холмом.
К склонам круч
односложную песню накрапа
подбирает косматая лапа
первых туч.
Входит в раж.
И сплошною стеною ливня
завершает стремительный, дивный
свой пассаж.
А в лицо
брызнет солнце, раздвинув завесу,
виртуозом, сработавшим пьесу,
на все сто.
Всклянь промыт,
отголоском далёкого лада

так раскинут, что лучше – не надо,
весь открыт
город-храм,
где, разнежившись в солнечной лени,
поднимается бог испарений
к небесам.

5. Послесловие

После Греции всё по-другому:
доверяешь пути – слепому,
знаешь, он приведёт тебя к дому,
где событий торжественный ход
возрастанием жизни живёт.

Твоё зрение проще, чище:
этот нищий – не просто нищий,
а всё тот же бедняк Одиссей,
за незнание истинной пищи
расплатившийся жизнью всей.

И теперь, поумерив прыти,
прошиваешь суровой нитью
суету повседневности, видя
не старухи проваленный рот,
а в Аид таинственный вход.

После Греции, после, после...
Как бездарно мы возимся возле!
Только Греции маленький ослик
и выводит на правильный путь,
где даётся сполна хлебнуть

соль скитаний и боль трагедий,
груз чужбины и вкус её снеди,
да привольного моря сети,
так стянувшие острова,
что уловом Земля жива
до сих пор.

Сергей РЫЖЕНКОВ

разное

* * *

не скажи
молчи
не тебе говорить
помолчи
не говори ничего
и не говори

скажи как есть
не молчи
скажи пожалуйста
молчишь?
ты будешь говорить или нет?
в молчанку будем играть?
ты у меня заговоришь
что ты сказал?
скажешь тоже
поговори у меня
разговорчивый

говоря откровенно
теперь я могу сказать все
не могу молчать
так сказать
вот что я тебе скажу
как это сказать по-русски
честно говоря
это как сказать

Сергей РЫЖЕНКОВ родился в Саратове в 1959 году, с 1995 года живет в Москве. Лидер литературно-художественной ассоциации «Контрапункт» (1987-1991), соредактор (совместно с Олегом Роговым) одноименного машинописного журнала. Координатор и организатор литературных выступлений под эгидой этой ассоциации в конце 80-х в Саратове Д. А. Пригова, Е. Шварц, О. Седаковой, А. Парщикова, Н. Искренко, Н. Кононова и др. Стихи публиковались в машинописном сборнике «Прощания» (Саратов, 1980); журналах «Волга», «Вестник новой литературы», «Черновик», «СП», альманахе «Последний экземпляр», поэтических антологиях и сборниках. Книга стихотворений «речи бормочущего» вышла в изд-ве «Арго-риск» в 2000 году.

так и сказал?
говорят
сказано тебе
что тут скажешь
нечего сказать

* * *

[вдооох
выыыдох
задержка дыхания
вдох выдох вдох
задержка дыхания
задержка дыхания

вдохвыдохвдох
выыыдох
вдоооох
выдохвдохвыдохвдох
выыыдох
задержка дыхания

задержка дыхания
задержка дыхания
задержка дыхания
задержка дыхания
задержка дыхания
задержка дыхания

вдоооооооооох
выыыыыыыыдох
вдохвыдохвдохвыдох
вдохвыдохвдохвыдох
вдоооох
выыыдох
задержка дыхания]

* * *

узник ў маскву красавік працать
ўся гэта раздзяпнёнка жыць
цячэ з промывин декорацый
ды не доводзится тужыць

ў исподзямелии прыжмуры
на сцэне як як на сцяне
цэл світ ашрам всі людзі гуру
глядзяць вымытыя оне

в шуканьи калик куликовых
кибальчич казбич кибальчиш
скорогаворствуешь білково
и нукляиново маўчишь

ды ў адпаведнасци и зорка
моментишь шкарлапу жаўток
на атман з колеса вавёрка
ктебетит и трубіт свисток

ды ничога яшча не позна
ци гэто сніцца дзяцелям
ва аднастайно різних позах
ў полях всплываем шершеля

ў иллюминатор позяхая
куря на кожнам паверхе
які підсніжники зрываю
со столи выходзя в пике

есць ў одноразовісти прелесть
роўвна як ды наадварот
а ты як мислишчэ мицелий
пакуль зямлі не повен рот

між перагноишча жилишчна
бязмежна заадность скрозей
ды к перагорнотому днишчу
выйсць ды постій на беразе

* * *

сколько стоят эти слова?
деньгами, властью над душами или так, по аутоэротике?

сколько стоят эти слова?
не думаю что это правильная постановка вопроса
а *сколько стоят эти слова?*

сколько стоят эти слова?
а ты кто?

сколько стоят эти слова?
а они мужские, женские или другие?

сколько стоят эти слова?
переворачиваясь в гробу

сколько стоят эти слова?
начиная расстегивать пуговицы

сколько стоят эти слова?
ну кто так спрашивает
ты улыбнись посмотри прямо и произнеси отчетливо
сколько стоят эти слова?

сколько стоят эти слова
(молча берут и начинают раскручивать)

сколько стоят эти слова?
успокойтесь
сейчас мы во всем разберемся

говорят
во всем я пытаюсь уловить благорастворение невыразимого
а подразумевается
сколько стоят эти слова?
а нельзя просто не подразумевая?
можно:
во всем я пытаюсь уловить благорастворение невыразимого
не подразумевая
сколько стоят эти слова?

мы нижеподписавшиеся в дальнейшем именуемые как кому заблагорассудится (или выпало) признавая себя тремя сторонами настоящего договора принимаем на себя следующие обязательства:
одна из сторон производит более или менее осмысленный ряд звукосочетаний типа *во всем я пытаюсь уловить благорастворение невыразимого* и передать их второй стороне по установлении *сколько стоят эти слова* исходя из средних оценок их способности побуждать третью сторону к выполнению взятых ею на себя обязательств
вторая сторона оплачивает первой стороне стоимость ряда звукосочетаний типа *во всем я пытаюсь уловить благорас-*

творение невыразимого в соответствии с тем *сколько стоят эти слова* и предоставляет возможность третьей стороне выполнить ее обязательства
третья сторона компенсирует затраты второй стороны плюс что-то сверху и по возможности производит не менее одного эмоционального действия (вздох взгляд возглас или др. действие не запрещенное законодательством) либо интеллектуального действия (мысль, воспоминание, стратегическое поползновение и т. п.) по ознакомлении с рядом звукосочетаний типа *во всем я пытаюсь уловить благорастворение невыразимого*
ни одна из сторон не несет никакой ответственности за соблюдение настоящего договора кроме ответственности наступающей согласно высшим правилам

отпускная

н. б. ушедшей

в широком буераке
на даче
глядя в небо
и в кроны берез
лежу на надувном матрасе

ни облачка
листья
местами немного пошевеливаются
те что на верхних ветках
скрутились от солнца

пролетела
поперечно
черная птица
громко и ритмично
поскрипывая крыльями

белые ветки
и что от ствола
и потоньше – от них
торчат в разные стороны
и под разными углами
тонкие темные
длинно-длинно висят

чоор-байка

н. ы.

вздымлен кряжами
снег
пятнисто-бурыми хамелеонными кряжами
плавно-складчатый рвано-граненый снег
в облака
в облака обращаясь
в плывущие в небе сугробы

безлиственный карагач вдоль дороги:
перекати-польная плавная роспись
на невидимках кувшинах
пустых. наполняющихся туманом
снова пустых

в дальней какой не бывает
иссык-кульской дали
белым
небопад: раступаются воды
бело
водостолп: расходится небо

вечереет
сначала у озера
и чуть потом в

Олег ЗОБЕРН

От автора: Три рассказа из книги «Простейшие кормушки», тексты которой объединены тем, что напоминают «инструкции по эксплуатации» чего-либо. Здесь – заметки исследователя звуковых галлюцинаций в метро, пояснения к монографии и советы по чтению одного романа.

Голоса при выходе

Пророк воззвал к народу избранному
и дал каждому колену его – свой цвет...
Апокриф «Видение Харума», 15:5

Однажды я залип в московском метро на зеленой ветке и, доехав до конечной станции, услышал:

– Олежа, при выходе из поезда называй вещи своими именами.

А через несколько секунд еще один голос, ближе ко мне, добавил:

– Эй, парень, приехали, «Речной вокзал»!

После этого случая мне захотелось попробовать залипнуть на других ветках и послушать, что будет. И я стал постигать науку залипания в метро. Её основные правила таковы:

1. Залипать надо ближе к полуночи, когда в вагоне меньше людей и, соответственно, посторонних шумов.
2. Залипать надо за две-три станции до конечной, не позже, тогда успеваешь отключиться как следует.
3. Залипать надо в одиночестве.

Есть ветки метро подходящие для залипания, есть не очень. Например, на конечных станциях желтой и серой веток голоса сквозь сон почти всегда были маленькими откровениями, а на обоих концах салатовой – меня обычно поджидали лишь устойчивые словосочетания и разные неприятности.

Имеет значение, в какой позе ты залип. Следует залипать сидя, и тогда работники метрополитена будят тебя вежливо, если же залип лежа на сидении, то – плохо, работники могут проявить грубость. Если сидя и с открытым ртом – тоже неправильно, можно получить пощечину. А если залип лежа на полу, с открытым ртом, да еще в луже собственной блевотины, то неучтивая побудка тебе обеспечена. В общем, лучше не расслабляться окончательно.

Вот несколько памятных залипаний, положенных на схему линий московского метро, то есть на разноцветные ветки.

Голос наверху красной ветки:

– Олежа, если сослагательное наклонение не применимо к истории, то применимо ли оно к повседневной жизни, к реальности?

Олег ЗОБЕРН родился в 1980 году в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Рассказы публиковались в журналах Esquire (Россия), «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Сибирские огни», «Север», «Дон», Passionate (Нидерланды), Yang (Бельгия) и в др., в коллективных сборниках. Лауреат независимой литературной премии «Дебют» 2004 года. В 2007 году книга «Тихий Иерихон» опубликована в Нидерландах на голландском языке, затем – в России на русском. В 2008 году в Нидерландах на голландском языке опубликована книга «Тризна по Яну Волкерсу». В 2009 году на русском языке опубликованы книги «Карадагские лисички» и «Тайная страсть к БП», готовится к печати книга «Простейшие кормушки». Живет в Москве.

Голос внизу голубой ветки:

– При выходе в предопределенность, Олежа, ты должен работать над собой.

Голос наверху малиновой ветки:

– Олежа, ты опять ходил во сне в носках, но без ботинок.

Еще один голос наверху малиновой ветки:

– В самых лучших своих проявлениях человек залипает одноразово, как презерватив.

Еще один голос наверху малиновой ветки:

Олежа, при выходе...

Ой, что-то я действительно залип на малиновой ветке. Надо переключаться на другие. Итак, голос внизу зеленой ветки:

– Пассажир, произноси осмысленные звуки, но помни: человек рожден не для того, чтобы вскрикивать «ой» после каждой фрикции.

Голос внизу красной ветки:

– Мама, не бойся, я ослеп.

Голос наверху желтой ветки:

– В такие дни сквозь наши игольные уши идут целые караваны верблюдов, но куда, куда они идут?

Голос наверху серой ветки:

– Они идут обратно.

Со временем я научился вступать с вагонными голосами в диалог.

Голос внизу желтой ветки:

– Олежа, люди жрут не от неизмеримости глубины счастья.

Я:

– Надо также уточнить, что люди жрут спонтанно, но настойчиво.

Голос что-то ответил, и я долго беседовал с ним, уже не помню, о чем, но помню, что было поздно, поезда в центр не ходили, денег на такси у меня не хватило, пешком идти домой было далеко, и я дожидался открытия метро, дремля на какой-то скамейке возле станции «Битцевский парк».

Женский голос внизу серой ветки:

– Олежа, при входе на детскую площадку не забудь погулять с малышом хотя бы до половины пятого.

Как-то раз я залип внизу салатовой ветки – из чувства протеста, потому что на ней никогда не слышалось ничего вразумительного и слова складывались в чепуху, не имеющую отношения к моим проблемам. Но тогда – одна проблема вдруг оказалась озвучена:

– Олежа, это станция «Зябликово». Не забывай: на твоем лице не стигматы, а побочные явления. Нельзя есть столько мускатных орехов...

Я хотел возразить, что эта сыпь на коже – просто от нехватки света, что мне нужно больше бывать на солнце, – но не успел. Кто-то проорал мне прямо в ухо:

– Вставай, пидарас!

Я хотел ответить, что я не пидарас, а, возможно, чей-то брат и отец, только не помню, чей. Я с трудом открыл глаза и увидел, что передо мной стоит пророк Моисей в сияющих одеждах. Я вытер пену с губ и спросил его:

– Моисей, а каково важнейшее из качеств Господа?

– Он всегда может залипнуть сразу везде, – ответил Моисей. – А теперь, Олежа, встань и иди, пора тебе покинуть московскую подземку...

С тех пор я стал залипать в самых разных ситуациях: за несколько секунд до оргазма и на гражданской панихиде, перед дождем и после дождя, перед зеркалом и на презентациях книг неизвестных современных поэтов, на расстоянии полета стрелы и наобум, навскидку, напрочь, по образу и подобию.

Еще раз о монографии

(Двадцать пять уточнений)

1. Последнее время студенты часто просят меня пояснить некоторые выводы, сделанные мной в монографии о мало изученных аспектах монархического сознания современных россиян. Начну вот с чего: меня удивляют попытки найти в этой работе *географическое соответствие*. Как могут соответствовать одна другой несколько дач, квартир и московских кофеен, где я беседовал с историками, политиками и философами, многие из которых – видные современные монархисты? Сейчас мне трудно вспомнить даже последовательность тех встреч, не говоря уже о малозначимых деталях контактов с респондентами.

2. Я выступаю не против объективной памяти (хотя способность забывать не менее важна в науке, чем в искусстве), а против стремления иных структуралистов найти в расположении мест встреч некий второй план, который, по их мнению, должен проступить между строк на страницах моей работы, если посмотреть ее на свет. Напрасно, я не пишу ни молоком, ни иными не-чернилами.

3. Если вести отсчет этапам фиксации нюансов современной монархии на языке километража, названий улиц, погодных условий, состояния здоровья, высоты над уровнем моря и т. д., мы рискуем остаться с этими данными исключительно на материальной стороне планеты единовластия (см. таблицу на странице 56).

4. Главу №5 в последней редакции монографии я закончил так: «...спокойное стремление к удовольствию (неприятие голой реальности, наносная пассивность), музыка и смех, губы накачаны ботоксом» (уступка лапидарности политолога Т. К.[1]).

5. В общем, после публикации монографии меня преследует гнетущая однозначность трактовок.

6. Широкий резонанс получило высказывание депутата Государственной Думы П. Е., которое я упомянул в работе: «Господи, ты не придумал ничего лучше чужой жены». Да, на первый взгляд это высказывание не имеет отношения к теме исследования (отсутствие причинно-следственной связи в нескольких абзацах до него и в нескольких после), но тут важны сами *рамки трагедии* в изучении монархического вопроса, с подачи респондента раздвинутые мной в той мере, которая не противоречит совести.

7. Реакция на укоры литератора А. Ф.: о какой простоте идет речь, если до сих пор никто не может ясно ответить даже на такие достаточно прозрачные вопросы, как «повзрослел ли он?», «любое сравнение – основа ли тщеты?» и «где дом Ипатьева?».

8. Словосочетание *тотальный комфорт* в сноске на странице 242 выделено п/ж, поэтому соответствующая глава в монографии – вовсе не пособие для начинающих эстетов-глобалистов.

9. Признаться, меня весьма огорчило то, что в университетской среде возникла вот такая хмурая ложь: якобы я пил со своими студентами кровь кота, чтобы во время сеанса столоверчения выяснить у духа Бориса Ельцина, кто из живых российских политиков наиболее соответствует образу истинного русского императора.

10. Мы не будем обсуждать проблему монархии относительно холуйства, эгоизма, безнравственной старости и алкогольных надежд, хотя в беседах со мной студенты – после прочтения монографии – часто затрагивают именно эти темы, – боюсь, просто не хватит времени.

11. В главах №13 и №14 я солидарен с философом В. Г., сравним: «стероидный качок + гуманизм» и «Свенельд and Свенельд».

12. Я пока что остановлюсь на *теории профиля*, которую, судя по всему, проработал в монографии не до конца.

---

[1] *В монографии имена и фамилии респондентов указаны полностью.*

13. Итак, я подхожу к доске и мелом схематично изображаю на ней человека. Над его головой я латиницей пишу фамилию действующего президента РФ, затем обращаюсь к аудитории: «Друзья, это – президент в фас, а хотите увидеть, как он выглядит в профиль?» Естественно, все этого хотят. Рядом с человеком я провожу мелом линию такой же высоты, что и человек. «Вот президент в профиль, – продолжаю я, – а знаете, почему? Потому что он сделан из довольно плотной бумаги...».

14. Цитирую историка В.К., упомянутого в заключении: «Вернись ко мне, пупс, хоть на секундочку!» Наглядный пример мифологизации времени. Отвратительно!

15. Несколько страниц монографии я посвятил вопросу о *встречных словах*, то есть о тех формах выражения узнавания друг друга, которыми пользуются многие наивные исследователи монархического вопроса.

16. Действительно, я создавал модели отрицания приветственных формулировок, которые легко накладываются на языковую систему, но при этом ничего не предложил взамен воздушных тотемов «привет», «добрый день», «здравствуйте»... Дело в том, что создание таких заменителей – это, пожалуй, все-таки тема другого исследования.

17. Отвечаю на вопрос филолога Ж.В. об акростихе: уважаемый Ж.В., рассмотрите внимательнее список литературы, использованной мной в работе, он пронумерован.

18. Соглашаясь с выводами доктора юриспруденции О. Л. (его статья об усилении централизованной политической агитации в некоторых отдаленных субъектах РФ), я не призывал молодежь к объединению в чувственную коммуну. И не только потому, что подобные союзы нередко распадаются из-за распространения бактериальных инфекций.

19. Еще раз о географии: я не хотел даже пытаться указать место, в котором может вспыхнуть *искра осознания императора*.

20. Усложнение процесса инаугурации еще ничего не означает!

21. На странице 292 я имею в виду очень простую вещь: достаточно создать документ word и написать подряд сто пятьдесят четырехзначных чисел, означающих года, начав отсчет с текущего года, и одно из этих чисел будет на 100% соответствовать дате вашей смерти без дня и месяца. Оптимистический подход: разглядывание этих цифр на мониторе с конца списка и рассеянно, пессимистический – с начала и внимательно.

22. Что касается критики националистических предубеждений: вопрос «От чего нас это спасет?» я считаю неуместным. Мой респондент С.И., монархист, в исследованиях «Держава и так далее» и «Вообще без всего» подробно описывает печальные события, произошедшие 3 августа 2009 года, во время туристической поездки верующих из России, в палаточном городке на горе Синай. Глава №17 – наша совместная работа.

23. На странице 305 я не исказил цитату, а дополнил; высказывание академика Я. М. таково: «Когда в устойчивое культурное поле попадает *манговый десерт развоплощения* (курсив мой. – ***О. З.***), хочется немедленно кому-нибудь отдаться...».

24. Упомянутые в главе №31 респонденты – последовательные люди. По крайней мере, точка отсчета здесь – не гражданская этика, не числовое выражение, за которым всегда избирательное большинство, и не один из насильственных жанров.

25. Вновь я занят бесконечными уточнениями! Обращаюсь к студентам: друзья, любой диалог должен быть – прежде всего – внепонятийным соглашением. И последнее: я надеюсь, что и монография, и данный текст лягут в основу работы нашего университетского сообщества над очищением понятия *император* от дискурсивной романтики во всех ее проявлениях.

Рыбы и мусор

В чем я уверен? В том, что вечно
длится только мгновение выбора.
Густав ван дер Векен,
из трактата «Задремавший Ангрихон»

Почему моя жизнь проходит то в спячке, то в горячке? На этот вопрос я пытался ответить в романе «Розовые кони зари и гнилушки на болоте», который был переведен на голландский язык и опубликован в Нидерландах, где успешно продается. Однако я решил не публиковать роман в России, сомневаясь в том, что российский читатель одобрит его, ведь прослыть у себя в стране автором посредственного романа – это скверно, это несравнимо хуже, нежели, к примеру, автором бестолкового рассказа. Книга «Розовые кони зари и гнилушки на болоте» востребована в Нидерландах потому, вероятно, что повествует (от первого лица) о неведомой там жизни, об этнических дикостях и несуразицах, которые неинтересны россиянам, и так навязчиво окруженным ими в реальности. К тому же, с помощью романа мне не удалось внятно ответить на вопрос о спячке и горячке, по-настоящему близкий моим соотечественникам, а не голландцам с их прохладной рассудительностью. И в виде компенсации любопытному российскому читателю за то, что скрыл оригинал романа, я изложу в этом рассказе гораздо более сокровенные поделки воображения, нежели отшлифованные главы «Розовых коней зари и гнилушек на болоте». Это – не включенные в роман зачатки сюжетов, связанные с ним, как, допустим, рыбы-прилипалы – с крупным китом, или как орбитальный мусор – с миниатюрной планетой. И еще надо уточнить, что некоторые из них, к сожалению, мной забыты.

Итак, сначала я не собирался писать роман, а всего лишь задумал рассказ под названием

ДВА ЧИЗА

Эти два слова мой герой (от второго лица) должен был произнести во время первой встречи с девушкой, которую полюбит. Он средних лет, лейтенант ФСБ, зашел перекусить в ресторан «Макдоналдс» и говорит ей эту фразу. Она – в клетчатой красно-черной рубашке и такой же кепке – стоит за кассой. Собственно, «два чиза» – это как-то услышанный мной заказ еды, который в развернутом виде звучит так:

ДВА ЧИЗБУРГЕРА, ПОЖАЛУЙСТА

Согласитесь, такое название бесспорно проигрывает предыдущему. Я поместил его в этом тексте не только как простодушный пример банальности, здесь оно также – волшебно становится названием несуществующим и существующим одновременно и прямой речью, которую никто не произнес, но которая произносится на многих языках бессчетное число раз в закусочных по всему миру. Так вот, мои герои знакомятся, и две недели им хорошо вместе, после чего лейтенант вдруг бросает девушку, узнав, что за несколько лет работы за кассой и в кухонном чаду она так и не стала «работником месяца», то есть на ресторанной доске почета ни разу не была помещена ее фотография, потому как девушка время от времени просыпала свои утренние смены.

Создать таких героев в таких обстоятельствах и придумать для рассказа достойный финал – грустный и обаятельный – было бы, конечно, занятно, в итоге моя работница могла бы даже проявить не свойственный ресторанным трудягам креатив: разыскать лейтенанта, окормить его ложными опятами и, одурманенного, удавить длинным шерстяным шарфом, шепча «проказник, проказник...», – но этот сюжет я забраковал, потому что помещать в центр повествования ресторан «Макдоналдс» – неправильно. Здесь надо заметить, что мастерами Российской Литературной академии недавно был составлен список тем, которых современный российский литератор дол-

жен избегать, так как они приводят авторов к той бойкой, но бескровной манере письма, которая даже хуже откровенного графоманства. Под запрет попало и всякое упоминание ресторанов «Макдоналдс». Вот для наглядности еще три опасные темы из этого списка: патриотизм, политика и обычное семейное счастье.

Я давно подумывал написать о том, как одно время зарабатывал тем, что создал ночной экскурсионный маршрут по лесбийским местам Москвы и, когда большинство гетеросексуальных обывателей спало, водил интересующихся к памятнику Есенину на Тверском бульваре, где тусует низшая каста городских розовых, в дом-музей Марины Цветаевой, где водятся более начитанные и химерические приверженки того же ордена пальца и языка, в некоторые интересные кафе, салоны, альковы и за некоторые бархатные кулисы. Назвать рассказ я хотел так же, как и маршрут:

РОЗОВЫЙ ГАЛСТУК

Но и здесь не сложилось, я вовремя сообразил: хотя лесби такие классные, хотя я их очень люблю и не хочу скрывать эту страсть, но тема все же слишком пикантная, меня можно будет упрекнуть в провокативности, а жаль, ведь развязка рассказа «Розовый галстук» уже грезилась мне во всей своей непредсказуемой красе.

Я стал думать, какие новеллистические цвета могут заменить розовый, и остановился на следующем названии:

ЖЕЛТЫЙ СНЕГ

Ситуация такова: с подачи путинско-медведевского правительства российские ученые создали маленькую кварковую бомбу, опередив ученых других стран, и минувшей зимой испытали ее на полигоне в Подмосковье. В результате я проснулся на своей даче рано утром от страшного грохота и чуть позже своими глазами видел, как в поселке выпал снег лимонного цвета, из которого дети принялись лепить снежных баб, видел, как поселковые собаки, нализавшись желтого снега, все передохли к вечеру. А в российских СМИ не было сообщений ни о взрыве, ни о странном снегопаде, потому что путинско-медведевское правительство решило утаить от мировой общественности этот негуманный эксперимент. Такую красочную хронику очевидца можно было легко продать в какой-нибудь гламурно-политический европейский журнал, но я одумался и не стал позорить родину.

Продолжая соотнесение фабул с палитрой, я попробовал применить зеленый гринписовский колер и замыслил рассказ под названием

НОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Это мог быть рассказ о том, как я ненадолго возглавил новое учреждение – Департамент поддержки и развития велосипедного транспорта города Москвы – и с каким чудовищным непониманием столкнулся, пытаясь убедить москвичей пробудиться от брутального фрейдистского сна и покупать к лету велосипеды вместо больших неэкологичных автомобилей.

Писать об этом я не стал из-за того, пожалуй, что название «Новый департамент» напоминает обычный газетный заголовок, а другого на ум не шло. И вот последнее не пригодившееся мне название, самое громоздкое из всех:

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОДЖИГАТЕЛЬ БОРДЕЛЕЙ,
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ЕГО ВИДЕЛИ СПЯЩИМ,
НО ЭТО НЕ БЫЛ СОН ПРАВЕДНИКА

Пояснять не буду, проявке абриса сюжета здесь способствует многословие.

Временами, надеясь, что название подвернется позже, я сочинял первые безымянные предложения. Вот одно из них: «Как все-таки трагична сама суть партизанщины, когда пылкая убежденность...» Окончание не помню, но исправленный вариант был таким: «Любой партизан во все времена – это отщепенец, и не важно, счастлив он, либо всю жизнь его неусыпно преследуют дремучий страх и убожество». Так мог начаться рассказ о какой-нибудь современной российской подпольной партии, но эта тема мне быстро наскучила.

Я написал несколько десятков подобных первых предложений, и самое тупое, к моему стыду, состояло из одного-единственного слова «охренеть», а самое социально-гендерное было таким: «В России до сих пор выгоднее быть сонным мужчиной, нежели бдящей женщиной».

И если первые слова рассказа чередовались долго и тягостно, как сны алкоголика, то финал – универсальный для большинства этих сюжетов – возник сразу после того как я передумал писать от второго лица историю о «Макдоналдсе» и смерти полоумного лейтенанта и походил он на некое «возвращение в кубе»: главный герой Олежа, устав от самого себя, должен был в горячке уехать в австрийский городок Zobern и впасть в спячку размеренной жизни бюргера до конца своих дней. Я отказался от этого финала только когда понял, что буду писать роман, а не рассказ.

Таковы мои разъятые соображения, близ которых сформировался роман «Розовые кони зари и гнилушки на болоте», и теперь они претворены в иные сюжеты, и, повторю: обо всем этом – в романе мало что напоминает.

Что же касается насущного вопроса о спячке и горячке, то здесь мы все-таки видим прогресс: в романе мне не удалось лаконично задать его себе и читателю, там он растянут на четыреста страниц, а в простом рассказе, как видите, я сделал это без труда в первом же предложении, то есть, говоря наукообразно, предельно точно очертил проблематику. При этом в пользу романа добавлю, что я, хоть и не разобрался со спячкой и горячкой, ответил в нем на другой серьезный вопрос: насколько антропоморфен Господь? Суть ответа приблизительно такова: настолько, насколько правдиво физиологична русская присказка «пойдут клочки по закоулочкам».

Под конец этого рассказа надо упомянуть о трудностях перевода. Вот неминуемая проблема: в голландском языке нет аналога слова «гнилушки», что вместе с другими подобными неувязками принудило переводчика к многословию и – местами – муторной нескладности образов, поэтому я не советую российскому читателю, владеющему голландским языком, читать роман на голландском, вместо гнилушек там то ли пеньки, то ли трухлявые доски, а о том, что эти эрзацы могут источать в темноте таинственный бледный свет, – нет и речи. Или такая трудность: слово «девка» заменяет mokkel, означающее «шлюшка», – согласитесь, не одно и то же.

Так что пусть проницательный читатель, если ему интересно, попробует разглядеть в зарисовках, которые я не без трепета и сомнений изложил здесь, очертания самого романа, как угадываются среди звезд – зодиакальные лев или стрелец[2], а в печатных знаках – живое слово, и так могут быть достигнуты по крайней мере две ясные цели: мой российский образ автора сохранит верность комфортному жанру рассказа, а читатель получит гарантию, что не разочаруется в моем романе, ведь полнота картины будет зависеть в основном от его собственного воображения.

[2] *Причем, если сосредоточиться, нет сомнения, что виден лев, а не львица, и в мускулистых руках кентавра различимы лук и стрела.*

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Тысячеглазая толпа

тычется чуя обученная чудом шарахается
нос в шрамах коленки трясутся сумки
скулит беззвучно пропал пропойца
приёмный плачет хозяина запах не слыша
моя слепая собака

Личная песня

Себе

замечаю что с каждым годом
всё больше становлюсь похожим
на отца нетерпимым молчаливым
жестоким к себе обращённым
как начищенная обувь отца
изо рта запах манит зовёт
всё чётче нестерпимее громче
звучит во мне моя песня моего отца
догони его чёрт догони мне
моё нутро говорит да короче
~
вот дом
вот сад
вот я
~
вот дом
вот сад
вот я
~
вот дом
вот сад
~
(вот)

пире атте-анне пêр турâ

ЗАТКНИСЬ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ родился в 1979 году. Кандидат философских наук. Живет в Чебоксарах. Публиковался в журнале «ЛИК», в альманахах поэтических фестивалей «Скандинавия – Волга» и «Скандинавия – Поволжье», сборниках «Топос» и «Tric trac», в шведском журнале «ARIEL», в интернет-журнале «TextOnly», в электронном журнале «РЕЦ». Автор малотиражных книг стихов «Автопоэзис» (2004), «8 стихотворений» (2005), «Желтые стихи» (2007).

Мама

вхожу в дом — говорю здравствуй мама я приехал — и навстречу выбегает девочка — мамина новая дочка — с двумя головами буквой V — сестрёнка моя — в новой красивой одежде — мёртвая голова серая с посмертной маской боли — радостная — бросается ко мне в объятия — прижимается — и смеётся от счастья — вместе со мной

КУЖАК

В Духе Образа Перед Никем

Огонь угомонь
и
стая, как птичья,
проволочных душ,
что
отыщется приют им
как вам.

Всем, а нам на ладонь грех,
вот как
малина вылитая,
но
пережить ремесло смертного
в духе образа перед никем.

Весенним Синим Молоком

Боль окрика света,
перерождение в нотной грамоте улиц,
надежда табачного дыма
при тающих возможностях организма –
вот,
дерево, с куском лица пирожьего,
или как,
капля за каплей
собираются в доме сумерки
ууууууууу
гад
ай
и глаза

КУЖАК родился в 1979 году. Окончил факультет журналистики ЧГУ им. И. Н. Ульянова, живет в Чебоксарах. Публиковался в республиканских журналах «ЛИК», «КИЛ», «Меценат»; сборниках «Топос», «Tric Trac», в электронном журнале «РЕЦ». Выпустил два малотиражных сборника стихов «Автопортрет с Богом на заднем плане» (2004) и «Жизнь в берлоге» (2005). Отдельные произведения переводились на чувашский и шведский языки.

и что они говорят
наполненные пейзажем,
как
смелые ладони

весенним синим молоком.

Но проклятых количеством безголосия

Все зависит от курса ветра,
сломанных стульев, часов,

и
как
ярость цветения женщин,
вот как свет драгоценных тел,
прозрачность Хельги и прозрачность
песен из ее ума –

однородно зависимо
и
теперь и далее.

Человек – дрессированная лошадь.
нам терпеть и
вам коняжиться,

а так
и будет, что и провожать других
не данных,
но
проданных.

В голове не укладывается
вид запустенья,
порок отсутствия жизни,
любовь к мертвым вещам
и
вид неприжитости –

на месте зачатья, что
как
и
расставания не данных,
но проклятых количеством безголосья.

Гоша ИГОРЯН

Д.О.
Ночь на водоёме

на рыбалку с ночёвкой
деревенские мальчишки
в табачный кризис с собой берут
дедушкин самосад
и рябиновый самогон
чтобы не дремать

поздно ночью
в соседней деревне пожар
машины с сиренами

на водоёме тихо и мирно
изредка плещутся рыбы

в шалаше из соломы
тепло и уютно
в углях запекается картошка
летучие мыши
звёзды

рано утром
космические корабли
исчезают среди облаков

рыба ловится у самого берега

в городах бензиновые лужи
и концерты рок-звёзд
на кассетном магнитофоне
села батарейка

хлеб давно уже съеден
надо накопать навозных червей
и сбегать на родник

в живых деревенских
осталось не так уж и много

на кладбище в симек
я хожу между могил
смотрю фотографии
и пью сладкую воду

Гоша ИГОРЯН родился в 1978 году, в 2000 году окончил факультет журналистики Чувашского госуниверситета, живет в Чебоксарах. Публиковался в журналах «ЛИК», «КИЛ», альманахах «Скандинавия-Поволжье», «Топос». Выпустил авторские сборники стихов «Бутик непризнанной одежды» и «Гласные и согласные». Несколько произведений переведено на чувашский и шведский языки.

Безличное

Всё зависит от рук твоих

Какой изгиб примут пальцы

Преломлённые в свете луны

Поверь

От дыхания зависит не меньше

А от света в глазах твоих

Зависит

Вся моя жизнь

кафе самарканд

столица пфо
нижний новгород

в кафе самарканд
на октябрьской
блюда готовят на живом огне

там работает русская девушка
я влюбился в неё
она смуглая
с тёмными длинными волосами
и горящими глазами

когда она подаёт шурпу
я замираю

когда она подаёт манты
у меня дрожат руки

когда она произносит
сметана майонез кетчуп
я боюсь расплакаться
и говорю хозяину заведения
что люблю узбекистан

он подаёт двести грамм
дербентского коньяка
мне и моему другу из казани

мы пьём чудодейственный напиток
говорим о литературе
кино музыке деньгах
татарских русских чувашских девушках
и жадно потягиваем иранский табак
который мне привёз из сирии
сосед по лестничной площадке
он учился в иерусалиме
служил израильской армии
теперь вернулся домой
по его словам
нет ничего лучше дома

Анастасия УСАЧЕВА

* * *

Когда – тихо, идёт расследование – дождь,
он не ждёт ни речистого очевидца, ни приступа добросердечия
с его стороны – дождь, чуть в отдалении от тебя,
слушает собственные шаги и ход их уже ни с чем
не сверяет, а ты – не спутаешь: дневные потоки схлынули;
но не поэтому. Ты думаешь, сколько разных
жизней можно восстановить, вот так стоя и стоя
за мягкой сеткой; сколько розных – нельзя. И до этой ночи
всё было перебор; лишь? – «публика, впрочем, валила»:
телесность – отчаянный, вечный
неофит, преемник такого же упованья.
Заводь, медленно, заглатывает густой блеск,
сом-переулок выгадывает корягу.

* * *

В бутылке из-под кефира ветвь, ветвь.
Жмых радостей собирается в опущенный уголок.
Перезимовавшее, поэтому только вверх,
покосившись, тянет культяпы пугало.
Дела его непонятны, а птиц – полно;
грачи кричат в предчувствии маляра.
Зато пугалу, затопленному волной
сырого ветра, можно без веера.
Что было? Плакал ночами волк,
другой, сверкала клыком луна.

Анастасия УСАЧЕВА родилась в 1982 году. Закончила Саратовский государственный университет, кандидат филологических наук. Публиковалась в журнале «Воздух», автор книги стихов «Преувеличение слуха» (2008). Работает переводчиком, живёт в Саратове.

Что будет? Флора встряхнёт совок
семян и лапы помоет фауна.
В эту чистоту, пугало, и дано
тебе ввергнуться: довольно ты стерегло
залу зимы – будущее панно
с золотыми колосьями, когда они серебро.
Пугало, чего жаждешь ты? Где твой ватник?
Возьмёшь ветку? – уже она зелена.
Иногда хочется лечь под маятник
и чтобы снова зима.

* * *

Проснуться, понимая, сколько прожил.
Начни беречь, как камешки с морей,
любой из этих дней, которых тоже
не отличить, чтоб вспомнились скорей.

Доступно обладанию не меньше
дыханья в собеседнике твоём
минувшее мгновение – измерь же
былое будто лёгкого объём.

Но, прерванный, ты будешь раз за разом
продолженным – не ведая, к чему.
Замены не заметит даже разум,
приблизившись к пустому топчану.

Заснежился, как точно подобает,
проулок, чистотою не кичась.
И кто-то третье лёгкое добавит –
бесформенное, рыхлое, сейчас.

Александр ПАВЛОВ

05:30 a.m.

в прорехи звезды запаяет
жестянщик всяких этажей.
земля слипается паями,
не знающими о меже.
просеян воздух ситом сини,
настраивает звук насест.

он – облаками никотинит,
за терпким чаем мысли ест,
как теплых снов язык шершавый
подушку лижет. там – она,
дыханию равна, заглавным
недвижным чарам отдана
еще на полчаса до света.

...приветившее босиком,
разбуженное бабье лето –
глотает утра нежный ком...

по кольцевому маршруту

троллейбус доезжает до конечной
будильник останавливает сон
малыш садится на горшок привычно
по улице бредет церковный звон

спит облако на уровне предплечья
туман из голых веток лепит хруст
небесное вдыхает человечье
и время года грусть

и др.

друг наливший алушты летишь ты шаром вкатившись в страйк
сам как кегля помяты бока от ударов
не прочитан не стар и неведомо станешь ли старым
под носком неуклюже выкорчеван клондайк
лепота по небу слова звенят тоньше струн
депрессивное облако заволокло но окон
две спасительных рамы между не юн еще и уже не врун
резонансно цокают поко-поко-поко о цоколь
пуд воздушной подушки сердцу внемлет и вакуум
между-реберным цюрихом кофе остудит о воздух грубый
спят иегова иешуа иеронимус аввакум
ночь теряет гражданство беглой девкой
облизывая треснувшие губы

Александр ПАВЛОВ родился в 1961 году на Урале, закончил Нижегородский лингвистический университет, переводчик, журналист. Лауреат Международного конкурса поэзии «Муравей на глобусе» (2006) и ряда сетевых конкурсов.

Разговоры с Андреем Пермяковым*

Андрей ПЕРМЯКОВ – Виталий ПУХАНОВ

– Начнем, пожалуй, с цитаты из Вашего стихотворения:

Когда бы нас подняли по тревоге
И сколотили в серые полки.
Мы были бы тогда не так убоги,
Не так от этой жизни далеки.

Со дня публикации прошло уже довольно много лет, но общая «убогость» ситуации нарастает. Есть надежда на изменения в лучшую сторону?

– Конечно, есть положительная динамика, как доктора говорят. Отвечу стихами недавними:

Коренные москвичи –
Ворчуны и стукачи.
Вологжане – дикари.
Самаряне – упыри.
Пензенцы, нижегородцы –
Недотыкомки, уродцы.
А случись опять война –
Мы огромная страна.
Терпеливый и безликий,
Вместе мы – народ великий.

– Можно ли определить цель премии «Дебют» как легитимизацию в литературном пространстве уже состоявшихся молодых авторов? Что вообще есть теперь легитимизация для литератора? Т.е. с какого момента можно сказать, что вот, да: автор присутствует в процессе?

– Я полагаю, автор «присутствует» в литературном процессе с момента, когда написал первые стихи и сказал себе: «Я поэт». Собрал рукопись, отправил в редакцию журнала или на конкурс. Получил публикацию или диплом, или услышал «нет». Мы можем на место слова «стихи» поставить: «повесть», «рассказ», «драма», «эссе». Напомню, что, в отличие от других литературных премий, «Дебют» каждый год вручает награды по пяти-семи номинациям.

Идея профессиональной защиты первых творческих шагов нового поколения русских писателей принадлежит Андрею Владимировичу Скочу, президенту Гуманитарного фонда «Поколение». Искренний порыв одного человека остается фундаментом, на котором целое десятилетие строится работа премии «Дебют». Для современной литературы такой срок – почти вечность. Ни чиновная

** Продолжение рубрики. Предыдущие публикации см.: «Волга», 2008, № 2 (415); 2009, №3-4 (419); 2009, №7-8 (421).*

Виталий ПУХАНОВ – поэт, с 2003 года ответственный секретарь литературной премии «Дебют». Родился в 1966 году в Киеве. Окончил Литературный институт, был первым и последним лауреатом учрежденной под эгидой Литинститута премии имени Мандельштама. На рубеже 1990-2000-х годах был редактором отдела прозы журнала «Октябрь». Публикации в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Континент». Автор трех книг стихов. Живет в Москве.

глупость, ни оговоры коллег по литературному цеху, ни политические встряски, ни экономические кризисы не способны разрушить нашей целеустремленности. Литературная премия «Дебют» принимает на себя основные риски того, что Вы называете «легитимизацией» нового автора. Когда объявляют очередного лауреата, лучшего автора в премиальном году по версии экспертного сообщества премии, тут же раздаются возмущенные голоса: «Почему он, а не другой, почему не я?» Летят камни, да и что помягче и поотвратительнее. Но спорят «голоса», часто анонимные, не с юным лауреатом, а с членами жюри, с экспертами, координаторами, способными профессионально ответить за свой выбор и отстоять право молодого автора на известность и пристальное, доброжелательное или пусть даже недоброжелательное, внимание общественности.

Через некоторое время шум стихает, автора охотно публикуют солидные журналы, он получает другие литературные премии, часто за те же произведения, с которыми «дебютировал». Бывшие оппоненты становятся апологетами таланта. Так постепенно формируется литературная репутация, имя. Процесс «легитимизации» не однодневен. Это медленный, рутинный процесс. «Дебют» остается единственной дверью в литературу, куда талантливый человек может войти с улицы в обуви, часто распахивая дверь ногой. Ничего, она крепко сколочена. Выпускники «Дебюта» дальше сами решают, куда им идти по бесконечным коридорам литературы. Посвятить свою жизнь трудному служению или расстаться с амбициями юности. «Дебют» – это начало, не будем об этом забывать. Финалистов «Дебюта» каждый год на заключительных семинарах в декабре я напутствую одной и той же фразой: «Помните, слава – это когда ваши произведения печатают, не читая, критики пишут восторженные отзывы, не читая, магазины закупают, не читая, и читатель совершает акт самоидентификации в культуре, покупая вашу книгу, чтобы поставить ее на полку на почетное место, и никогда не открыть. Это и есть признание». Дебютанта читают придирчиво, с лупою, не прощают ничего. Спрос с нового автора суровый. Через несколько лет литературный процесс без него уже неполон. Мы не стремимся напоминать сообществу, что тот или иной горячо всеми любимый автор был открыт «Дебютом» в таком-то году. Его успех – наступившее будущее. «Дебют» – это всегда работа на будущее литературы.

– В этом году «Дебют» отметит десятилетний юбилей. На Ваш взгляд, кто из появившихся за эти годы авторов выпал из поля зрения премии? Т. е. пришел в литературу, минуя ее?

– Я сам задаю подобный вопрос коллегам. Слезно прошу: назовите имена, чтобы я лично мог принести свои извинения, что-де «проглядели». Упущенных имен мне никто так и не назвал. Старшим лауреатам сегодня не больше тридцати пяти. Вот и нужно смотреть, кто вошел в литературу, минуя «Дебют», была ли у автора готовая рукопись для конкурса в тот год, когда его земной возраст не превышал двадцати пяти? Возможно, первую полноценную вещь он написал в двадцать шесть... Одно время я терзался совестью, что Захар Прилепин мог стать лауреатом «Дебюта». В 2000-м году я рубил, в бытность редактором журнала «Октябрь», некоего Лавлинского (под такой, кажется, фамилией начинал знаменитый Прилепин). Захар, спасибо ему, снял с моей души камень, сообщив, что в двадцать пять у него еще не было интересных текстов, а в «Октябрь» он прозу и вовсе не посылал.

Ваш вопрос косвенно утверждает, что частная инициатива Андрея Владимировича Скоча спустя десятилетие воспринимается обществом как общенациональная программа государственного значения. Здесь, как и в других направлениях государственной деятельности, у смотрящего смещается оптика: глаз ищет «что не сделано». На «Дебют» общество возлагает ответственность за состояние всей современной литературы. Почетно. Что ж, будем работать. Мы ценим своих лауреатов, следим за дальнейшей судьбой наших выпускников. Если кто-нибудь вошел или войдет в литературу помимо «Дебюта», мы только порадуемся, будем благодарны дружественным структурам, которые помогают молодым. В конце концов, в одной стране живем, на одно будущее трудимся.

– При очевидной успешности премии «Дебют» и ее влиянии на литературу, есть ли у нее какие-либо явные минусы?

– «Дебют» был бы мертвым проектом, если бы не имел недостатков. Пусть их смакуют наши оппоненты. Путь один: делать из недостатков достоинства. Национальный масштаб проекта отражает достоинства и недостатки нашей страны в смутное время ее истории. Мы работаем на будущее литературы, а отчет держим в настоящем. Спасибо, ребята не подводят в ожиданиях. Да, их первые шаги в большой литературе заметны кругу профессиональных издателей и критиков, а массовый читатель не спрашивает в книжном магазине книжки лауреатов «Дебюта». А что он, массовый читатель, спрашивает? Александр Кабаков сказал однажды невероятную и одновременно очевидную вещь: «Дебют» выпускает по одному Букеровскому лауреату в год. В будущем, разумеется. Думаю, фраза Кабакова наиболее точно передает смысл и стиль работы проекта. Далее ответьте себе на вопрос: знает ли, ценит ли массовый читатель Букеровских лауреатов? На него пусть отвечают Шайтанов и Алехин. Недостатки «Дебюта», сколько их есть – плоть от плоти общей ситуации к культуре.

– Если ориентироваться на поток рукописей, поступающих на премию, могли бы Вы определить какие-то региональные особенности современной молодой поэзии?

– В Пскове молодую литературу затаптывает Пушкин, в Таганроге Чехов, в Рязани Есенин... Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск – города с активной литературной самоорганизацией. В последние годы пробудился Дальний Восток. Самобытной прозой иногда выстреливают забытые Богом заводские поселки, военные городки, села. Но поэты, драматурги, критики формируются только в городах с насыщенной культурной жизнью. Мы продолжаем ждать чудес, которые перевернули бы наши представления о литературном бытовании и золотоносных источниках талантов, но современные стандарты художественности оставляют все меньше шансов начинающему автору создать шедевр, не вылезая из своего медвежьего угла.

– Существует ли взаимодействие премии с устоявшимися литературными структурами? Скажем, возможность продвижения авторов для публикации в толстых журналах?

– Врастание в литературный процесс происходит непрерывно: и когда автор молод, и когда дозрел, и спустя годы после физического ухода. «Дебют» важный, но не единственный институт пресловутой легитимизации молодого автора, литпроцесс – цельный механизм, где важен каждый шурупчик, и ни одна публикация не лишняя. Финалисты «Дебюта» не имеют особых льгот при рассмотрении редколлегиями журналов. Редакторам просто интересны рукописи «дебютантов». В нашей отборочной комиссии работают и редакторы, и консультанты толстых журналов. Рукопись из почты «Дебюта» может одновременно оказаться и в длинном списке премии, и в редакционном портфеле. Может быть номинирована толстым журналом из своего портфеля для участия в конкурсе.

– Вообще, насколько велика ныне роль литературных журналов? Очевидно, что они очень долго определяли направление процесса, однако теперь, если судить по тиражам, их значение падает. Это так?

– Значение толстых журналов огромно. Недавно Ольга Славникова принесла мне свежий номер «Знамени» с двумя рецензиями на книгу рассказов «Любовь в седьмом вагоне». Я давно не держал журнал в руках, а у меня хорошая тактильная память, как у слепого. Только журнал коснулся моих ладоней, как я почувствовал, каким он стал легким, как изменилась на ощупь бумага, каким тупым ножом обрезались края. У меня чуть зазнобило сердце, я сказал Оле: «Что-

то нужно делать. Нельзя, чтобы журналы умирали». Сам я работал редактором в журнале «Октябрь», многие процессы изнутри отвратительны, немало слишком человеческого и невысокого в редакторских предпочтениях и мотивациях, но в целом институт толстых журналов для России важен, выполняет государствообразующую миссию, хранит священную языковую и смысловую инертность в названиях предметов и явлений, удерживает зыбкую границу между живой речью и текстом литпамятника. Книжный язык не должен стать мертвым. Без толстых журналов русская литература разбредется по углам: частью в университет, частью по кабакам ОГИ.

– Могли бы Вы выделить один или, может быть, несколько журналов, адекватно представляющих современную поэзию? Или весь существующий спектр изданий отражает различные фрагменты литературного поля, и объективная картина формируется только в результате такого фасеточного взгляда?

– На мой взгляд, наиболее полную картину дает «Воздух» Дмитрия Кузьмина, поскольку, помимо личных вкусовых предпочтений, Дима стремится отразить в журнале наиболее заметные социокультурные явления. Следит за развитием современной поэзии, но не пытается руководить. Я каждый раз удивляюсь, читая очередной «Воздух»: обнаруживаю стихи того или иного поэта, которому, по моим представлениям, ну никак там не место. А Кузьмин создает контекст, печатает, числит труд другого выше своего личного вкуса. Его несправедливо упрекают во всеядности, тогда как это объективный подход, попытка разобраться самому и помочь другим разобраться в современной поэзии. Другие поэтические журналы решают узкие цеховые задачки, у них своя аудитория, круг авторов и критиков, объективности они себе не могут позволить, потому интересны тем, кому интересны. Пожелаем им успехов и процветания.

– В целом, количество изданий, посвященных поэзии, достаточно? За последние годы появились, например, сетевые журналы — скажем, журнал «Рец» или такие интересные альманахи, как «Абзац». Есть ли еще простор для появления новых изданий и насколько они нужны?

– Простор необъятен. Завтра соберутся трое-пятеро во имя поэзии, выпустят журнал, а через двадцать лет, глядишь, уважаемое издание, национальное достояние. Современная литература держится на личной инициативе конкретного человека, тут один в поле воин. История литературы последних десятилетий опровергла старинную русскую пословицу. Прекрасный «Абзац»! Замечательный «Рец»! Пусть и еще выходят, а мы будем тихо радоваться.

– Поэт, а тем более организатор литературного пространства, всегда обречен находиться в ситуации любви/нелюбви/взаимодействия с критиками. По Вашему мнению, появились ли в последние годы среди критиков заметные имена?

– Не стану злоупотреблять ситуацией, называть имена финалистов и лауреатов «Дебюта», они-то, критики молодые, достаточно известны. Серьезно, блистательно пишут: Илья Кукулин и Станислав Львовский. Без предисловия Леонида Костюкова трудно представить выход книги молодого поэта или прозаика. Талантлив провокатор Ян Шенкман. Глубоко копает Михаил Бойко. Есть критики, не скудеет жанр.

– Еще цитата из Вашего стихотворения: «Пусть каждый будет знаменит. Нам только Пушкин предстоит». Интуитивно я понимаю, что здесь речь идет несколько о другом, чем о «15 минутах славы», обещанных всем нам Энди Уорхолом, а можно сформулировать это различие?

– Не хочется мне сейчас стихи объяснять. Пушкин завещал: «Ты сам свой высший суд; ... Ты им доволен ли, взыскательный художник?» и сам себя сукиным сыном похвалял. Ничего

не изменилось: только сам автор может справедливо наградить и похвалить себя самого, если справился с материалом и создал-таки нечто стоящее. Слава доступна – работай. Объективных законов общественного признания при жизни или благодарной памяти потомков после смерти нет. Готовься к забвению, грех тратить жизненные силы на выманивание славы, терзаться недооцененностью. Пишешь хорошие стихи – радуйся. Пишешь плохие – грусти, но не сильно.

– Много десятилетий назад Тыняновым было высказано представление о противостоянии архаистов и новаторов как главной движущей силе литературного процесса. На мой взгляд, ныне речь идет о влиянии на поэзию различных школ модернизма, а вот влияние консерваторов ограничено довольно узким сегментом авторов. По-Вашему, давний спор исчерпал себя окончательно?

– Мне кажется, что сегодня спор поутих. Точнее, его постепенно сменило замалчивание. Распространилась практика: мы не замечаем такого-то автора и его успехов, пройдет, как талая вода. Каждый гордо таит «и чувства и мечты свои», не опускается до полемики, а между тем от этого страдает дело. Ранее общественный интерес к литературе подогревался спором «архаистов и новаторов», как вы говорите. В нем скрытые новостные резервы, он и коммерчески перспективен. Главной движущей силой литературного процесса я бы назвал все же индивидуальное усилие творческого человека, а не сомнительную энергию, рожденную в споре. И что считать архаикой сегодня? Косвенные признаки архаизма: тебе не нравятся новые веяния, новые имена тебя не впечатляют, стихи не волнуют. Сегодня претенденты занять нишу новой архаики: Чухонцев, Гандлевский, Айзенберг, Кибиров. Срабатывают охранительные рефлексы культуры. Архаика защищает себя, пытается удержать «высоту», поддерживает нежизнеспособных эпигонов и вскоре вырождается. История смеется над нами. Ничему не учит.

– Если бы Вы составляли антологию поэзии первого десятилетия нового века, сколько авторов бы Вы в нее включили и каков был бы формат их подборок?

Я включил бы по одному замечательному стихотворению от каждого поэта, если оно у него есть... Бывает ведь и так, что подборку составить можно, а представить автора одним стихотворением не получается. Число назвать не могу, но боюсь, что пятьсот персоналий набралось бы, а может, и еще пятьсот добавилось.

– В последние годы проводится довольно много региональных литературных фестивалей. На Ваш взгляд, в какой степени это явление влияет на литературу в целом и не замыкаются ли в своем взаимном влиянии постоянные участники этих мероприятий?

– Фестивальная ситуация развивается: все желающие участвовать в фестивальном движении могут свободно заявить о себе. Наиболее активные авторы, природные передвижники, действительно «оказывают влияние», что логично. Тем авторам, кто полагает подобную ситуацию ненормальной, посоветую организовывать свои фестивали, ездить плацкартой, ночевать в люксах без туалета, рискованно питаться фаст-фудом, но прививать читателю любовь к тем формам поэзии, которые им ближе. Я говорю о том, что участники фестивалей не обязаны пропагандировать эстетически чуждые формы. Кто активен, тот и известен. Силу таланта отдельных участников фестивальных чтений мы обсуждать не станем.

– Десять лет назад, когда практически все, от региональных журналистов до академиков писали о «постмодерне как ситуации навсегда», в одной Вашей статье было сказано так: «Сегодня о "постмодернизме" говорят как о тотальной ситуации, а не методе, распространившемся на все стороны жизни как эпидемия. Но гражданская война или голод, охватывающий целые страны,— это тоже тотальная ситуация. Каждый в ней ведет себя по-своему. Самый страшный голод не оп-

равдывает людоедов, даже если среди выживших их оказывается большинство». Постмодернизм с тех пор предсказуемо скончался, на Ваш взгляд, это был «последний тоталитаризм» или возможно что-то столь же осклизлое с аналогичными претензиями?

– Объявленный в России постмодернизм стал очистительной чумой. Десятки тысяч писателей советского помета, в общем-то не старых еще людей, в одночасье оказались вне закона: без льгот, без публикаций с гарантированными гонорарами «прожиточного уровня», без оплаченных встреч со школьниками, без иных форм искусственной занятости. Состоялся духовный и эстетический дефолт. Новая литературная бытность показалась писателям скудной, бесперспективной, неинтересной, они ушли из литературы по своей воле, даже дверью не сильно хлопнули. В атмосфере разложения «вечных ценностей» советской расфасовки продолжали работать только циничные люди-проекты и юродивые. Уцелели алкоголики, ну, тут вопросов нет; кто-то отсиделся в пещерах академической науки. Молодежные литературные инициативы тех лет были бескорыстными плодами личной свободы. Постмодернизм нам больше наобещали, массового продукта мы так и не увидели. Потом, как вы помните, его отменили так же, как однажды провозгласили, практически в один день. Современная литература, при кажущейся массовости, не так густо заселена, как при конце советской цивилизации. На последнее Всесоюзное совещание молодых писателей в 1989-м, на котором я присутствовал, созвали восемьсот лбов. Я вижу позитивные плоды циничной расправы над наивной отечественной культурой. Новое поколение, привитое чернухой и порнухой, насилием и наркотиками, свободой в сексуальном выборе – несмотря ни на что, строит свою жизнь по направлению к счастью, выбирает созидание, познание, служение. Ценности жизни побеждают и без насилия идеологической машины. Стоило пройти через эту мерзость, чтобы любовь и правда стали новостью, модным трендом у молодых.

– Насколько для поэта важна биография? В частности, в какой степени лично Ваша биография определила творчество?

– Мы не выбираем, где и когда нам родиться. Однажды обнаруживаем себя по уши в собственной биографии. Биографии обычно пишутся задним числом, именно пишутся, на бумаге возникает логичный образ пути человека. Вот расскажу немного о себе. Родился в Киеве на Подоле. Детство было обычным советским, с цирком, пломбиром, зоопарком. С десяти лет – интернат. Домой приезжал в субботу вечером, в понедельник выезжал из дому в полседьмого. Добирался обычно с пересадками два часа. Детей тогда родители не провожали, все тяжело работали на советских предприятиях. В автобусе всегда была такая давка, что я часто не мог вывернуться из нее на своей остановке, выбирался только на следующей, возвращался пешком. Ну, Пуханов, почему опоздал на этот раз? Интернат был республиканским, со статусом медицинского учреждения. Родители платили семьдесят пять рублей в месяц. Вы понимаете, какие это были деньги в семидесятые годы? Экспериментальный интернат, куда мне повезло попасть, был создан на базе расформированной исправительной колонии для девочек, педагоги и воспитатели остались работать дружным коллективом. У них была солидная надбавка в сравнении со школой, за места они держались крепко. Мне видится биография человека – хрониками с Марса. Про интернат осмысленно могу рассказать только сейчас, а тогда чувствовал лишь холод, страх и детскую обиду от несправедливости, на которую не был способен ответить. Нужно искать слова для перевода с языка абсурда, которым говорит с нами повседневность, на понятную человеческую речь поэзии и прозы. Этим стоит заниматься всерьез. Я думаю, что вторая половина жизни дана человеку, чтобы понять первую, когда и происходили события «биографии», потом человек ее записывает на бумаге или устно пересказывает детям. Тут уже вопрос внутренней честности. Попытка понять мир, где ты родился и живешь, обнаружить себя в нем – основная мотивация творчества.

– Вопрос Вам, как одному из самых искренних современных поэтов: сможете дать определение такой популярной ныне поэтической практики, как «Новая искренность»?

– Пушкинские строки «Я вас любил, любовь еще, быть может...» не так давно воспринимались как недостижимый идеал магической простоты. Я застал время, когда поэты не умели сказать слова в простоте. Писали темно и вяло, ворочали образы, как осколки могильных плит. Поэзия «Новой искренности» изменила поэтическую практику, за что низкий поклон, но дальше вступает в силу вопрос: что ты можешь сказать, когда ничто и никто не мешает тебе говорить? Практика «Новой искренности» подготовила оптику, способную зафиксировать масштаб личности поэта: не как носителя, хранителя, проповедника культуры, а как ее обывателя. Человек не может прикрыть культурой собственную пустоту. Так метод становится могильщиком своих пионеров. Не соглашусь, что я из самых искренних поэтов современности. Искренность – понятие лукавое. Можем ли мы назвать североамериканского индейца времен освоения Дикого Запада искренним? Можем назвать искренним монаха, или насельника хосписа в его последние дни? Искренность окружена позитивным ореолом, праздничностью, она – торжество победы над неискренностью, здесь сквозит дешевым подвигом. Искренность психологически корыстна. Мне любопытно, каковы вещи мира на самом деле, каков человек, в данном случае я сам. Мне интересна правда, освобожденная от культурных представлений, рождающаяся из слов, так, чтобы только порядок этих слов был порукой их правдивости.

– Как-то Вы определили свою поэтику как «метафизический прагматизм». Метафизиком назвать поэту себя легко и приятно, но вот прагматизм обычно не относят к основным поэтическим ценностям. В Вашем случае — прагматизм это осознание себя как поэта, обреченного жить в мире для поэзии мало приспособленном, или нечто более сложное? и вообще, поэзию любят определять через недосказанность, через умолчание. В Вашем случае, как мне кажется, все обстоит несколько по другому: как правило, Ваши стихи лаконичны, но при этом в них проговаривается очень многое. Такой «отказ от умолчания» — это сознательный выбор?

– Метод, который я разрабатываю, называется «Прагмагерметика». Поэзия в своем развитии дошла до уровня, когда понять смысл стихотворения невозможно без специальной университетской подготовки. Такое положение вещей вполне терпимо, живет же поэзия в западных университетах, не жалуется. Мне бы хотелось, чтобы через стихи мир становил понятнее человеку. Кроме поэзии, как мне кажется, больше некому примирить человека с ужасом бытия, с тайной смерти, с неизбежным уничтожением всего любимого и дорогого. Задача прагмагерметики – воспитать в человеке любовь к неизбежному. Религия, философия утратили навык перевода сути явлений на человеческую речь. Прагмагерметика – попытка вернуться к основам человеческой речи, способной давать имена вещам.

– На одном курсе Литературного института с Вами училось сразу несколько поэтов, во многом определяющих или определивших лицо нынешней русской поэзии: Денис Новиков, Константин Кравцов, Сергей Круглов... Это было такое время, когда талантливые люди стремились попасть в литературу именно таким путем, или формирование авторов происходило в процессе обучения? Что на Ваш взгляд, изменилось в Литинституте с тех пор?

– Чему же нас тогда учили? Представьте, зима девяностого года. Кельн. Первая экспедиция Литературного института на Марс к профессору Вольфгангу Казаку, слависту, узнавшему и полюбившему русский язык в послевоенном советском плену. Стоим мы с Джимбиновым Станиславом Бемовичем, книжником, энциклопедистом, смотрим в окно, как падает немецкий снег, непривычно сытые жареными колбасками. Вдруг он отводит взгляд от окна, смотрит пристально мне в глаза и говорит: а вы могли бы, вслед за Мандельштамом, сказать: «Я к смерти готов»? Я моргаю, молчу, в животе неприятный холод. Мне двадцать четыре года, конечно, я не готов и мне стыдно. Был такой недолгий период в нашей культуре, когда несколько эпох сошлись в одной, казалось, что вот справедливость восторжествовала, это счастливое время пришлось на нашу юность, и

никогда, никогда не повторится чудовищная подлость и пошлость. Мы не допустим! Насмерть стоять будем. Стояли, кто сколько. Допустили. В том Литинституте учили любить литературу как главное, лучшее, что есть у жизни. Учили, что слово обладает священной силой и властью. Учили на недостижимых примерах человеческой высоты. Чему учат сегодня студентов в Литинституте, я не знаю. Возможно, они до краев наполнены знаниями, но я встречаю лишь потухшие взоры, от них веет малодушием. Что пугает меня более всего: я не слышу восторженной чуши, без которой не представляю, как становятся поэтами, и не могу поддержать разговор. Наверное, так начинается старость?

Андрей ПЕРМЯКОВ – Алексей АЛЕХИН

– Алексей Давидович, на Ваш взгляд, количество журналов и альманахов, посвященных поэзии, в России достаточно? Насколько возможно и необходимо наличие каких-то, может быть, нишевых проектов? Посвященных, скажем, какому-то направлению или какому-то региону?

– Общероссийских, я думаю, хватает. И для Москвы вполне достаточно. В Петербурге, возможно, могло быть и побольше. А о других регионах мне трудно судить. Тут ведь дело не в том, сколько в городе изданий, а в том, охватывают ли они все «литературное поле». Вот, минувшей осенью мы ездили по Сибири с «Литературным экспрессом». Всюду – в Омске, в Новосибирске, в Красноярске свои альманахи или журналы есть. Но если омский альманах, я его и прежде знал, в общем, достаточно широк и представителен, то из Новосибирска я привез несколько довольно интересных изданий, но явно – плод трудов одного литературного кружка. Хотя это может быть случайностью, просто другие мне в руки не попали. Или, из Волгограда я время от времени получаю тоже довольно занятный альманах, который там без конца возрождается, как феникс из пепла, всякий раз под новым именем, – но других я просто не знаю. Важно, мне кажется, чтоб где бы ни жил поэт, у него была возможность, помимо выхода на общероссийский уровень, какого-то локального общения – на том уровне, который он сам ощущает как среду литературного обитания. Чтобы поэт не чувствовал себя в неуютном одиночестве, особенно – молодой поэт. И большая удача, конечно, если это авторитетный журнал, с традициями. Вот, как «Волга» в Саратове.

– Насколько удачен в своем нынешнем виде проект «Журнальный зал» и нужно ли его дальнейшее расширение либо какое-то изменение?

– Проект очень удачный. Особенно с учетом трудности хождения бумажных изданий. А вопрос, который вы задали, мы периодически обсуждаем на Совете ЖЗ, куда входят главные редакторы журналов, когда-то этот проект начавших. Так вот, мое мнение: проект разросся чрезмерно.

Журнальный зал все-таки не библиотека: все, что хочется, можно и так найти в Интернете. А Журнальный зал – это некое «избранное», за которым стоит определенная, хотя и довольно широкая, эстетическая позиция, и он отвечает своей репутацией за уровень представляемых изданий. Некоторые, на мой взгляд, этому уровню не вполне отвечают, да я в свое время и голосовал против их включения. Другие взятую изначально планку понизили. Я бы вообще периодически пересматривал состав представляемых здесь изданий – ну, помимо ведущих общероссийских: одни на время удалял, другие добавлял. Журнал ведь подвижная вещь, он меняется во времени – меняются главные редакторы, команда. Да это и всегда было – сравните «Новый мир» при Твардовском и при Косолапове. И тем более нестабильны современные небольшие журналы, выживающие в крайне неблагоприятной окружающей среде. Мы знаем, что происходило с той же

Алексей АЛЕХИН – поэт, прозаик, критик, основатель (1993) и главный редактор журнала поэзии «Арион». Родился в 1949 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и др. Автор трех книг стихов. Живет в Москве.

«Волгой»: название было тем же, но за несколько лет под одной вывеской фактически сменилось три разных издания. И если подходить к делу серьезно, то в какой-то момент журнал надо было исключить из Журнального зала, потом вернуть...

Сегодня в проекте многовато изданий. И дело не в том, что жалко места, а в том, что весь смысл Журнального зала – в отборе и концентрации. Он призван, используя достоинства Интернета, по возможности избежать его недостатков. Все беды Интернета вытекают из его фундаментального достоинства – всеохватности. Во что она выливается? Если брать стихи – а их там миллионы, сотни тысяч авторов! – то на одно хорошее вы обнаружите десятки тысяч графоманских, и оно, единственное, в этом море просто утонуло. А если сделать выборку стихов из журналов, представленных в ЖЗ, соотношение будет совсем иным, хотя, конечно, и редакторы временами ошибаются. Но чем шире мы сделаем круг представляемых здесь изданий, тем ближе соотношение золота и пустой породы станет приближаться к исходному, который нам и демонстрирует Интернет. Мы должны быть взыскательными. Поэтому я за то, чтобы периодически, скажем, раз в два года, пересматривать состав. По крайней мере в той его «периферийной» части, которая ныне в общем перечне размещается под рубрикой «Новое в ЖЗ». Причем не только с точки зрения «исключения», но и «включения» – это, кстати, и неплохой стимул для редакций.

– В одном из Ваших интервью прозвучало, что в России сейчас приблизительно 150 000 любителей поэзии. Есть ли шанс, что тиражи журналов и поэтических сборников достигнут десятой части от этой доли? Без, скажем так, политических сдвигов?

– Знаете, у нас только на графоман-сайте Стихи.ру зарегистрировано больше 200 000 поэтов, стало быть, читателей могло бы быть и больше, да беда в том, что пишущих стихи, увы, куда больше, чем читающих... Ну а «читателей стиха», я думаю, действительно тысяч 150. Учитывая, что люди сродных интересов имеют тенденцию друг на дружке жениться, теоретический тираж мог бы и правда составить тысяч 75. Но он таким не будет.

В этом смысле сейчас «непоэтическое» время. Нынче даже любители поэзии читают ее нечасто и немного: у них мало свободного времени, а когда оно настает, слишком много других, менее трудоемких (а чтение стихов требует интеллектуального усилия) способов развлечься. И не надо забывать, что далеко не все любители поэзии любят и читают *новые* стихи. Мне уже не раз доводилось повторять, что чтение стихов – очень важный элемент жизни культурного человека, но это вовсе не значит, что он непременно должен читать «Арион», «Новый мир», «Знамя» или следить за вновь выходящими книгами. Очень многие из этих любителей поэзии обращаются к проверенному временем – к классике. Ну, конечно, к классике в широком смысле слова: не только к «старой» или к Серебряному веку, но и к более поздней, к Бродскому, например. Читатели эти вовсе не обязаны следить за поисками сегодняшнего дня – новейшие стихи необходимы в первую очередь нам, поэтам; они работают на будущую классику. И не случайно интересуются текущей поэзией в основном люди, сами пишущие (да и то, как я уже посетовал, далеко не все). А чтобы «широкий читатель» накинулся на новые стихи, нужно определенное умонастроение в обществе (слово «мода» я не хочу употреблять, все это не столь поверхностно). Мы застали такое время в 60–70 годы. Тогда – причем по причинам не столько литературным, сколько социокультурным – практически все культурные люди, а их в России очень много, не 150 000, а гораздо больше, буквально жили стихами, переговаривались стихами. Сегодня среди тех же людей если и циркулируют «кодовые слова», то приходят, может быть, из кино, но уж точно не из поэзии. Так что рассчитывать на радикальное увеличение тиражей не приходится. Но жалеть не надо. В такой период поэту жить, конечно, приятно, но и опасно – для творчества.

– Насколько важна роль критики для поэтов? По-Вашему, современное смешение фигур филолога, критика, литературоведа идет во благо литературе или во зло?

– Если б на ваш вопрос надо было ответить сразу и коротко, я бы сказал, что при сегодняшнем положении вещей – скорее во зло. Но на деле все гораздо сложнее.

Критик и литературовед, хотя имеют объектом штудий один и тот же предмет, представляют две совершенно разные специальности. Критика – отнюдь не точная дисциплина, она основана на вкусе и сама сродни искусству. Она дает эстетическую, этическую и Бог знает какую еще оценку произведения или автора, опираясь исключительно на интуицию. Ведь мы же на самом деле никогда не можем объяснить, почему вот это стихотворение – хорошее, а вот это – плохое. Конечно, говоря о втором, мы можем сказать, что здесь, дескать, такие-то и такие погрешности против правил стихосложения, такие-то неудачные образы, такие-то – шаблонные, а вот тут нарушение внутренней логики и т. д., но и это будет не безусловно доказательным, потому что мы знаем и таких поэтов, которые и тем, и другим, и третьим сознательно пренебрегают, а добиваются блестящих результатов. Ну, например, стихи Николая Глазкова. На самом деле оценка поэтического произведения происходит на уровне чутья, а не твердых правил, хотя бы потому, что всякое удачное стихотворение демонстрирует и своеобычность поэтики, к которой прежние лекала не вполне приложимы. То есть критик – это человек, высоко чувствительный к художественному слову, очень его любящий и стремящийся поделится своим пониманием новых литературных творений – с другими читателями и с самим автором. Как и всякий влюбленный человек, критик субъективен. Мнения порой оказываются полярными – ну, например, для кого-то Геннадий Айги – великий поэт, а для других – совершенно искусственный. И наоборот: для одних Кушнер – однообразный и устарелый, а для иных – уникальный лирик, на протяжении десятилетий не просто утверждающий свой взгляд на мир, но и расширяющий его до масштаба лирической эпопеи. Так вот, несмотря на эту разноголосицу, в результате, скажем так, совокупной деятельности критиков складывается достаточно объективная картина. Потом проходит время, и литературная панорама проясняется. Условно говоря, и Хлебников, и Блок оказываются на одной книжной полке, но – без Мирры Лохвицкой, хотя и получившей в отличие от этих двух Пушкинскую премию.

Совсем другое дело – литературовед. Он прежде всего – ученый, исследователь. Человек, оперирующий не размытыми, колеблющимися понятиями: вкус, поэтические достоинства, выразительность образа – а более-менее определенными категориями. Он изучает то, как функционирует литература, как функционирует отдельное произведение, как функционирует писатель. Кстати, еще лет сто назад такой дисциплины не было: были история литературы и теория литературы, объединились в литературоведение они уже в XX веке. Но раз это ученый, то первое, в чем он должен быть уверен, это в том, что объект его исследования действительно существует. Условно говоря, если ты биолог и пытаешься понять, как функционирует организм некоего животного, ты должен знать, что ты изучаешь животное, существующее в природе, а не дракона из китайских сказок. Так вот, наверняка сказать о явлении литературы, что оно и правда существует – а это значит, является *произведением искусства* – можно только по прошествии известного периода времени и по результатам отбора, проделанного, прежде всего, критикой.

Соединение критика и литературоведа в одном лице в отечественной практике случилось впервые, кажется, в начале минувшего века, когда новые поэтические школы нашли подкрепление в виде теории: одни пишут, другие (а то и те же самые – почитайте наивные футуристические манифесты) сразу объясняют, что написано. Все это получило широкое распространение с появлением формальной школы, но там были и правда замечательные фигуры, как Шкловский. Однако толк от подобного симбиоза (если понимать под ним не примитивную рекламу данного автора или «школы», а нечто плодотворное) возможен только при счастливом совпадении с и впрямь значимым явлением. Чаще же такого рода штудии просто вводят в заблуждение, подкрепляя авторитетом «науки» вполне искусственные и нежизнеспособные художественные проекты. Соблазн, однако, велик. И в последние годы все эти псевдоисследования расплодились невероятно – журнал «НЛО», например, в основном и состоит из разбора несуществующих творений, и это касается отнюдь не только его печально известного 62-го номера, о котором мне уже доводилось высказываться.

Подобное смешение мух с котлетами вредит не только литературе, но и литературоведению. Вот, у меня из редакции одно солидное филологическое учреждение регулярно забирает кучу присылаемых нам графоманских книг – для стиховедческих исследований. Но кому и для чего интересно анатомировать стихи, которые не являются поэзией? Впрочем, может быть, я чего-то не понимаю.

С другой стороны, соседство с литературоведением не оказалось для критики совсем бесплодным, оно открыло новые возможности. Современный критик просто обязан владеть основным инструментарием филолога и литературоведа. Разумеется, в его работе превалирует вкусовое начало, он оценивает стихи на слух и на глаз, по горячим следам. Но элементы филологического разбора позволяют ему если не доказать, то проиллюстрировать свое понимание произведения, высказать догадки относительно его внутреннего устройства и взаимодействия с массивом поэзии и культуры в целом.

Так что я вовсе не хочу, чтобы критика вернулась в первобытное состояние и забыла об открытиях «смежников», – просто надо помнить, что и когда уместно. А сегодня перекос в сторону «ведения» очевиден. И не случайно сейчас – и уже довольно давно – лучшими критиками сделались сами поэты (которые, впрочем как и современные критики, гораздо больше знают о теории поэзии, чем их старшие собратья). Не все поэты берут на себя труд писать о чужих стихах, но когда берутся, лучше них никто не пишет. Кстати, и среди литературоведов есть замечательные критики – но те, кто не путает два этих ремесла.

Вообще, фигура критика – ключевая для литературного журнала, и так было всегда. Безотносительно того, что мы думаем о конкретных именах, совершенно очевидно, что великие журналы XIX века сделали Белинский, Добролюбов, Писарев, т. е. критики. Дело в том, что поэзия, как и проза, плодится сама собой, как лягушки в пруду: люди пишут, потому, что не могут не писать. А чтобы стать критиком, нужна такая бескорыстная любовь к литературе! Тем более сейчас, когда платят за эти писания кот наплакал. Не удивительно, что критика стала исчезающим жанром. Газетная критика исчезла почти полностью, ее как явления больше не существует – ее теперь подменили рекламные заметки, цель которых просто проинформировать о выходе в свет того или сего и по возможности привлечь читателя. Это тоже полезное дело, но оно ничем не отличается от рекламы шкафов-купе, а по содержанию заметно уступает автомобильной. Критика сохранилась в толстых журналах, да и то не во всех. Проблема журнала «Октябрь», например, имеющего неплохую содержательную часть, заключается в почти полном отсутствии критики. И я понимаю, что это не вина моих коллег, а беда: людей, готовых и способных осмысленно писать о литературе вообще и особенно о поэзии, крайне мало.

Приходится только удивляться, что все же появляется на этом неблагодарном поле и талантливая молодежь: например, Евгений Абдуллаев – он живет в Ташкенте, но регулярно пишет в российские журналы; Владимир Козлов из Ростова-на-Дону. Еще можно назвать серьезно начавшего Артема Скворцова из Казани, но в последнее время его интересы, похоже, сместились скорее в сторону собственно литературоведения. Очень интересно писали, но замолчали в последнее время москвичи Ян Шенкман, Юлия Качалкина, реже стала выступать с большими материалами Анна Кузнецова. То есть тут основательная проблема. Я уже говорил, что на Стихи.ру. 200 000 авторов и, наверное, изрядное число на Прозе.ру, а вот если б открылся сайт Критика.ру, там было бы куда безлюднее, да и то, боюсь, одни графоманы. Но чтобы не закончить на грустном, отмечу довольно обнадеживающие плоды мастер-класса критиков на Форуме молодых писателей в Липках – его проводят «Вопросы литературы», и по итогам в журнале публикуются целые блоки молодой поэтической критики. Там есть удачные работы.

– Мы уже немного коснулись следующего вопроса: существует ли некая конвенциальная фигура в русской поэзии: современной или, скажем, последних двух десятилетий? Может быть, не один, но два-три поэта? Например, в начале девяностых для нашего региона, для Урала, такой фигурой был Александр Еременко. Бродский был чуть ранее такой фигурой в масштабе России. Есть ли сейчас что-то подобное?

– Наверное, последней такой фигурой был Бродский. Но вообще, я советую почитать первый номер журнала «Арион» за этот год, где только что упомянутый мною Евгений Абдуллаев пишет ровно на эту тему – статья называется «Требуется ли классик?»

Ну, а мое мнение... Поэзия, как и любое искусство, иерархично, и когда мне говорят, что у нас сотни хороших поэтов, просто все они разные, я отвечаю: ничего подобного. То есть они, конечно, разные, но еще и приметно различаются по качеству. И конечно, в каждое поэтическое время бывает несколько ключевых фигур. Говорить об одном «первом» поэте трудно, тут многое от совпадения обстоятельств и от игры пристрастий. Вот Пушкину выпала действительно уникальная роль в русской поэзии, и в наших глазах он несомненно – первый поэт своей эпохи. А ведь в глазах современников даже с ним было не так просто: он почитался «первым» в начале своей карьеры, а в последние годы жизни несколько отошел в тень. А Тютчев и Фет вообще в ней и пребывали. И Ходасевич тоже. Это мы теперь понимаем, кто был кто.

То есть важнейшие поэты, разумеется, есть. И последней такой несомненной фигурой был Бродский. Хотя в его собрании сочинений не все, конечно, равноценно. Для меня лучший Бродский – 70-е годы, а более поздний скучноват. Но это субъективно. Или спор о том, кто был лучшим поэтом в предыдущую эпоху: Пастернак или Мандельштам? Это смешно. Это как спорить, кто лучше: слон или жираф?

Но вы-то говорите, наверное, немного о другом, о более ситуативном. В данный момент и для данного поколения некий поэт (или поэты) оказывается главным. И дело тут разом в целом комплексе причин – и в особенностях поэтики, конечно, но и в личности, и достигнутом успехе, и просто в возрастной близости. Вот Борис Рыжий стал на какое-то время для своего поколения чрезвычайно важным поэтом. Это был очень талантливый человек со сложной поэтической судьбой. И уход его в определенной мере тоже связан со стихами. Я не очень представляю, каким могло бы быть его дальнейшее развитие. После того, как он ушел, в печати появились его неизвестные стихи, и они тоже произвели большое впечатление, но это были стихи еще более ранние. А куда им идти дальше, мне не очень понятно. И, наверное, ему самому было не очень понятно. Дело не в том, что для меня он по-прежнему молодой автор, у которого многое получалось, но многое – нет, и мне приходилось ему об этом говорить, когда он ко мне приходил в редакцию. Я очень высоко его ценю и никому не угадать, что было бы дальше. Но мы имеем то, что имеем. Простите, но среди первых поэтов он, наверное, все-таки не останется.

Я прекрасно понимаю взрыв интереса к Александру Еременко, и очень люблю многие его стихи. Но если мы припомним время, когда появился поэт Еременко, то увидим, что в то же время писали Чухонцев, Рейн. Ну, это другое поколение, но и в том же, совсем по-другому, не похоже на Еременко, писал Гандлевский, по-третьему – Кибиров. И все это было одновременно. Так что тут я не совсем понимаю, почему именно его вы выделили. С Рыжим понятнее.

Вообще же, меня как раз беспокоит некоторая внутрипоколенческая зацикленность, распространившаяся в последнее время. Мне довольно часто приходится слышать от молодых стихотворцев об их же сверстниках: «лучший поэт» – чуть ли не «гениальный». Это как школьники смотрят друг на дружку: кто в нашем классе первый силач. А первый силач не в их классе и даже не в их школе. Он уже давным-давно олимпийский чемпион и в Институте физкультуры учится.

Во все времена какие-то поэты оказывались наиболее важными, но далеко не всегда они опознавались современниками. У меня впечатление, что мы переживаем период, когда такое распознавание особенно затруднено. Я как раз об этом сейчас размышляю, и, если додумаю до конца, напишу статью, сути которой пока раскрывать не буду хотя бы потому, что она мне и самому полностью не ясна. Но вообще-то мысль в том, что у нас сейчас «промежуток» в тыняновском смысле слова. Однако ведь и Тынянов со своим промежутком сильно ошибся. Время, о котором он писал как о промежутке, отнюдь промежутком не было! И если вернуться к вашему вопросу, то как раз сейчас, когда мы об этом разговариваем, кажется, что такого поэта, может, и нет. А я уверен, что он есть. И не один, их несколько. Просто есть моменты, когда все на виду, особенно если удачно совпадает с шумовыми эффектами. Ведь и фигура Бродского во многом состоялась

в этом качестве потому, что ему «биографию делали». Если б его так по-дурацки не преследовали, не отправили бы сперва в Норенское, а потом за границу, то он остался бы в глазах публики один из многих. Хотя поэтом был действительно из самых талантливых, а может быть, и самым талантливым.

Когда в шестидесятые годы гремели эстрадники, то гремели именно те, кто попал на эту эстраду. А Инна Лиснянская не попала. Ее звали, а она не пошла. И Чухонцев не пошел. А что, они хуже поэты, чем Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко? Хотя и это ведь все талантливые люди.

– Следите ли Вы за поэтическими фестивалями? В частности, в ближайшее время в Перми пройдет фестиваль «Камский анлим», где участвуют и Ваши авторы, в том числе достаточно постоянные, и просто отличные поэты: Арсений Ли, Андрей Егоров, Марат Багаутдинов, Андрей Гришаев, Владимир Кочнев, Олег Дозморов и другие. Насколько возможен путь в литературу через фестивали?

– По-моему, одно к другому имеет мало отношения. Фестиваль не является литературным событием – им является написанное стихотворение. И входят в литературу через письменный стол, публикацию в журнале, книгу, а не через фестивальную тусовку. Я видел много фестивалей. На каждый приезжают полтора значительных поэта, еще пять приличных и двадцать пять никаких. Те, кого вы перечислили, – достаточно молодые авторы, способные, я к ним хорошо отношусь. Олег Дозморов в литературном смысле и старше, и значительней, особенно сейчас, когда он опубликовал несколько сильных подборок, после того, как молчал несколько лет. Это уже серьезный поэт. Огромный рывок сделал за последний год Андрей Егоров: его большая подборка в первом номере «Ариона» за этот год не оставляет сомнений. А меня она вдвойне радует: он несколько лет был в нашей с Андреем Василевским мастерской в Липках, замечательный, талантливый парень. Он прорывался, и он прорвался: написал пять или шесть совершенно замечательных стихотворений. Вот это и есть путь в литературу – при чем тут фестивали?

Это не значит, что они бессмысленны. Поэты, даже в эпоху Интернета, люди по природе одинокие. Особенно, если живут в провинции. А тут – возможность пообщаться. Увидеться с единомышленниками, такими же чудиками, как ты, поговорить с ними о поэзии, о литературно-житейских делах, придумать какое-нибудь издание, все это чудесно. Правда, есть и минусы. Если чересчур увлечься, возникает соблазн принять это коловращение за литературную жизнь. А она ведь – за письменным столом. И ты за этим столом один, с листом бумаги и со стихами в голове. Я знаю людей, и молодых, и не очень молодых, которых злоупотребление фестивалями не то чтобы подпортило, но сбило с толку. Не хочу называть имен, но эти бедолаги, зафестивалившись, – а там ведь еще и победителей выбирают, и призы дают – так в итоге и остановились, не сделали следующего шага.

Ну а в смысле встречи с читателями, то я не верю, что фестивали привлекают внимание читающей публики. Читать надо книжки, напечатанные на бумаге, а слушать то, как они звучат, – явление побочное. И уж лучше слушать не мелькающих друг за дружкой на фестивальной эстраде, а одного-двух-трех поэтов на хорошем поэтическом вечере. И как редактору журнала фестивали мне не особо интересны: я ходил на них в свое время, но потом понял, что искать надо не там.

– Вы, как правило, публикуете лауреатов премии «Дебют». Причем, как минимум в двух последних случаях – Владимир Кочнев и Андрей Егоров – публикация (или решение о публикации) предшествовала премии. Каковы, на Ваш взгляд, положительные стороны этой премии и отрицательные (если таковые есть)?

– Мы не публикуем лауреатов премии «Дебют». Просто мы печатаем хорошие стихи, в том числе и молодых поэтов, и ничего удивительного, что временами их авторы получают премии. Кстати, первая публикация Анны Логвиновой тоже была в «Арионе», и тоже раньше премии. И Анну Русс мы печатали.

Что же касается «Дебюта», то в «Арионе» № 3/2007 можно найти мою статью «Золотая соска», посвященную проблемам поэтической молодежи, где и об этой премии все сказано. Я считаю, что молодым поэтам она неполезна. Что, впрочем, не означает, что сами организаторы премии не хотели «как лучше». И тем более не ставит под сомнение решения жюри: там-то как раз по большей части вполне понимающие люди, хорошие поэты и писатели, и они выбирают достойных лауреатов. Вот только не надо молодому поэту начинать литературную биографию с премии, лучше поощрить его другими способами. При этом мнении я как был, так и остаюсь.

– Существуют ли региональные особенности поэзии в России? В частности, в 80-90 годы много говорили об уральской волне: Виталий Кальпиди, Владислав Дрожащих, Юрий Беликов, Дмитрий Долматов. Возможны ли региональные школы поэзии, как это происходит в Америке?

– Ну, Америка – это совсем особый случай, поскольку неясно, «школы» там или просто местные университетские лито...

Поэты рождаются где угодно, крупные поэты появляются на свет редко, и вероятность того, что они окажутся в одном или в соседних городах, невелика. Но способных стихотворцев не так мало, и если в каком-то городе появляются одна или, реже, несколько ярких личностей, они объединяют вокруг себя наличные поэтические силы и это катализирует процесс. Поэтому бывает, что в одном месте оказывается сразу несколько неплохих авторов. Это и производит впечатление «волны». Помню, когда лет десять лет назад я оказался в Перми, там вокруг Юрятинского дома кипела поэтическая жизнь, и мы нашли довольно много серьезно пишущих авторов – получилась большая подборка в «Арионе».

В некоторых городах все по-другому. Вот, например, я знаю в Туле замечательного поэта Алексея Дьячкова, сейчас мы выпускаем его книгу в издательстве «Аванта+». Но больше я там почти никого не знаю. Конечно, Тула поменьше Перми, но ведь не райцентр (как он свою книжку назвал). То есть там не возникло вот такой среды.

А бывает и что-то вроде иллюзии поэтического изобилия: в одном из сибирских городов, где я побывал с упомянутым «Литературным экспрессом» (называть город не хочу) куча всего – и объединения, и клубы, и книжные серии, и вечера – а поэзия самого среднего уровня. А в ночи пути – сибирский город такого же размера, где ни альманахов, да и вечеров поэтических негусто, а поэты яркие есть. Тут не угадаешь.

Важнее и интереснее другое: в разных городах России сейчас одновременно работает целый ряд, может быть, с десяток – а это очень много, – действительно серьезных, состоявшихся, оригинальных поэтов. Например, Сергей Васильев в Волгограде, Виктор Полещук в Краснодарском крае, Дмитрий Казарин в Астрахани, опять же, Алексей Дьячков в Туле. У них выходят какие-то книги, но о них мало знают за пределами своих городов. А это существенное явление нашей поэзии. Честно сказать, я давно заказал для «Ариона» статью об этом «засадном полке» нашего поэтического цеха одному знающему и умному автору, будем надеяться, мы ее увидим.

– Если бы Вы составляли антологию первого десятилетия нового века, сколько бы имен в нее вошло, и каков бы был формат?

– Все зависит от того, какую антологию мне бы пришлось составлять: антологию лучших поэтов или лучших стихов. Это не всегда совпадает. У поэта может быть несколько хороших стихов, но говорить о нем как о явлении не получается. И есть крупные поэты, которые со временем утратили «сопротивление материала» и принялись плодить одинаковые и малоинтересные стихи – именно в нынешнем десятилетии...

Но я полагаю, вы спрашиваете о том, сколько, по моему мнению, в этом десятилетии действующих поэтов первого уровня. Думаю, как и в другие десятилетия, – не более десяти, а скорее – вдвое меньше. И смею уверить – в основном это люди немолодые. Точно уж не двадцатилетние.

Да и тридцатилетние вряд ли в эту сборную попадут. Чтобы выйти на высший уровень в современной поэзии, надо долго работать.

– Существует довольно распространенное мнение о том, что основной питательной средой современной поэзии является неподцензурная литература 50-80 гг. На Ваш взгляд, существуют в том времени или, возможно, в более ранних периодах значительные авторы, чье влияние оказалось незаслуженно слабым?

– Я знаю исходную посылку, и я с ней не согласен. Я очень люблю, например, Лианозовскую школу, там было два замечательных поэта – Генрих Сапгир и Игорь Холин, я имел счастливую возможность их регулярно печатать. К сожалению, оба они умерли. Но говорить, что кроме Лианозовской школы ничего не было, – это смешно. А если почитать Айзенберга, то окажется, что самыми главными поэтами были Всеволод Некрасов и Пригов. Эту точку зрения я никак не могу разделить. В неподцензурной поэзии были яркие имена, но не больше, чем среди тех, кто в советских журналах печатался. В числе тех, кто не только влиял, но и продолжает влиять, и Слуцкий (кстати, его следы найдем и у Бориса Рыжего), и Мартынов, и мало знаемый, но как бы «растворенный» в целом ряде авторов Винокуров с его балансированием на грани банальности и умными верлибрами. А Бродский, как к его влиянию ни относись? Он из андеграунда или нет? Сам-то себя он никак не причислял к «неподцензурникам». Ну, а если подальше заглянуть, то там ведь и Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова – их тоже не спишешь.

Что же касается «значительных», но незаслуженно подзабытых... Если значительный, значит, будет востребован, но не обязательно прямо сейчас. Так случилось в начале минувшего века с Иннокентием Анненским, а во второй его половине – с Ходасевичем.

– Дм. Кузьмин в последнее время сравнивает русскую поэзию с деревом, на разных ветках которого должны располагаться разные издательства, разные журналы, какие-то другие структуры. Насколько Вы согласны с таким пониманием, и нет ли риска, что находящиеся на разных ветвях перестанут друг друга понимать?

– То, что должны быть разные издательства и разные издания, – это очевидно. Слава Богу, что появился журнал «Воздух», созданный во многом ради противостояния «Ариону», – теперь есть куда переадресовать массу стихов, нашему журналу не нужных. Хотя есть авторы, востребованные и там и там.

Лукавство, однако, в самой метафоре. Кузьмин ведь делает вид, что все ветки – равноправны. Ну, условно говоря, на одной в гениях Сваровский со своими пластмассовыми побрякушками, а на другой – в мэтрах Гандлевский, и они по-своему равны, просто ветки разные... Неправда это. Садоводы знают, что даже на яблоне, скажем, есть плодоносящие ветки, а есть мусорные, и надо их обрезать. Впрочем, я не предлагаю ничего обрезать – и так ничего не вырастет. Конечно, бывает, что рядом существует два или больше художественных направления. Возьмем пример из прошлого, прошлым всегда легче оперировать: были акмеисты и футуристы. И те и другие выросли из символистов. Они имели противоположные эстетические установки, и издания у них были разные. Сказать, что одни были правы, а другие заблуждались, – нельзя. И там, и там были замечательные поэты. Но если мы припомним существовавших тогда же, ну, чуть попозже, имажинистов и уберем оттуда по дружбе вовлеченного Есенина, – будет и вспомнить нечего. Или конструктивисты – Сельвинский что ли вровень с Мандельштамом?

Но пока идет живая жизнь, пусть себе все будет. И «Воздух» для вавилибров, и кедровская «Поэзия» для зауми...

– Необходимость работы с огромным массивом чужих текстов: оказывает ли она какое-то влияние на стихи уже состоявшегося поэта? Я имею в виду Вас. Банально: не наступает «усталости от стихов»?

– Совсем нет. Это совершенно разные механизмы. Даже редакторское чтение стихов и чтение для удовольствия – два разных процесса, чуть ли не разные участки мозга включаются. И многих поэтов, чьи стихи я с удовольствием печатаю и чей дар мне очевиден, «для себя» я читать не стану. А сочинение стихов идет ведь не от других стихов, а от впечатлений и ощущений жизни.

– Не возникает ли чувства обиды или ревности, когда авторы Вашего журнала став знаменитыми, публикуются в других журналах? Я могу упомянуть конкретного автора и конкретную публикацию: подборку уже упоминавшегося Алексея Дьячкова в «Новом мире»?

– Я очень этим доволен. Да, знаю, есть журналы, ну, «Знамя» например, предпочитающие, чтобы авторы печатались только у них. Думаю, это устарелая позиция, восходящая к периоду художественно-идеологического противостояния. Журнал «Арион» существует и для читателей, и для поэтов. Обязательство перед первыми – представить им хорошие стихи. А перед вторыми – расширить круг их известности. И если «открытых» нами авторов начинают печатать другие журналы, значит, мы эту задачу решили. Конечно, «открытие» не случайно в кавычках – поэты-то и прежде были, просто «толстые» журналы их не приметили. Вот, Бориса Херсонского «Арион» первым стал печатать в России и много лет он один и печатал. Ирину Ермакову. Аркадия Штыпеля. Марию Галину. Это все стихотворцы, которых, по возрасту их, должны были давным-давно публиковать. А вот Андрея Нитченко, тогда студента-второкурсника из Сыктывкара, мы и правда что называется в миг поэтического рождения нашли – извлекли большую его подборку из самотека и тут же напечатали. Теперь все эти авторы во всех изданиях публикуются, премии получают – прекрасно! Нам поэтов хватит. И стихов нам хватит.

– Я увидел у Вас на полке книгу замечательного пермского поэта Алексея Решетова. У него, среди прочего, есть стихотворение «Дельфины», где он сопоставляет, что ли, возможность понимания поэзии с возможностью понимания дельфиньего языка. Мне кажется, в чем-то с этим стихотворением перекликается текст американца Чарльза Симика:

Ты что, не слышишь,
Как я бьюсь
Головой в твою стену?

Слышишь, конечно,
А почему же
Не отвечаешь?

Ударься головой
Со своей стороны стены,
Составь мне компанию.

(«К читателю», пер. Дм. Кузьмин)

Насколько разошлись поэт и читатель, если брать не «профессиональных» читателей, а те самые 150 000, по Вашей оценке, и возможно ли движение навстречу?

– Живой поэт и читатель-современник редко бывают вместе. Я об этом уже говорил. Обычному любителю поэзии нужны хорошие стихи, и при этом апробированно хорошие. Чтобы найти у современного автора хорошее стихотворение, часто нужно прочесть всю его книгу. Пусть их там найдется даже два или три. Но если взять томик Ходасевича, там концентрация куда выше. И это общеизвестно. Если бы я не занимался современной поэзией, а просто любил читать стихи, я бы скорее взял книгу с тех полок, где у меня стоят Пушкин и Фет, или с тех, где Серебряный век. А те два-три-четыре поэта-современника, с которыми вдруг возникает особое сродство, это скорее исключение. Конечно, бывают и всплески моды (тут это слово на месте), но что про них говорить. Вот, Надсона на руках носили – кто его вспомнит теперь, помимо курса истории литературы?

Поэтому не надо иллюзий. Те забитые слушателями стихов стадионы, куда я и сам ходил, это разовое или редко повторяющееся, случайное явление. Современная поэзия в основном варится в узком, профессиональном кругу. И среди «просто» читателей к ней обращаются лишь самые продвинутые, самые глубокие. Что же до «широкой публики», то гораздо выше вероятность, что наивный любитель стихов найдет себе по душе из живых стихотворцев такого же простодушного поэта или, скорее, поэтессу, которая рифмует «любовь-кровь-морковь». Он сейчас читает Андрея Дементьева. И пускай читает. Все это меня очень мало интересует, потому что это за пределами поэзии как искусства, а я занимаюсь именно искусством. А оно как вино – должно перебродить, сгуститься и созреть. Пить будут, скорее, потомки.

Хранитель

Е. Я. АРХИППОВ. ПИСЬМА Д. С. УСОВУ

Подготовка текста, примечания, вступительная заметка Татьяны Нешумовой

Автор публикуемых писем – поэт, критик, библиограф Евгений Яковлевич Архиппов (1882 (по новому стилю 1883) – 1950)[1]. Если бы суть человека нужно было определить одним словом, Архиппову лучше всего подошло бы «хранитель». Именно он сохранил стихи и исповедь Елизаветы Ивановны Васильевой (рожденной – Дмитриевой; 1887–1928) – знаменитой Черубины де Габриак, да и не только ее. Всеволод Рождественский писал о нем: «Если бы где-нибудь возник большой музей или храм Русского Символизма, я назначил бы Евгения Яковлевича его хранителем. И ключи свои – я уверен в этом, – он носил бы всегда благостно и благоговейно». А вот каким его видела близкая приятельница, поэт Вера Александровна Меркурьева (1876–1943): «Серебряные волосы, юное розовое лицо, черные глаза, грустные и спрашивающие. Насмешлив, зол и нежен. Остроумен, редкий чтец. Картонажных дел мастер. Предан М. Волошину, любит Гумилева, Ахматову, ценит Маяковского. Не писатель и не спутник литературы, но сам литератор истинный, нашедший свой стиль». С Меркурьевой Архиппов был знаком с дореволюционных времен: в 1906 г. он приехал из Москвы учительствовать во Владикавказ, где Меркурьева родилась и жила, и хотя Вера Александровна была его старше, он некоторое время считал себя ее литературным наставником. Оно так и было: кем еще мог быть по отношению к провинциалке с 7-ю классами гимназии и дипломом домашней учительницы выпускник Московского университета, друг и соученик известнейших в Москве философов Владимира Эрна и Павла Флоренского, составитель первой библиографии Иннокентия Анненского, критик, регулярно публикующий в столичном литературном альманахе «Жатва» свои очерки о русских поэтах? Очень быстро, правда, обнаружилось, что едкой иронии по отношению и к себе, и к любому другому у этой провинциалки больше, чем у него самого, а в литературном деле – за ней не угнаться никому из его знакомых.

В 1917-м Меркурьева уехала в Москву, и в революционные осенние дни была «коронована» знаменитым поэтом-символистом Вячеславом Ивановым (отмечавшим ее «дарование необыкновенное, самобытность и силу чрезвычайные» и называвшим ее «поэтессой, которой горжусь»). Тогда же ее стихи очень полюбил Илья Эренбург. Цветаева писала ей в 1940-м: «Я Вас помню – это было в 1918 г., весной, мы с вами ранним рассветом возвращались из поздних гостей. И стихи Ваши помню – не строками, а интонацией – мне кажется, вроде заклинаний? Э<ренбур>г мне говорил, что Вы – ведьма, и что он, конечно, мог бы Вас любить... Мы все старые – потому что мы раньше родились! – и все-таки мы, в беседе с молодыми, моложе их – какой-то неистребимой молодостью! – потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней – оборвался». В 1920-м Меркурьева вернулась во Владикавказ, и теперь уже вокруг нее стали собираться молодые поэты. Там, где оказывалась Меркурьева, словно сама собой оживала традиция домашнего литературного кружка, которой, казалось бы, не было места в пересоздаваемом революцией обществе. Этот круг молодых поэтов именовал себя «Вертепом». В 1926 г. во Владикавказе им удалось издать микроскопическим тиражом альманах «Золотая зурна». В революционные годы Архиппову пришлось переехать в Новороссийск, в 1931 – вернуться во Владикавказ – и уже навсегда. Все эти годы он преподавал в школе, а в свободное время писал статьи, воспоминания, стихи, составлял многочисленные рукописные сборники любимых своих поэтов: Черубины де Габриак, Волошина, Меркурьевой и других. Письма рассказывают о драматичной истории взаимоотношений Архиппова и Меркурьевой, осложнившихся во время голодомора 1933 г.

Адресат писем – московский филолог, поэт и переводчик Дмитрий Сергеевич Усов (1896–1943), тоже сотрудник «Жатвы», возник в жизни Архиппова в 1915 г. – это была эпистолярная дружба, оборванная лишь смертью Усова. Друзья не только обменивались новостями о книжных

новинках, делились порою интимными переживаниями, новостями литературного быта, далеко не всегда совпадая в оценках, но неизбежно дорожа редкой возможностью откровенного разговора с единомышленником. Получив от Архипппова в письме разбор своих стихотворений, Усов писал в ответ: «Вы сами – светящийся, хрупкий, седой и целомудренный, с очертаниями мыслей, которые находят друг на друга и друг от друга отсвечивают. Вы ищете бóльшей глубины и напряжения, нежели поэты могут дать Вам. Всякое Ваше критическое построение – это кристаллическая надстройка над зерном самого стихотворения. Вы – Чурлянис критики.

Вы напоминаете мне одну чудную средневековую легенду: женщина принесла частицу Св. Даров в улей. Пчелы из воска возвели над ней капеллу так, что причастие оказалось на алтаре, где ему и подобало быть. Ваше сердце – это

улей, полный сотами
золотыми, несравненными...

Благо тому, кого Вы пожелаете принять в свою галерею, чей портрет Вы сочтете достойным рамы. Он от этого станет еще живее и ярче». Встретиться друзьям пришлось, кажется, лишь единственный раз в жизни: летом 1928 г. они провели несколько дней вместе в Детском Селе (так тогда называлось Царское Село) – здесь каждый поворот улиц помнил шаги И. Ф. Анненского, ставшего для друзей и литературным кумиром, и предметом пристального изучения.

В 1931 г. Архиппов гостил у Волошина в Коктебеле. Позже об этих днях он напишет подробные воспоминания. Волошин оставит записи об Архиппове в своем дневнике. Оба документа опубликованы. О пребывании у Волошина Архиппов, конечно, писал и Усову. Публикуемые письма являются важным дополнением к уже известным документам.

В 1935 Усов был арестован по делу «немецкой фашистской организации» (т. н. «делу словарников», – неточное, но распространенное именование, – вместе с Г. Г. Шпетом, А. Г. Габричевским, М. А. Петровским, Б. И. Ярхо, В. Н. Дружининой), получил срок – 5 лет. В 1937 из Москвы в Киргизию была выслана жена Усова Алиса Гуговна (1895–1951) – «как член семьи осужденного за антисоветскую деятельность». Освободившись в феврале 1940, Усов поехал к жене. В 1941 ему удалось устроиться в Ташкентский педагогический Институт, где он последние три года жизни заведовал кафедрой немецкого языка. Приехавшая в Ташкент в эвакуацию вместе с семьей А. С. Кочеткова (одного из основных героев публикуемых писем) В. А. Меркурьева писала в 1942 об Усове, чье здоровье было подорвано 5 годами лагеря: «он совсем не выходит иначе как на лекции». Н. Я. Мандельштам, общавшаяся с Усовым незадолго до его смерти, вспоминала, что одной своей чертой он напоминал ей Мандельштама: «тоже ничего не боящийся и всем напуганный». В 1943 Усов умер от сердечного приступа в возрасте 46 лет. Известная пианистка М. В. Юдина называла его имя в ряду писателей, погубленных Сталиным, через запятую с именами Булгакова и Хармса.

Усвоившие «искусство дышать без воздуха и без земли стоять» (как написал поэт Александр Ромм), и Усов, и Кочетков стали частью поколения, которому, по формуле Ахматовой, «не дали раскрыть рта».

Переписка Д. С. Усова и Е. Я. Архиппова – ценный документ эпохи 1920–1930-х гг. Исследователи литературы этого периода уже обращались к письмам Усова к Архиппову, хранящимся в РГАЛИ. Сложная судьба архива Архиппова привела к тому, что некоторые из его бумаг хранятся в частных собраниях и до сих пор не все известны ученым. В настоящую публикацию вошли все письма Архиппова к Усову, которые находятся в фонде литературоведа М. А. Торбин, хранящегося в московском музее М. И. Цветаевой. Возможно, со временем станут известны и другие письма Архиппова к Усову.

Переписка, начавшаяся в 1915 г., видимо, прервалась на время Гражданской войны. Первые два публикуемых письма Усов получил в 1920-м, в Астрахани, где он жил в 1918–1923 гг. Следующие письма – уже в 1931 г. в Москве (куда он вернулся в 1923-м). Лакуна в публикуемых письмах на этот раз не означала паузы в переписке: о том, что ее не было, свидетельствуют ответные письма Усова к Архиппову 1921–1934 гг. (правда, в известном на сегодняшний день корпусе писем Усова Архиппову отсутствуют письма 1933 г.). Письма Усова к Архиппову будут включены в подготавливаемую мной книгу Усова.

Некоторые из писем Архиппова от времени выцвели, чернила во многих местах размыты водой, и кое-где слова приходилось угадывать по едва уловимой бороздке вспахавшего бумагу пера. В настоящей публикации в основном сохранены особенности орфографии и пунктуации подлинника; названия, написанные без кавычек, выделены курсивом; сокращения слов раскрыты без ломаных скобок.

Мне показалось необходимым предварить публикацию перечнем сквозных персонажей писем, часто называемых лишь по имени, имени-отчеству или инициалам.

Андрей – поэт князь Андрей Владимирович Звенигородский (1878–1961), друг Архиппова со времени учебы в Московском университете. См. о нем: Н. А. Богомолов. Звенигородский // Русские писатели. 1800–1917. Т.2. М., 1994. С.333.

Вера, Вера Александровна, В. А. – В. А. Меркурьева. См. о ней: Гаспаров М. Л. Вера Меркурьева (1876–1943) Стихи и жизнь // Лица. Биографический альманах. Вып.5. М.- СПб., 1994. Недавно ее стихотворения были изданы в книге: Вера Меркурьева. Тщета. Собрание стихотворений. Составление, подготовка текста и примечания В. А. Резвого. М.: Водолей Publishers, 2007. (Далее: *Тщета* с указ. стр.). Не вошедшие в эту книгу стихи см. в нашей публикации: Вера Меркурьева. «Умейте жить минуткой...» (подг. текста и комм. Т. Ф. Нешумовой) // http://www.utoronto.ca/tsq/24/merkurjeva24.shtml.

Всеволод, Всеволод Александрович, Вс. А. – Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977) – поэт.

М. И., Михаил Иванович – Михаил Иванович Слободской (1895-не ранее 1934) – поэт. Вот что написано о нем в статье в словаре «Писатели современной эпохи», подготовленной по материалам Архиппова (не подписана, как и все статьи в этом издании): «род. ... в с. Рассказове Тамбовского уезда в семье крестьянина. Через 2 года отец ушел в город и приписался к сословию мещан. С. окончил 1-е тамбовское реальное училище. Высшее экономическое образование было прервано призывом в армию. Живет во Владикавказе; в 1922-24 гг. состоял в местном поэтическом кружке «Вертеп», руководимом поэтом Верой Меркурьевой. Впервые выступил в печати во фронтовой газ. «Голос окопа» (1917. №№ 29, 33. Изд. комитетов военных депутатов частей 32 корпуса). Участвовал в газ. «Власть труда» (Владикавказ), в журн. «Студенческий журнал» (Тамбов, 1918), «Грядущая культура» (Тамбов, 1918–19), в сборн. «Золотая зурна» (Владикавказ, 1926) и др.» (Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь. Том второй. Книга подготовлена к изданию Н. А. Богомоловым. М., 1995. С.179). Адресат многих стихотворений В. А. Меркурьевой.

М. А., Максимилиан Александрович – М. А. Волошин.

Иннокентий Федорович – И. Ф. Анненский.

А. С., Александр Сергеевич – поэт и переводчик Александр Сергеевич Кочетков (1900–1953), автор знаменитого стихотворения «Баллада о прокуренном вагоне» (чаще называемого по строке из него – «С любимыми не расставайтесь»). До сих пор многие его стихотворения и переводы не изданы. Вышла только небольшая книжка избранного: А. Кочетков. С любимыми не расставайтесь. Стихотворения и поэмы. М., 1985. Далее: КОЧЕТКОВ-1985, с указ. стр.

Катя, Катюша – Екатерина Андреевна Юрченко (?–1966?) – близкий друг Е. Я. Архиппова и В. А. Меркурьевой, адресат их стихотворений. Ее портрет в стихотворении Меркурьевой «Силуэт» (1928): «На голове клетчатая кепка,/ кожаный портфель в руках,/ из вуза отстукивает цепко/ на службу не шаткий шаг.../ Длинные глаза до щелки сузит,/ до нитки губы сожмет, –/ такая пройдет в любом союзе,/ такая – свое возьмет.// Вернется домой – раскинет руки,/ раскроет глаза – всю ширь –/ она весь день с душой в разлуке,/ она не может так жить./ Разрезом смотрит серых миндалин/ на все, что дразнит пестро;/ всегда удивлен и опечален,/ всегда обманут Пьеро» (Тщета. С. 464).

Давид, Давидочка – Давид Абрамович Тарноградский (1891–1974) – биолог, директор Северо-Кавказской гидробиологической станции, профессор кафедры зоологии Горского сельскохозяйственного института, библиофил. См. о нем: Е. Тахо-Годи. Великие и безвестные. Очерки по русской литературе и культуре XIX-XX вв. СПб., 2008. С.262-264.

Алиса Гуговна – Алиса Гуговна Усова (урожденная Левенталь, 1895–1951) – вторая жена Д. С. Усова. См. о ней: Нешумова Т. Ф. «Гуговна» // «Сохрани мою речь...» Вып. 4/1. М., 2008. С. 226-244.

Клодя – вторая жена Архиппова – Клавдия Лукьяновна (Лукинична; урожд. Иовина; 1900–1976). О ней – запись в дневнике Волошина от 27/VI 1931 г.: «Его жена – Клавдия Лукьяновна. В Новороссийске мне она показалась похожей на его дочь. Но это сходство оказалось только поверхностным. Она такая же робкая, неуверенная, деликатная. Так же любит лирические стихи и разделяет страстно его литературные интересы и пристрастия».

Выражаю признательность коллегам из Музея М. И. Цветаевой за любезное разрешение работать с публикуемыми материалами.

Татьяна Нешумова

1920. Новороссийск.[2]

Милый и дорогой Дмитрий Сергеевич!

Несказанно обрадовался Вашему письму. Все ждал его из Москвы. Слава Богу, теперь будет от кого ждать мне письма. Из Москвы не получил ни одной строчки; не знаю, что думать о Вере Александровне Меркурьевой. Писал Ей и лично и через Вяч. Иванова.

Последние месяцы (даже больше, с августа 1919) Надежда Сергеевна[3] и я прожили душа в душу со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Необыкновеннейший и драгоценный по своим особенностям человек. Сейчас он в Москве. При нем я служил в Подотделе Искусства[4]. Перемен у меня очень мало: сейчас состою Председателем Временного Педагогического Совета гимназии, работаю очень мало и не серьезно. О последних своих экскурсах я Вам, кажется, писал: это: «Религия Фамиры»; «Иерофант ужаса и страсти» (кн. Звенигородский); «Мелодия мучения» (Лирика Арсения Альвинга)[5]. Дальше – ни с места. Пробовал составлять словарь поэтов от «Скорпиона»[6] до наших дней (нечто вроде Панлирикона), но границы словаря еще очень неопределенны. Новых книг почти нет: видел «Ямбы» А. Блока; «Прометея» Вяч. Иванова; несколько книжечек, написанных при содействии Вс. Э. Мейерхольда[7]; Плавта «Близнецы», перевод С. Радлова; и это, кажется, все. До сих пор не имею в руках: «Скифов» №2 и 3[8]; «Рудольфа Штейнера и Гете»[9]; «Декабристов» Мережковского. И все еще не могу достать «Символизма» А. Белого. Удалось мне его читать только во Владикавказе. Имею: «Младенчество» Вяч. Иванова, сборник «Мы»[10], «Все сочиненное Маяковским»[11].

Как здоровье Ваше? Когда собираетесь в Баку? Ради Бога – если письмо найдет Вас, – отвечайте, я буду писать подробно. Скажите, когда покидаете Астрахань, чтобы я знал и не писал туда. Одни ли Вы живете или с родными?

Лишения у нас и тяжесть жизни невероятные. Надежда Сергеевна болела очень сложными и тяжелыми болезнями, доходившими до отеков легких. Кроме того, перенесла дифтерит. В ноябре и декабре я пролежал в постели, заболев суставным ревматизмом. Ирина[12] здорова, но очень малокровна и страдает от холодов.

В. В. Сиповского[13] я знаю как попечителя Северо-Кавказского Учебного округа. Не интересен. Ко мне относился хорошо. Видел его 2 раза в Новороссийске. Это последний попечитель Округа (1919–1920 г.).

Надежда Сергеевна уже послала Вам письмо. Нежно и преданно Вас, дорогого, обнимаю и всегда люблю.

Ваш Евгений А.

20 ДЕКАБРЯ 1920. Новороссийск.[14]

-ности своего брата. Долго и неумело несли гроб, хотя могила была в двух шагах. Съезжали с горы, скользили и вновь поднимались. Но опустить удалось опять не сразу. Могила оказалась коротка. Долго ждали, молча, сосредоточенно, понимая всю необычность такого отдания долга покойному. Наконец, брат перекрестил гроб и без единого слова все стали расходиться. Это был гроб кн. Евгения Николаевича Трубецкого[15]. Больше ничего серьезного, ничего достойного внимания я не видел за всю разлуку с Вами.

Я очень тоскую, что не могу заниматься для себя. Днем занят в отвратительной школе среди грубых детей. Потом обед. О нем лучше не вспоминать. И солнце в вихрях Норд-Оста, в этом году

особенно жестких, быстро опускается. Ни читать и ни писать: маленький светильник с пламенем робкой свечи горит на столе. Ириночка еще требует читать, а я расставляю в уме мои невозможные планы: о Дионисе, об Орфее, о Вл. Соловьеве, о Вяч. Иванове, о моем чтении для себя, об умерших кружках и прочих, и прочих причудах. Все вспыхивает и погибает в какой-то потаенной обиде, как запрещенное по рождению к бытию. Потому что завтрак, с утра бестолковая и тупая жизнь города и учреждения затопчет и сметет мои воздушные нагромождения.

Книг новых не имею и не читаю, хотя те, что назвали Вы, знаю хорошо, кроме *Записок Мечтателей*[16]. Вообще приток книг прекратился со времени отъезда Всеволода Эмильевича. Он в Москве, заведующий ТЕО. Звал меня, а потом особенно убеждал и Борис Алперс[17] бросить все и ехать в Москву. – Но не могу: жалко разрушить последний скарб и собрание книг.

. . . . . .

Уже ночь. Голова тягостно пуста или жалко озабочена. Холодно как на вершине горы в нетопленной хижине. Я в белой Ирининой шапке, забаррикадирован креслом от окна (чтобы не дуло). Пытаюсь в опустошенной и осквернённой за день голове создать образ, добрые (благородные) ассоциации, – несколько минут читаю о Вл. Соловьеве. Хотите описание комнаты? – Низкая, полуразваленная, с брешами штукатурки на потолке и стенах, – в глубине двора, полного отвратительных греков. А внутри – полки книг во всю стену, так изумляющие вторгающихся варваров-солдат... Над книгами Тайная Вечеря (с латинской надписью Amen dico vobis quia unus vestrum me traditurus est и посвящением Russorum Imperatori Autocratori Alexsandro Primo»[18]). Под нею в овальной раме – Он Единственный[19]. Стол квадратный, не письменный. Против него еще живут Надины Химеры. Изломанные, еще больше больные после безумного штурма крыс. Два портрета Мейерхольда. – Тоже богатая изломанным блеском прекрасной уродливости – Химера (1.) раб. Б. Григорьева[20]) и 2.) снимок с фотографии Шерлинга[21]). Портретов вообще много. В шкафу, где вделан портрет Мейерхольда, вставлен снимок с библиотеки Ольгинской женской гимназии (Владикавказ). Там и я за круглым столом среди множества шкапов и книг! Самое ценное и родное, что оставил во Владикавказе – это библиотека и могила отца.

Дальше по стенам (если продолжать прогулку): большой Тютчев; Вас. Осипович [Ключевский]; Чаадаев; ближе к столу Баратынский и Вера с Ириной[22]. Опять Вас. Осипович (Пастернак)[23]. Себастиан (Блюменфельда)[24]. Бюст, истекающий кровью, на фоне синего спокойного моря с кораблями и прибрежными огородами. Лицо спокойное, но в глазах рождается мучение. Дальше – висящий шкаф с совою (Надин), а на дверцы /так! – **Т. Н**./ тетя Е. В. Раскина[25] тоже с Ириной, сбоку Чаадаев (в беленькой, как бы больничной рамочке с надписью кн. Андрея). В простенке около единственного окна Елочка, рисунок Елисаветы Васильевны[26]; под ней маленькой больной Тютчев. И все.

Пришел из Владикавказа *Аполлон* за 1911 год и *Золотое руно* за 1908 и ½ 1909-го. Этот *Аполлон* Вы, вероятно, хорошо знаете: там Густав Курбе; статья кн. С. Волконского[27]; Иеронимус Босх[28]; статья Иоганнеса фон Гюнтера о Стефане Георге[29]; Чюрлянис и статья о нем С. Маковского; статья Волошина *Клодель в Китае*[30]; Зулоага[31] и проч.

Не знаю, писал ли Вам, что в одном из умерших кружков я читал свои воспоминания о Вл. Францевиче[32], работу о кн. Андрее, *Землю* Брюсова[33] и *Лаодамию* Иннокентия Федоровича[34].

Теперь самое большое, что могу делать дома – пересматривать *Аполлон*, искать портреты и шаржи на авторов линии символизма. О собранном мною альбоме я, кажется, уже писал. Но иллюстрированные журналы теперь встречаются все реже и реже.

Дорогой Дмитрий Сергеевич! Когда будет Вам лучше, напишите, как Вы живете, опишите Вашу комнату, портреты и книги. В последние дни лета я интересовался венками сонетов и теперь знаю их вот сколько:

1) Первый в рус. поэзии появился в 1889 славянского поэта Прешерна[35] (Венок певец твой новый вьет для света...). Магистрал помещен позади.

2) Венок Вяч. Иванова: «Мы два грозой зажженные ствола». Первоначально в *Аполлоне* 1909–1910 и затем во II томе *Cordes ardentis*[36] 1912.

3) Первый венок Максимилиана Волошина, посвящен Е. И. Дмитриевой. *Corona astralis*: В мирах любви – неверная комета... (В сборниках стихов, кн. *Гриф*, М., 1910. Венок помечен: Коктебель, Август 1909 года).

4) Второй венок Максимилиана Волошина: *«Lunaria»*. Посвящение – Майе 16[37] (отдельно):

магистрал позади. Посвящение: «Над головою подымая снопы цветов с горы идет...». 1-й стих венка: «Жемчужина небесной тишины». Помещен в Юбилейном *Грифе* 1903–1913. М. 1913. Стр. 56.

Мало известно мне: Венок Михаила Долинова (не он ли Морис Долинов в *Известиях* Московских). Имя появилось вместе с Конге в сб. обоих поэтов: *Пленные гимны*[38] и ?[39] Венок П. Г. Доленко, весь посвященный образу и творчеству Иннокентия Федоровича (П. Г. Доленко тяжело заболел и уехал в Каир, а не знаю, успел ли отделать свой венок)[40].

Вот, милый и бесконечно дорогой Дмитрий Сергеевич! – мое пестрое письмо. Как только почувствуете себя легче, пишите чаще и не ждите прихода письма, и я ждать не буду: пошлю следующее вдогонку. Нежно Вас обнимаю и целую. Ваш Евгений А.

20 декабря 1920 г.

Чтоб не пропадала страница, – переписываю стихотворение одного Петроградского поэта из кружка Гумилева – *Бориса Божнева*[41].

Кипит лазурная кастрюля,
Струя на землю яркий дым,
И солнце жаркое июля
Уж льется маслом золотым.
На мир – дымящееся блюдо,
Чтобы румяней, горячей
Явилося земное чудо
Из пасти огненных печей.
Так пир торжественный готовят,
И к полдню жаркий мир готов. –
И вот поэты славословят
Искусство дивных поваров.

май 1921 г. Конверт заказного письма Архиппова Усову: из Екатеринодара в Астрахань (угол Литейной и Армяно-Григорианской ул. (4-й район). Дом Католической церкви, №3. Штемпель 20.5.21. Екатеринодар. Почтовая марка с двуглавым орлом. На обороте конверта запись Усова: *«Получено 25 мая 1921. Астрахань. 6*[42]*. К свадьбе. Фрагменты прозы кн. Андрея. Кн. Андрей об ужасе».*

1930

25 ДЕКАБРЯ 1930 [43]

Роценсальм[44]: 1930

25-ое. XII.

Дорогой

Дмитрий Сергеевич!

Сейчас еще очень темно. Горит свеча. Льет дождь... Маленькое окно почти никогда не радует. Солнце входит тогда, когда нас нет в комнате. Круженье все то же. А ночи падают как бред. Сон очень плохой. А сны грустные. Изредка, вдали проходит отец и хочет скрыть от меня, что он плачет[45]. Клодя – та, далекая – молчит[46]. На письмо не ответила. У Веры – очень нехорошо. Сошла с ума Мария Александровна, сестра, которая поддерживала ее... Всеволод А. был так мил и добр, что написал мне письмо. А я так устал и так замотался в беспорядочном кружении, что осмелился ему не отвечать...

М. А.[47] обидно не пишет мне. Поднял весь свой богатый архив и пишет мемуары... Спокоен, ясен и ласков (не со мной, конечно!)

Да, мемуары... Их надо бы приобретать в изд. Academia. Скоро оно свернется от «содружества» с Зиф'ом. А я прохожу мимо. Только вижу, что приезжие люди скупают изд. Academiae. Промелькнули как-то гржебинские издания: Достоевский, Баратынский. Может быть, Вы разрешите мне прислать Вам Баратынского (изд. 1922 г.). Я был бы очень рад.

Я ничего не читаю. Книги мне только кажутся желанными. Вот Модзалевский «Пушкин» (большой том), Записки Каратыгина в 2-х томах, Записки Мгеброва[48], Дельвига; работа Гроссмана об Алисе Коонен.

Но читать эти книги мне невозможно.

Возможно ли достать в Москве «Записные книжки А. А. Блока» (ред. Медведев)? Хорошо бы

наложенным платежом прислать мне, если это не затруднит Вас... Сюда, в Новороссийск, это издание, вероятно, *не* дойдет. Как многие сюда уже не доходили! Полки в Гиз'е[49] пустеют. Не доходят даже служебные книги («Что делать?» Чернышевского).

Здоровье, конечно, нехорошо. От утомления, от постоянных мелких забот. Это как многочисленные отравные уколы в голову. Голова болит часто, а особенно неприятны головокружения, настигающие иногда в спокойном состоянии. Не лучше и здоровье Клоди: в этом году часто простуживается.

В письме Вс. А. говорит о Вашей жизни в Москве. О Вас и об Алисе Гуговне говорит душевно и прекрасными словами:

«На полу их комнаты всегда должно было бы лежать солнце... Да благословит Господь тишины и порядка их неторопливые дни!»

– – –

Пока до свидания. Наш привет и почтение дорогой Алисе Гуговне. О Вас думаю всегда неизменно, пристально и печально.

Ваш ДЩ[50].

PS: Не успел отправить Вам письмо, как получил известие, что Верочка – одна: Мария Александровна умерла... и у меня нет слов, чтобы написать Вере: не умею и не знаю, как ее утешить...[51]

1931

19 ЯНВАРЯ 1931[52]

Роченсальм. 1931. 19.I.

Дорогой

Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваш отклик на мое 1-ое после перерыва письмо. Я только что встал с постели. Тяжело болел со 2.I. С температурой и ознобом попробовал выйти в школу 3.I. И тогда началось все: жестокий грипп, перешедший в паратиф. t-ра с большими странностями: утром почти всегда выше, чем вечером. Больше всего мучила головная боль: обод, давящий виски, глазные нервы, мускулы лица. Никогда так не болел: ни в 27, ни в 28 [годах]. И сейчас болят глаза изнутри, самые яблоки глаз... Официально врач определил мою болезнь как неврастению и прописал валериану!

Время со 2 по 19 пропало напрасно: все хотел написать о Давидочке: книги Верховского (материалы), работа Модзалевского. Хотел добраться и до переписки С. М. Дельвиг...[53]

Но все расчеты на эти милости болезни пришлось оставить. Читать стало больно... Есть мечта еще приобрести письма Пушкина в редакции Модзалевского в 2-х томах и отдельно письма к Хитрово.

Боратынский, тот, что я предлагал Вам, составлен из 2-х томов Академического издания (Избранные стихотворения и поэмы; вступительная статья, увы, опять М. Гофмана[54]). Обязательно буду говорить с преподавателями иностранных языков о словарях. Но не верится, чтобы они обладали такими словарями.

Как хорошо, что Вы ищете для меня *Записные книжки* Блока. Здесь надежда потеряна. Неужели они в таком маленьком тираже (меньше 2000)? И еще к Вам просьба: не встретится ли Вам что-либо об учебно-плановой системе в школе ФЗС (или 2-й ступени)[55]. Это – все нужные для меня вопросы (как председателя производственного совещания и председателя учебно-методической комиссии).

Я обязательно спрошу Максимилиана Александровича о работе его, касающейся Черубины де Габриак. Но ведь он не ответит. Он пишет только в Минутку Попову[56] и довольно много, со мною – молчит. А я в свою очередь стараюсь не писать Попову... Пришло письмо из Сибири от Клоди и, годичное, от Валентина Иннокентьевича[57]. Грустное. Он до сих пор без места.

Пока до свидания. Обнимаю Вас крепко. ДЩ.

20 АПРЕЛЯ 1931[58]

Дорогой
Дмитрий Сергеевич!

Вероятно, мне нет уже извинения. Если Вы в силах будете простить меня – скажите в ответном письме...

Хотел бы Вам рассказать о своей жизни за последние 2 месяца... Но ведь жизни не было, – и рассказать нельзя... Нет, никакой фактической стороны. Это, просто, – утомительные кружение, даже без просветов чтения или интересной беседы... Кружение идет от болезни к болезни... Я уже 2-ой раз за эту зиму заболеваю гриппом... Единственное, что могло радовать – письма от Вас..., но я сам лишил себя этого удовольствия, сам не писал Вам... И теперь не знаю, здоровы ли Вы или просто рассердились на меня. За все время было только одно письмо (ответное) от Всеволода Александровича и то не порадовало, потому что заключало такую фразу: «Вы видите, я еще не забыл Вас». Необходимость для меня быть забытым теперь очевидна... Вере очень тяжело и материально трудно. Она промолчала даже тогда, когда я послал ей *Город Муз*, любимый ею... Клодя давно не пишет, работает над книгой своего мужа (о жизни каких-либо северных народностей[59]).

Скажите, над чем работает сейчас Вс. А. ? Выйдет ли его поэма о Днепрострое[60]? Мне он ничего не говорит...

В промежутке между школьной работой и вечерними занятиями грузил доски и балки, складывал их в штабели. Это мне дается очень трудно... Дома, во время болезни, составлял маленький альбом из рисунков Кустодиева и Головина. И очень жалел, что не сумел достать прекрасную книжечку: «Русь. Рисунки Кустодиева. Слово – Замятина (1922-23(?))[61].

Милый, не сердитесь на меня и когда будет мыслимо – пишите! Всегда Ваш ДЩ

Роченсальм
20.IV. 31.

PS: Глубокое почтение и привет Алисе Гуговне от меня и Клоди.

PS1: Благословляете ли Вы меня на отъезд в Коктебель в июне? Рассчитываем пробыть неделю: 3-7 дней. Отсюда план: – на Владикавказ.

PS: Письмо мое ужасное, посланное спешным, я думаю, Вы давно уже предали огню. Если можно меня простить – простите. ÒÄτη[62], омрачившее меня, проходит.

PS: Что вы сейчас цените и покупаете их художественных изданий? Я купил монографию о Тропинине и горько жалею, что упустил Митрохина и Чехонина[63].

Еще раз благодарю за книжку Блока.

ДЩ

Я уже принес Вам извинение за 1-е письмо, которого нельзя было писать, а надо было похоронить в себе... Но 2-ое [см. выше Д. У.][64] было уже спокойным и стереотипным. От 19.V.31[65]

3 ИЮНЯ 1931[66]

Роченсальм
1931
3.VI.
Эпиграф:
...голодный девятнадцатый год, –
Поэтовы корки без хлеба
М. Цветаева[67]
Когда разомлеют корки
в нищей чашке моей...
Д. Щербинский

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил оба письма.. 1-ое большое и 2-ое повторное на расстоянии не более 5 дней. Сейчас же по получении 1-го говорил с Павлом Александровичем[68]. Он больше знает все возможности и

условия окрестностей. Пришли к заключению: ни Роченсальм, ни Геленджик, ни др. близкие места нельзя посоветовать Вам из *серьезного* опасения, что Вы будете λιμαίνειν[69]… Λιμος[70] давно дает нам себя почувствовать. Здесь у всех мечта только о Севере и о возможности питания на Севере. О том же, но еще в более острой форме, пишет Максимилиан. Прежде чем ехать, он советует мне достать питательную путевку от НК Просвещения. Но, конечно, это невозможно. Мы едем лишь настолько, насколько хватит запасенного (испеченного самими) хлеба. 3-5 дней. Боюсь, что и 5 дней не продержимся. «В доме отдыха на питание (хотя бы краткое) не принимают» (Максимилиан Волошин)[71].

Тогда же я послал письмо во Владикавказ – Катюше, где подробно сказал все то, о чем Вы писали. Письмо послано давно, заказным, – но ответа еще нет. Если до нашего отъезда не будет от Катюши письмо, – я перешлю Ваш адрес. Пусть извещает Вас непосредственно, чтобы не было задержки. Везде (и во Владикавказе) для нас – изменения, не в сторону удобства. Я и Клодя[72] уже не можем остановиться у мамы[73] (после отъезда Клоди[74] в Сибирь). Мы рассчитываем на комнату Кати, а она – переселится в знакомую семью. И конечно, – без пансиона, с надеждой обедать в столовых. Вы подивитесь, вероятно, как неустроенно и без определенных и точных данных мы путешествуем. Везде плохо: у мамы и у Верочки. Но все же количество людей знакомых и близких гораздо больше во Владикавказе, чем в Роченсальме: мама, старая сестра, Катя, Вера, Д. А. Тарноградский. Здесь и того нет: здесь жуткая solitudo[75]. Один (так и остался во всех годах) – Павел Александрович[76]. Но и встреча с ним на квартире или на улице – уже чудо: так ужасно он занят, властвует над его семьей *горе*.

Каковы будут «условия питания» во Владикавказе еще не знаем, но думаем, что по сравнению с Роченсальмом, – все же лучше. А главное – скорее покинуть пределы раскаленного подавляющего Солнцем и духотой города. Клодя не может дождаться отъезда. Очень похудела и истощилась после болезни. Врач уже сказал ей, что надо уходить от педагогической работы. Мечты скорей уйти от этой улицы, от этого дома, где за стеной так часта брань, где за стеной – девочка, со старыми увядшими глазами, поет надтреснутым голосом лихие цыганские песни. Иногда кажется, не жена ли это Мармеладова, после его смерти, приводит петь свою дочь, маленькую и прозрачную.

Маршрут наш (почти выверенный) будет таков. 6-го июня – отъезд. Пароход, вероятно, простой. Экспресс – только на Ялту, а от Ялты (все-таки на простом) надо опять ехать назад – в Феодосию.

Через 5 дней (maximum) – возвращение в Роченсальм. 2-3 дня останемся в Роченсальме, чтобы оправиться и – опять отъезд...

Числа 15–17-го июня отъезд во Владикавказ. Скорого без пересадки – тоже нет. Пересадка в Мин. Водах. Это – особенно неприятно. В родном городе думается пробыть от 3-х недель до 1 мес., конечно, в зависимости от экономич. условий. Очень хотелось бы, чтобы Клодя проехала на линейке до Казбека, – я-то вряд ли поеду. Ни Клоди, ни Мили – не будет. Будет, пожалуй. Мих. Ив. Слободской. Досадно, что Давид женился и ждет ребенка и не будет всецело нашим.

Милый Дмитрий Сергеевич! Напишите мне теперь (от 6 до 11) в Коктебель (Адрес: Крым, через Феодосию, в Коктебель М. А. Волошину для меня). Я обязательно напишу и оттуда и во время заезда в Роченсальм. Максимилиан А. передает свой флигель Союзу Писателей и поглощен сейчас этим. Повезти мне ему нечего, кроме статей моих о Черубине...

Крепко Вас обнимаю с надеждой на свидание во Владикавказе. Глубокое почтение и преданность наша Алисе Гуговне.

Ваш ДЩ

PS1. На службе должен я быть к 1 августа (и я, и Клодя), когда выезжаем в лагери («оздоровительная компания»). И это будет тяжело: весь отдых спадет сейчас же.

PS2. Напишите, дорогой, о чем спросить Максимилиана А-ча. О занятиях его своим архивом и стихами Черубины я спрошу. Соберем побольше камушков. Экскурсии на Отуз и в близкие селенья вряд ли удадутся. Я думаю только о Карадаге.

PS3. Вера писала, что думает переехать в Москву, но еще не решилась. Буду убеждать ее, чтобы она поехала...

PS5. Вчера с белыми цветами были у сестры Клоди на кладбище. Тишина, отрешающий покой,

пристанище. Когда обратишься с возвышенности к городу (скрытому): – впереди рассеянные, скромные кресты, за ними бледно-голубой потухший фиорд, и «классическая» (МВ) цепь еще зеленоватых гор... Встретили там же М. А. Вартминскую и Светлану, пришедших к своей Леле. Мы долго не могли пройти по дорожке при виде их, обнявшихся и слитых в горе. Неужели – и в *ожидающем* горе?? Не могу смотреть без страха в лицо Светланы...

18 ИЮНЯ 1931[77]
Кок-Тепе-Эли
18.VI.1931 г.

Милый и дорогой Дмитрий Сергеевич!

Пишу Вам еще больной. Совсем неожиданно заболел неопределенной болезнью (простуда+колит+бронхит) и вот мучаюсь с нею. Началось с 39.5 13-го VI. Сейчас, правда, лучше – 36.9 утром 18.VI. Но силы ушли без остатка. Не могу ходить даже по комнате. А думаю вернуться поскорее домой, чтобы там отлежаться, поправиться и двинуться во Владикавказ. Необходимо выехать туда до повышения тарифов...

Все ждал от Вас письма в Коктебель. Но оно не пришло. В Коктебеле я с 8.VI. До 13-го было прекрасно, как в счастливейшей стране. Здесь полная пустыня: люди только в домах отдыха...

Все здесь поразительно. Ни в какую другую страну не поедешь. После Карадага, после всего амфитеатра гор, из которых каждая необыкновенна – не захочется смотреть на пошлости Ялты и Военно-Грузинской дороги, ставшие избитыми, захватанными трафаретами. От Кавказа (после Коктебеля) может уцелеть только снеговая цепь да горный хрустальный воздух...

Максимилиан Ал-ч очень мил, очень любезен. Завалил меня своими рукописями. А читать их не в силах, так устаю, так болят глаза. Великолепнейший, редчайший на земле человек, Ребенок и Пророк – и он посещает меня два-три раза в день. Да, мне ничего не дается даром – и вот – я поражен бессмысленною болезнью.

Дорогой Дмитрий Сергеевич, получили ли Вы мое большое письмо, в котором я рассказал Вам о поисках летнего местопребывания. После большого письма послал и письмо Кати ко мне с приписками и Катин адрес.

PS1 Ничего не говорю Вам об акварелях, от которых так тихо, так больно, так чисто становится в сердце: Вы ведь все видели на выставке[78].

PS2 Больше всего хочу – скорее поправиться, полечиться в Роченсальме и выехать во Владикавказ. Примите мою верную память, мой привет из лазурной страны. ДЩ

6 АВГУСТА 1931[79]
Владикавказ
6.VIII[80].1931
Я думаю, можно писать мне на адрес Веры: Красивая, 1.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Может быть, Вы пишете мне в Новороссийск, а я опять здесь. Из-за волокиты с моим назначением и переездом приехал опять. И еще нет никакой определенности, нет приказа от Владикавказского Совнарпроса. Канитель. Утомление. И вот – я опять против Линейной церкви. Думаю о Вас. Слушаю звон к поздней обедне. 6-ое августа (19-ое). На столе у Верочки груши из сада. Дни хорошие, стройные, перед началом осени. Утром рано виден чистый непорочный Казбек. Дом (комната) Верочки – тоже Дом Поэта[81]. Он – на каком-то скрещенье дорог, и здесь постоянно появляются: Катя, Михаил Иванович, Давид (его институт Г. С. Х. И. – против Линейной церкви), Л. Семенов, Аргашев (!)[82]... Сегодня праздник (6 авг.) – и я обедаю у мамы вместе с Катей... Она окончила Институт и отбывает сельско-хозяйственную практику. Клодя – в Новороссийске, еще на службе, утомляется в хлопотах и заботах... Как только устрою здесь подобие службы, поеду опять в Роченсальм за Клодей и вещами. До отъезда во Владикавказ я погибал со своими книгами. Взять всего невозможно. Отбор должен быть жестоким. Но тогда не надо останавливаться, не надо задумываться над книгами. Иначе груда книг, которые хочешь взять – будет расти. Меня

очень мучит и утомляет езда по железной дороге. А еще впереди два путешествия. Может быть, мы будем вместе с Верой, может быть эта жизнь вместе будет временной. Возможно, что квартиру придется взять только на Курской слободке... И только потом – подкарауливать удобную квартиру в городе...

Верочка просит сообщить Вам, что она Вам писала в Деденево[83] и очень хочет получить Ваш ответ.

Видите, как исказился мой почерк. Что значит чужое перо, чужой стол.

Крепко обнимаю Вас. Ваш Д.

Верочка очень восхищена эпиграммой в терцинах Мандельштама.[84]

5 СЕНТЯБРЯ 1931[85]

Адрес: город *Орджоникидзе*
бывш. *Владикавказ* (крупнее)
Хлебный пер. д. 1.
Е. Я. Юрченко для меня.
5 сентября 1931 года Вера очень просит передать
Квартира В. М.[86] Вам привет и поклон.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Вы пишете, что месяц уже ничего обо мне не знаете. А я ведь написал два раза: из квартиры Веры. Между этими письмами была открытка из Тихорецкой. Я живу во Владикавказе (после 3-ьего приезда в него) – с 4.IX. Служу опять-таки в школе, потому что командировка моя была через Совнарпрос и журнал *Профобразование*. И я не попал ни в техникум, ни на рабфак; Клодя тоже служит – библиотекарем Индустриального Политехникума. Живем еще у Верочки. И вся жизнь за этот месяц была на ходу и на людях. Завтра мы уже рассчитываем переехать в комнату, но адрес пока останется тот же.

Теперь я уж решительно ничего не читаю и еще совершенно чужд приобретению. Этому соответствует и местное отделение ОГИЗ'а, в котором ничего нельзя найти. Книги, те, что пришлось привезти, останутся в ящиках и надолго. В шкаф попадут только старые поэты и необходимые для преподавания книги.

Спасибо Вам за письмо о Борисе Александровиче[87]. Очень его помню, ценю и люблю. Завидую, что Вы знаете его новые рассказы, новую повесть. Вероятно, это прекрасное произведение...

Я очень часто возвращаюсь к Вашему венку и к венку Бориса А-ча[88]. Ваш очень люблю, а его венок – удивителен и редок.

Ничего не знаю я о Максимилиане А-че и это очень беспокоит. Рассчитывал через Вас узнать от Всеволода А-ча. Но теперь сомневаюсь, был ли он в Коктебеле... Прошлой зимой Мария Степановна убеждала его покончить с собою...[89] Если что узнаете, дорогой мой, от Всеволода Аександровича, пожалуйста, перескажите мне: как он нашел Максимилиана А-ча.

Сейчас я болею немного, но болею рано в этом году. Доктор опять находит колит, но боли очень небольшие. Вот худею я ужасно. От меня осталась только половина за последние 2 года. Сейчас запрещено мне: молоко, фрукты в сыром виде, свежий хлеб, мясо во всех видах и многое другое, – ну как же тут поправиться...

Самое ценное за сентябрь месяц – это, конечно, разговоры с Верой. Только теперь Верочка видит, что я совсем другой, чем был в 1909–13 годах. Письма не могли меня показать с неизвестных сторон. Мы много спорим с Верой. Но веду себя я в этих спорах – непозволительно. Отлично знаю, так не спорят, а так только лают собаки, норовящие непременно укусить даже расположенного к ним человека. Да и собак-то таких, наверное, мало. О чем споры? Все о том же: отношение к людям, к миру, к современности, оценка отдельных людей, оценка поэтов: Пастернак, Маяковский, Корнилов[90], Аргашев, Кочетков и другие. Кочеткова, впрочем, я всегда слушаю терпеливо и внимательно, и многие вещи его хочу иметь. В нем прекрасно слитая линия – Вячеслава Великолепного[91] и Веры Меркурьевой...

Правда ли, что Эрих Федорович[92] издал новую книгу своих стихов?

Обнимаю Вас крепко. ДЩ.

PS. Получили ли Вы фотографию: Я, Михаил Иванович, Вера и Клодя в садике у Веры? Напишите об этом.

PS. Портрет Чаадаева, тот, что на снимке у Вас – погиб. Лицо испорчено, рама разбита. Не знаю еще, уцелели ли Тютчев и Себастиан.

22 ОКТЯБРЯ 1931[93]

Лист 1-й
22.X.31 г.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше письмо, написанное вместе с Всеволодом, но так и не узнал из него, был ли Всеволод у Максимилиана А-ча в Коктебеле и что там делается. Если Вс. рассказывал Вам что-либо о Максимилиане Александровича – пожалуйста, напишите мне...

Сейчас мы уже у себя в комнате, о которой я Вам писал. Конечно, в ней очень тесно, но это лучшее из того, что можно было ожидать. Это очень близко к тому дому, где жил и умер Яков Максимович[94]. Вещи, хотя и поврежденные и потертые, все же дошли. Книги тоже, хотя несколько сундуков, комнатных, желтого дерева с медными ручками, разбито.

В комнате теперь стоят только те книги, которые я хотел бы еще держать в руках: стоит маленький книжный шкап и две полочки, одна на другой... Об остальных книгах не жалею, и все сильнее желаю до минимума сжать свою библиотеку. Я даже не вынимаю главную массу книг из ящиков и сундуков: и они стоят в стеклянной галерее.

Верочка так и не поехала в Москву: осталась во Владикавказе, дает сейчас уроки английского языка. У нее учатся Катя и Клодя. Положение Веры остается тяжелым. Она осталась пока на старой квартире, но в будущем, вероятно, будет жить вместе с нами. Чаще всего у нас бывают Катя, Вера, реже Михаил Иванович. Все они вместе – почти одна семья.

Лист 2-й
22.X.31 г.

Обязательно напишите мне, дорогой мой, *разрешаете ли Вы дать Вере* прочесть ту книгу Ваших стихов, которая составилась из периодически вклеиваемых в нее листочков со стихами.

Очень мне хочется узнать, что Вы цените сейчас из статей и работ в журналах: «Литература и искусство», «Литература и марксизм», «Красная новь», «Новый мир» (2 цикла новых стихов Пастернака; воспоминания о Гумилеве (в статье Никулина[95])... Цените ли Вы сейчас Клюева, хотите ли его перечитывать, *допускаете ли его* в свою (сжатую) библиотеку? Верочка говорит в посылке к одному стихотворению, что она не Вера Александровна, а Вера Клюевна. Мне от этого – очень грустно...

И последний вопрос (– надоедаю Вам!) – цените ли Вы стихотворения Корнилова («Стройка» журнал) и Уткина[96]?..

В простенке между окнами у нас теперь разместились 7 овальных портретов: М. Цветаева и Блок; Пушкин, Баратынский, Вяч. Великолепный[97], Инн. Анненский и Ходасевич. – Ближе к столу: Н. С. Гумилев. На столе – по-прежнему Анна Ахматова, Максимилиан. А сейчас стоит и домик Максимилиана и горы вокруг, и сам он, идущий по мостику (фотография).

В этом письме посылаю очень плохую фотографию. Татарин сзади всех – это я. На фотографии – часть Мастерской и Таиах[98].

Пишите, дорогой, скорее.

Привет Алисе Гуговне.

Ваш ДЩ.

20 СЕНТЯБРЯ 1931[99]
Кап-Кой[100]
20.IX.1931

Владикавказ остался тот же. Только выглядит очень постаревшим. Такой же уютный[101] городок. Но жизнь идет здесь на большой глубине, ниже Новороссийска на «80.000» футов. Очень хорош тот уголок, где живет Верочка. Та же церковь. Те же гигантские деревья, укрывшие ее от эпохи. Те же зеленые железные колпачки на тумбочках зеленой ограды. И тот же звон, как в тот день, когда умер Яков Максимович.....

Дом Верочки – тоже «Дом поэта». Сюда стекаются и те, что уцелели от Вертепа[102], и новые, совсем молодые. Почти каждый день мы в обществе Михаила Ивановича и Катюши. О Новороссийске, конечно, не жалею. Только о запахе зеленоватого моря и об аллее перед домом, где жили...

Милый Дмитрий Сергеевич! Теперь больше, чем когда-либо буду нуждаться в Ваших упоминаниях о книгах, в Ваших рекомендациях, – Гиз здесь крайне плохой. И сравнивать нельзя с Новороссийским, поставленным превосходно и позволявшим добывать книги скорее, чем в Москве.

Пишите, дорогой, теперь по адресу: гор. *Орджоникидзе* Бывш. *Владикавказ* Хлебный 1. Е. Я. Юрченко для меня.

Крепко Вас обнимаю.

Верочка наверное будет в Москве около 1 октября. Обязательно выберите время и повидайтесь с нею (Зубовский бульв., 6, кв. 19). Ваш ДЩ.

13 НОЯБРЯ 1931[103]

Бороды не ношу с 28-го года, со времени возвращения из Петербурга. Бреюсь, увы, только в парикмахерских... Усы и борода ко мне вернуться не могут – просто они мне надоели...

«Альбом Иннокентия Анненского» – это альбом снимков, вырезок, рецензий и вместе – это альбом видов Царского Села. Там и Ваш[104] портрет и Ваш рисунок тропинки к могиле Иннокентия Федоровича.

Верочка зачитывается сейчас Вашими стихами. Ложится и просыпается с Вашей голубоватой тетрадью (в переплете с овальным ярлыком). Хочет писать Вам письмо, говорит, что непременно напишет. А Волошину Максимилиану А-чу так ведь и не написала, несмотря на то, что он подарил ей прекрасную голубую акварель (привезенную мной).

Как Вы нашли, дорогой, стихи Вячеслава Иванова и Кочеткова? Когда будет время, перебирите в 2 (двух) моих последних письмах ворох вопросов. В особенности о Марине и Анастасии Цветаевой[105].

С Верочкою вижусь теперь редко, с тех пор как мы съехали с квартиры. У нее – уроки, у меня – служба, – и она боится, что мы будем теперь меньше говорить, чем в письмах.

На последней странице меня всегда начинают одолевать вопросы и просьбы к Вам. 1) Пришлите мне топографию Новодевичьего, той части, где Ваш дом и где могилы Владимира Сергеевича и Михаила Сергеевича[106]. 2) Скажите, есть ли надежда, что 2 и 3 тома «Словаря писателей современной эпохи» увидят свет, или надо считать эти два тома погибшими. Меня интересует судьба словаря и совсем не интересует возможность упоминания обо мне: я давно примирился с тем, что это – для меня – невозможно[107].

Вы правы, что тоска по морю может начаться скоро. Здесь некуда пойти и некому отдать душу. Негде раствориться... Нет простора и звучания волн, – того, что меня уводило за собой и исцеляло. Все тяжкое и жестокое я переносил в соседстве волн, в живом их голосе... Это очень много для врачевания души...

Пока до свиданья.
Крепко обнимаю Вас
Ваш Д Щ

Кунгахелла
1931
13 ноября.

23 ОКТЯБРЯ 1931 го[8]

Кап-Кой
=======[109]
1931
23.X.

Дорогой
Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше открытое письмо. Очень мало в нем о Максимилиане Александровиче, вероятно, мало В. А. рассказывал. Недоумеваю, кого же это мог усыновить М. А.

От Голлербаха пришло письмо, где он говорит, что пишет продолжение *Города Муз*, – автобиографическую повесть. А кстати, – нравится ли Вам язык в *Городе муз* и самое построение книги. Скажите, дорогой, что Вы думаете о Голлербахе-стихотворце. Можно ли серьезно говорить о стихотворениях Э. Голлербаха?

Вера в сладчайшем восторге от *Города Муз* и требует от меня все книги Голлербаха, чтобы изучить «прозу Голлербаха»[110]. Так раньше она падала ниц перед Нат. Бромлей[111] и Северяниным, теперь отвергнутым.

Как хорошо было бы, если Вы когда-нибудь сняли все то, что уцелело от могилы Владимира Сергеевича[112].

Простите меня, я никак не могу унять себя с бесконечными вопросами. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы написали побольше об Анастасии Цветаевой и о новостях от Марины. Я с удовольствием прочитал этим летом книгу Анастасии Цветаевой: *Дым, дым, дым* и хотел бы побольше знать об Анастасии Ивановне.

Если бы Вы знали, как хочу я заняться спокойным, неторопливым чтением: прочесть *Мартина Чезльвита*[113], несколько вещей Достоевского, даже перечитать *Войну и Мир*. И нет, – этого мне не дано. Вместе с тем, я теперь (в отличие от Новороссийска) мало читаю журнальных статей и современной литературы. Там почти ни один журнал и ни одно (даже газетное) стихотворение не проходило мимо меня.

Присылаю записочку от Веры. Если можно, пришлите наложенным платежом эти книги, конечно, – если они найдутся.

Посылаю еще одну фотографию: окно беседки в садике (у Михаила Ивановича), рядом со мною Татьяна Сушилина (жена Михаила Ивановича), сестра Нила Сушилина, за которым наша Сибирская Клодя[114].

Обнимаю Вас. ДЩ

Утро 25.X. PS (1). Сегодня случайно не отменен выходной день. Отыскал место в городе, – откуда видна вся цепь, все тройные цепи хребта. Смотрел, как на сияющие светила, пока не закружилась голова. Выбрал себе неснежную, отдаленную от Казбека гору, милую, потому что похожа на Коктебельские горы.

PS (2). Избранная мной вершина видна с угла улицы. Кажется, будто на ней древнейший город с круглыми полуразрушенными башнями. Она видна и от дома Якова Максимовича; там улица обрывается в Терек.

Утро 25.X. 31 г. PS (3). Жалею, что я не дал Вашего адреса Давидочке (профессор Давид Абрамович Тарноградский). Он не утомил бы Вас и не был бы в тягость. У него прекрасная библиотека и собрание кустарных кукол. Перед отъездом его в Москву и Ленинград – я ездил с ним кататься в горы (9 верст), на его башню; 2-я его станция (биологическая) в Гвилетах.

1932
3 ЯНВАРЯ 1932[115]
Кунгахелла
1932
январь
3

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Опять надо мне писать целую историю моего молчания. Я замолчал с тех пор, как Вы не ответили на мое письмо с фотографией (Вера+Кочетков), в этом же письме был ряд вопросов (докучных и надоевших): о Марине и Анастасии Цветаевых, о выходе 2-го тома словаря «Писатели современной эпохи». Это было только начало, а потом я замолчал уже окончательно: грипп у Клоди, потом у меня, а затем болезнь руки (уже третий палец искажается и меняет свою форму от нарывов). Врачи ищут причину в питании... И сейчас еще не зажил палец правой руки, пишу с трудом.

И вот – за этот период, оказывается, мне нечего Вам рассказать. Служба очень тяжела, отнимает все время и очень сильно разрушает здоровье. Последнее особенно для меня печально и горестно. Клодинька тоже тяготится своей службой: хочет вновь переходить на учительскую работу. А я все отговариваю ее (библиотека у нее академическая, научная, – Индустриальный Политехникум) и завидую ей.

Я совсем ничего не читаю, не приобретаю книг, даже тех, которые мне советуют (*Охранная грамота* – Пастернака, *Парад осужденных* – Спасского[116]).

Странное у меня бывает хождение по улицам. Оживают те дома, в которых я когда-то жил. И я прохожу мимо них в разном сочетании моих обликов, прохожу не один. Часто рядом идет молодой человек в черной шляпе и крылатке, волосы его спускаются почти до плеч, а иногда рядом появляется мальчик – в светлом гимназическом пальто: он очень любил смотреть на небо и всё ждал от него каких-то обещаний. Итак, иногда втроем, иногда вдвоем мы идет по улице. Вот место, где стоял бабушкин дом, вот – дом против Лютеранской церкви; вот дом, где я писал о Баратынском, вот дом, в который стали приходить письма от далекого и дорогого друга – Дмитрия Сергеевича; вот дом, где получил благословение матери Верочки – Эмилии Васильевны...[117] В том же доме, против Лютеранской (любимой) церкви умерла позднее мать Веры. В Ольгинскую гимназию так и не пошел, чтобы не совершать путешествие по комнатам, книгам и годам[118].

Сейчас гостит Клодя с мужем и мальчиком – Иннокентием. Клодя очень сильно отошла от литературы и от стихов. Встречали Новый год у Слободских, были все те же Сушилины, Михаил Иванович, мы и Катюша. Вера сейчас очень грустна. Еще раз ее звали в Москву, и она не поехала. Пишет горчайшие стихи о себе, о Машеньке[119], о своей новой «свободной» жизни. Не знаете ли в Москве – Евгению Яковлевну Рабинович, ближайший друг Веры, служила со мной в Ольгинской гимназии. Сейчас, кажется, в библиотеке Коммунистической Академии[120].

Милый Дмитрий Сергеевич! Не сердитесь за молчание. Глубокий поклон и память – Алисе Гуговне. Всегда, неотъемлемо Ваш ДЩ.

PS. А еще я просил чертеж, где находятся могилы Владимира Сергеевича и Михаила Сергеевича.

1 ЯНВАРЯ 1932[121]
Кунгахелла
1932
15. I.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил письмо с известием о смерти Сергея Андреевича[122]. Прочел с большим волнением, и сердце рванулось к Вам, быть около Вас, сжать Ваши руки, дорогой мой, прекрасный друг! Если найдете возможным, скажите несколько больше о Сергее Андреевиче, о датах жизни, о его трудах, о родстве с Усовым в воспоминаниях Белого[123].

Как мама Ваша переносит утрату? Как ее здоровье? Кладу к ее ногам мое неведомое почитание и желание облегчить ее горе...

– – –

Милый, «Охранной грамоты» и сам не имею, но буду усердно искать ее для Вас. Книжку стихов Вагинова с удовольствием возьму от Вас[124]. Присылайте. Видел недавно книжечку Арсения в розовой обложке – *Введение в стиховедение*[125] (у Д. А. Тарноградского), но внутрь не успел заглянуть.

Хорош ли «Сумасшедший корабль» Форш? Вера почему-то очень заинтересована такими книгами как «Корабль» и «Художник неизвестен»[126]. Книжечку «Как мы пишем»[127] имею и люблю статью А. Белого. «Охранную грамоту» имеют, как подарки: Катя и Вера (первая от Слободского, вторая – от Кочеткова).

Кочетков временно живет здесь у Веры, он сменил меня и Клодю. Александр Сергеевич на меня произвел прекрасное впечатление (и наружностью и манерой читать стихи). Читал свои старые вещи 24-27 годов. Понравилась «Витрина», «Яблоко», «Из вихря, холода и света»[128]. Читал также удивительные стихи Державина (В. В.)[129], того, что жил в Коктебеле и теперь находится под покровительством Горького. А. С. Кочетков привез Вере свой портрет (изумительное произведение) работы Булатова[130]. Он ликвидировал свое жилище в Кисловодске, перебирается сам и перевозит жену в Москву. Слышал одновременно М. И. Слободского и Кочеткова и, конечно, пленяет последний.

Пишите мне, дорогой! Крепко обнимаю Вас, шлем привет и все добрые пожелания дорогой Алисе Гуговне.

Ваш ДЩ

26 ЯНВАРЯ 1932[131]

Кунгахелла

1932

26. I.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил письмо с памяткой о Сергее Андреевиче. Незадолго перед тем пришли письма от Андрея и Л. П. Брюлловой[132]. От Андрея – всего несколько строк, безответное письмо в отношении всех моих вопросов и просьб. Приложен был портрет: лицо глубоко страдающее; композиция: глаза, поднятые вверх со дна преисподней, устремлены на единственный лучик, мелькнувший в окне у потолка...

О Л. П. – сообщение о смерти сына, крестника Черубины, ушедшего теперь к Ней.

Не знаете ли случайно, где проводит зиму Максимилиан А-ч. Выехал ли он из Коктебеля? Очень хотелось бы знать его адрес, чтобы послать ему посылку. А. С. Кочетков еще здесь. Живет у Верочки. Милый, обаятельный человек. Завтра его вечер в городском театре. Чтение его переводов из А. Гидаша и Эс-Хабиб-Вафа[133]. Стихотворения читают: он и артисты. Вступительное слово М. И. Слободского. Вера не наглядится на своего питомца. Я, конечно, отошел в сторону. Стихотворные импровизации и вообще чтение стихов происходит глубокой ночью. Я завидую им, что они могут так жить. А я должен рано возвращаться домой, чтоб утром быть около своей тачки...

Вы спрашиваете, мой дорогой, о зиме во Владикавказе. – Суровая и тяжелая зима установилась с 20-х чисел ноября. Просветы тепла были краткие. Снег – все время. Клодинька очень трудно переносит такую зиму. Ее мы не ожидали: в прежнее время она не была так продолжительна.

Все горы в снегу, и в снегу они для меня не интересны. Я люблю только отысканные мною провалы в Аид в расщепленных горах. Да еще одну гору, напоминающую мне милые возвышения Коктебеля.

Из окна нет вида, – просто улица с одноэтажными кирпичными домами, улица – довольно глухая, 2-я от Терека. Обязательно отыщу виды Владикавказа и пришлю: у Клоди они где-то есть... Пространства, которые мне нравятся во Владикавказе, нигде не воспроизведены. Это 1) Красивая ул. от Тимирязевского переулка, справа Линейная церковь, – вдали тополя – около Ольгинской гимназии; 2) Каре тополей около нового собора; 3) Игла Лютеранской церкви на ул. Льва Толстого...

Обнимаю Вас,

Ваш ДЩ

ФЕВРАЛЬ 1932 [134]

Многометровым льдом, целомудренным фирном[135],
все охлаждается. И навсегда.
М. Слободской

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Спасибо Вам за все. Я получил и К. Вагинова «Соединения слов» и статью Максимилиана Волошина о Черубине. – Не сразу ответил Вам: холод создает какую-то неотступную неподвижность. Зима стоит крепко. Снег лежит сугробами, до пояса... И в комнатах у нас холодно. Топим не каждый день... И дрова (дорогие здесь) на исходе. Хуже всего от холодов Клоде: не ожидала и не знала таких холодов. Другая Клодя – та, что уехала обратно в снега, – говорит, что в Красноярске не так чувствуется холод, как во Владикавказе. Здесь он соединен с сыростью и пронизывает насквозь... В тулупе и в меховой шапке ей было здесь холодно... А я все пробую здесь удержаться в своем летнем (легком) пальто...

Но Вере бывает еще хуже... Все деньги, что зарабатывает она, вымогает сестра. Остальное идет на пятерых кошек (Зузу, Триша, Бейка, Мотя и облезлый Мандарин). По вечерам часто возникает процессия: от Терека вверх, через четыре квартала мы с Клодей несем Вере воду в турецком кувшине и кокс в ведре. Теперь она грустит: уехал А. С. Кочетков, ее любимый ученик, и большие собрания прекратились. Ждет из Москвы новой обещанной поэмы: *Деревья*. О Кочеткове я и сам не знаю, кто он такой. Ведь зависимости от Веры и Вяч. Иванова почти не чувствуется. А он ученик их обоих: Веры (с 17-ти лет) и Вяч. Иванова (Кисловодск, где они были втроем вместе с семьей Вяч. Иванова). Я очень рад, что Вы заговорили о Кочеткове, и с отзывом о «Последнем свидании»[136], конечно, согласен. Если можно, – пишите о нем: я буду присылать его стихи. Только жаль, что холодно и некогда. Буду писать на такой же бумаге, чтобы Вы, если пожелаете, могли соединить листки в тетрадь стихов. Как жаль, что рукопись Максимилиана не малого формата. – Еще раз усердно за нее благодарю: это как раз тот текст, что давал нам в Коктебеле М. А-ч и вполне соответствует моему проспекту[137]. Вере, конечно, я ее не дам. Слишком велико у ней (и у Кочеткова) неуважительное отталкивание от Черубины. Если у меня она встречает, случайно, стихи Черубины, то, взглянув, сейчас же захлопывает книгу... Даже не трогает ее (Черубины) надпись на книжечке стихов ей самой (Вере Меркурьевой). «Ненужный символизм, дешевый», «демонизм», – вот выражения, какие находила Вера для Черубины. Этого я не могу простить и никогда не позволю себе говорить о Черубине, даже при перемене взглядов Веры...

Пишите мне, дорогой мой!

А знаете ли, как я позавидовал Всеволоду Ал-чу, что Вы с ним на «ты»! И что он Вас (!) зовет «Митя»! (?) Неужели 13–14 лет старшинства так отдаляют? Или это – судьба?

Обнимаю Вас крепко.

Ваш ДЩ

11 МАРТА 1932[138]

Кунгахелла
11. III.
1932

Милый Дмитрий Сергеевич!

Посылаю Вам мою «анкету» о поэтах и предпочтениях, с претензией названную *Вопросы о любви к поэтам*[139]. Может быть, Вы найдете возможность возможным в этой же тетрадке, на полях или на чистой половине, ответить, если только это не будет затруднительно и не покажется Вам совсем не нужным...

Мне очень бы хотелось произвести этот пересмотр предпочтений вместе с Вами... Изменения в моих отношениях к поэтам – за моими вопросами – уже угадываются...

– – –

За окном все то же унылое шествие снега. И теперь не знаешь, что лучше: короткие, жуткие нападения Норд-Оста, или эта безостановочная, щемящая процессия зимы. В комнатах у нас почти всегда холодно...

Верочка заболела. Вчера был Михаил Иванович, Катюша и мы сговорились: кому нести кокс, кому пилить дрова на растопку, кому дежурить ночью. Боимся, что это воспаление легких. А Вера беспрерывно курит, вскакивает с постели, чтобы впустить или выпустить кошек.

О своей болезни Вера всегда говорила так: «Ну что ж, заболею серьезно... Я уверена, что внимания ко мне будет много. У меня будет все: масло, сахар, белый хлеб. И даже кошки будут накормлены. Но каждый сидящий около моей постели все же будет думать: «и, пожалуй, в ее положении ничего и лучшего не может быть, как ... умереть...»»

А. С. Кочетков порадовал ее: прислал ей свою поэму, написанную в вагоне Ростов-Москва [«Деревья», лирическая поэма (в 3 главах)][140].

Мне эта поэма не дала радости. Отрывочное, эскизное развертывание настроения. Некоторые эпизоды кажутся ненужными. Но строки, конечно, есть привлекательные.

Я ничего не говорю Вам о Слободском, потому что не знаю, есть ли у Вас к нему интерес. Скоро попрошу его записать мне несколько его последних вещей. А для меня он временно стал в тени, во время пребывания Кочеткова.

Напишите мне о новых книгах. Я, кажется, чудовищно отстаю.

Напишите мне, пожалуйста, где сейчас Максимилиан Ал-ч? Где – Всеволод А-ч? Вернулся ли он в Ленинград и можно ли ему писать по старому адресу?

Мы оба шлем привет и поклон дорогой Алисе Гуговне.

Вас обнимаю крепко. ДЩ.

PS (1) Не нужен ли Вам адрес А. С. Кочеткова? Если бы Вы встретились, – он, вероятно, в подробностях рассказал бы Вам о нашей жизни, о комнатах, о расположении библиотеки и проч... Брюсовский; д.2, кв.31.

PS (2) Верочка сожгла все мои письма за много лет, сохранив почему-то обширное описание вечера Иг. Северянина в Новороссийске. Это сожжение вызвало удивление и возмущение Михаила Ивановича: «Как! Сжечь архипповские письма?..»

PS (3) Что я Вам присылал из Коктебельских альбомов, большого и «Poetae Poetae»[141]? Нужно ли Вам что-либо из шуточных стихов, обращенных к Максимилианну А-чу. – Вы, вероятно, все знаете от С. В. Шервинского.

PS (4) Расскажите, как-нибудь, о С. В. Шервинском. Какой он и что в нем интересного. Пишет ли он стихи для себя? А то Вера, оказывается, знает о нем больше, чем я...

25 МАРТА 1932[142]
Кунгахелла
1932
25. III.
Молчит поэт и нем народ...
. . . . . .
Но завтра слезы будут капать
на сгибы Пушкинских страниц.
В. Меркурьева[143]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше яркое и интересное письмо о С. В. Шервинском[144]. А. С. Кочетков, по-моему, тоже юноша Возрождения и на чудесном (сомовском) портрете Булатова, и в жизни. О веренице стихов Кочеткова, полученных через Горнунга[145], я не имею представления, и теперь не знаю, что Вам посылать, что нет: – не знаю, что Вами *отвергнуто* из вереницы... Я знаю: *К Музе*, *Поэт (Средь голых стен)* и *Балладу одной могилы...* «У камина» – совершенно не могу припомнить.

В чтении расслабление, производимое стихами Кочеткова, еще сильнее. Но тогда «расслабление» можно принять во имя образа самого поэта. Умирание и примирение с умиранием – самые частые, самые изукрашенные темы. После стихов Кочеткова долго остаешься без слов: вот – уже не хочется подниматься с кресла, уже глаза готовы к тому, чтобы медленно закрыться и установить каменную грань, отделяющую этот мир...

Да, *Poetae Poetae* и есть посвящение Максимилиану от лица поэтов всех веков. Это я считаю

малым альбомом. (*Poetae Poetae* – юбилейный сборник на простой бумаге). Большой альбом – это обращения к Максимилиану Волошину всех посетивших Коктебель. (Брюсов, А. А. Сидоров, Сергей Соловьев, Вера Инбер, М. Розанов и множество других)[146]. На больших тугих листах наклеены стихотворения, написанные от руки и напечатанные на машине.

– – –

После краткого перерыва с 9. III. опять пошел снег, и началась метель. Во время таяния вновь обнаружилась невероятная грязь и ужасное (заразное) состояние улиц. Я никогда не видел таким Владикавказа. Большинство домов изнацинализировано /так! – **Т.Н.**/, и потому ни тротуары, ни улицы не убираются. Сейчас всем прививают оспу, без прививки не будут выдавать хлебных карточек. Опасаются вспышки тифа...

Во время своей очередной болезни (грипп, колит) читал совершенно случайные вещи: Верфель «Человек в зеркале» (перев. Зоргенфрея)[147]; – Вас. Гиппиус: *Волшебница* (поэма)[148]; – Одоевский В. Ф. – Рассказы; – Любовь Столица: *Елена Деева* (роман в стихах)[149]. – Нравится ли Вам что-нибудь из этого?

Очень я обрадован снимками с Новодевичьего монастыря. Все, что к нему относится, всегда хочу. Может быть, будут снимки с могил Соловьевых и план той части, где Вы живете.

Напишите несколько слов о «Витрине»[150]. Мне очень хочется.

За все крепко Вас благодарю, обнимаю и целую...

Ващ ДЩ

PS: Дорогой мой, Нельзя ли найти в Гиз'е или Наркомпросовском магазине: 1) Программы для ФЗС. 4-й выпуск – Рус. яз. и литература 1932 года: Гл. Учебно-педагогич. издательство.

PS. Завтра буду говорить с Михаилом Ивановичем о возможности проведения лета в окрестностях.

5 АПРЕЛЯ 1932[151]

Кунгахелла

5.IV.1932

Лист 1-й

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Вчера был у нас Михаил Иванович, и мы произвели пересмотр местностей около Владикавказа, сколько-нибудь пригодных для отдыха летом. Оказалось, что сколько-нибудь подходящих (в смысле покоя, остановки, доставки провизии и быстрого сообщения с городом) – нет. Ведь никто в окрестностях не живет: кругом осетинские и ингушские селенья и аулы. Русских поселений и дач совсем нет. Есть на полдороге к Беслану – «Колонка» – немецкая колония. Ехать по железной дороге (ок. ½ часа). Но никто там не селится на лето, и интересного в ней ничего нет.

Местности в горах – для поселения трудны и связаны с целым рядом *лишений*. Обычно из Владикавказа люди уезжают *(от летних, длящихся целыми неделями дождей)* – в Геленжик и Кисловодск.

Сам Владикавказ может быть сносен лишь во время проезда. Прошлое лето мы прожили в квартире Катюши (июль с 1 по 20), все время пережидая дождь, иногда целыми днями. Дождь – от таяния снегов.

Теперь вижу, что Владикавказ хорош только на краткое время: он стал невероятно грязен, с выбитыми тротуарами и бесконечной сыростью.

С Верой я еще не говорил о возможности Вашего приезда. Может быть, она что-нибудь придумает.

А как же Коктебель и Максимилиан Ал-ч, – когда же Вы их посетите? Максимилиан А. очень удивлялся и жалел, что Вы к нему не едете. Может быть, на небольшой срок, неделе на две, Ваши глаза позволили бы Вам побыть в Киммерии...[152]

У нас с Клодинькой планов никаких нет, да и не может быть в это лето: слишком невероятно в смысле передвижений было последнее лето.

Клодя думает о поездке с Катей через горы в Тифлис. Но и это еще не решено. Вы правы, дорогой Дмитрий Сергеевич, теперь Танезруфт начинает особенно сильно притягивать к себе мысли: тепло, просторы, шум и запах моря...

Спасибо, дорогой мой, и за письмо, и за стихотворение по поводу словаря ГАХНа...

Давно ли Вы видели Андрея? Никак он мне не хочет написать о своих бытовых чертах: где, с кем живет, тепло ли, от чего страдает, какие книги держит при себе, – ничего не добиться...

Привет и глубокое почтение от нас – Алисе Гуговне.

Всегда Ваш ДЩ

Кунгахелла
5.IV.1932
Лист 2-й

Продолжаю письмо о Владикавказе и окрестностях.

Говорил с Верой, показывал ей свое 1-ое письмо, она находит все верным. Еще о самом Владикавказе. Сейчас он невероятно перенаселен, а потому и мало пригоден для отдыха и покоя... Все здесь крайне скучено, нагромождено и грязно... Мы с Клоденькой уже обдумываем, куда бы нам можно было ходить гулять, когда настанет тепло. Оказывается, таких мест – просто нет. Нельзя же считать подходящим местом: городской сад или трэк с толкучкой людей, или тифлисское шоссе, уходящее в горы, где либо грязь, либо пыль от несущихся автомобилей...

Условия жизни, сравнительно с прошлым годом, ухудшились: найти помещение со столом уже невозможно. Наша территория в доме на Линейной очень мала: одна комната, в которой втиснута вся новороссийская обстановка 3-х комнат: здесь и столовая, и спальня, и «библиотека». Мы очень бы хотели летом приехать ненадолго в Танезруфт. Но пока и это невозможно... Материально мы к этому не готовы. Я оставил заведовать учебной частью, а уроков у меня было немного. Найти дополнительные уроки в конце года оказалось невозможно, и за лето я получу очень немного...

Скажите, дорогой Дмитрий Сергеевич, не следует ли мне совсем перейти на пенсию. Служба, сейчас, и в школах, и в техникумах – жестокое растрачивание здоровья. За эту зиму я болел столько, сколько никогда не болел в Танезруфте: колит, два гриппа (в школах дикий холод) и сейчас опять нездоров...

Сейчас дождь, почти теплый, а в комнате холод и сырость, пар идет изо рта... А дрова покупать не хочется: все думаем, что будет солнце и настоящее тепло. Когда очень холодно, мы идем к Верочке; она тоже не топит, но у нее сухая комната.

Спасибо Вам, дорогой мой, за строчки о *Напрасном Труде*[153]. Мне очень было интересно прочесть их...

Крепко Вас обнимаю и всегда хочу Ваших писем.

Ваш ДЩ

PS1. Оттиск «Лаодамии» обязательно поищу. Но боюсь, что у меня остался только том *Жатвы*, где «Безвестная Лаодамия»[154] была напечатана.

Родства между Верой и Кочетковым нет никакого. Но я все же еще раз спрошу ее.

PS2. Лучшее место для прогулок – это «башня» Давида (Абрамовича Тарноградского) – биологическая станция. Но она – далеко: по городу от нашего дома версты 3, от города верст 8-9. Линейка (в прошлом году) стоит 10 руб. Извозчик – 30 рублей.

5 АПРЕЛЯ 1932 (еще одно)[155]

Кунгахелла
1932
Апрель: 5.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Спасибо Вам за письмо о «Витрине», за снимок с Ваших окон и с Вас самих... Ваше жилище кажется мне прекрасным. Место, что вокруг Вас, – завиднейшим окружением. *Витрина* в среде Вертепа не была в чести. На нее обратили внимание лишь после того, как я пришел в восторг от чтения Александра Сергеевича. Она была известна Вере и Слободскому давно, но они её не выдвигали как другие стихотворения.

Очень интересен и радостен *Ваш* разбор «Витрины».

Из названных Вами стихотворений я хотел бы иметь лишь № «Подков счастья» (из цикла «Пенаты»)[156].

Хочу ответить Вам о немногих лицах, считающихся близкими ко мне и к Клоде. – Да, Прасковья Степанова, 2-я жена Якова Максимовича. Я помню венчание их здесь, во Владикавказе, в Тенгинской церкви за Тереком. Помню себя в карете с образом... До сих пор я называю Прасковью Степановну «мамой».

Катюша ни с кем из нас в родстве не состоит. Моя ученица (по Ольгинской гимназии, Историческое отделение).

В прошлом году окончила Г. П. И. (Горский Педагогический Институт), но к преподаванию так и не обратилась. Катюша теснейшими узами связана с Клодей (сестрой) и очень любит и ценит Прасковью Степановну. Архипповым она более родная, чем настоящая родственница. Юрченко – девичья фамилия, мужнина фамилия снята.

Татьяна Владимировна Сушилина – сестра Нила Сушилина, мужа Клавдии Яковлевны. Поэтому Сушилины и вслед за ними и М. И. Слободской являются некоторым образом нашими родственниками.

– – –

Литературные столкновения («скандалы») в «Вертепе» (почти не существующем) совсем прекратились. Последняя «драка» была из-за Кочеткова (между М. И. Слободским и Верой).

Мои столкновения с Верой были из-за Голлербаха, Рождественского, Черубины, из-за Б. Корнилова (!) – Новой книги стихов в Гихл'е[157].

Многое, что дорого мне, Верой не принимается. Резкие отталкивания от Вс. Рождественского и Черубины. Непонятно все же, как *все-таки* «допускаюсь» я... Еще Вера не переносит моего отношения к «желторотым» поэтам, которых она выращивает...

– – –

Очень, очень меня интересует проза Б. А. Садовского. И у меня ведь ее почти нет; есть только *Морозные узоры*[158]. «Узор чугунный» давно уже пропал. Из критических книг есть «Камена» и «Ледоход». Формула Б. А. «От Фета к Филарету»[159] очень занимает меня. «Старых годов» я, конечно, не читал, буду искать Мельникова-Печерского[160]. Теперь ведь это все трудно: нет под руками капитальной библиотеки бывшей Новороссийской гимназии.

Пока до свидания

Крепко обнимаю Вас

Ваш ДЩ

25 АПРЕЛЯ 1932[161]

Кунгахелла

25.VI.32 г.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Спасибо Вам за все подарки, за надпись в моей маленькой книжечке, за большое письмо о Б. А.[162] и Вс. Рождественском. Все это только вчера дошло до меня. Раньше всех книги Сергея Андреевича[163]. Давид был очень рад и очень благодарит Вас. Я укорял его за то, что он вторично не побывал у Вас. Он, оказывается, занят был покупкой книг, наблюдением за изготовлением клише для его специального журнала, заказыванием ex libris'а и проч.

Из Москвы он привез изд. Academia *Манон Леско, Очарованный Странник*, Гете (2 тома), *Русские сказки* в 2-х томах и др., монографии о Чехонине и Митрохине[164].

Мне подарил монографию Бенуа об Остроумовой-Лебедевой (обложка там с немецким текстом)[165].

Большое спасибо дорогой Алисе Гуговне за внимание ко мне, за очень интересный и прекрасный лоскутик. Я еще не решил, что может одеть собой этот фрагмент редкой ткани. Я давно здесь не переплетаю книг: здесь нет обученных мною и воспитанных мною же переплетчиков: здешние мастера уже испортили мне 5 книг. Мне очень грустно, что Алиса Гуговна не оставила своей подписи в моей книжечке. Но я уверен, что моя книжка совершит обратный рейс к Вам.

Лето открылось скучно и совсем неинтересно. Клодя еще не имеет отпуска. Сейчас поступила в Государственный педагогический Институт и одновременно преподает на курсах по подготовке в вуз при Индустриальном Политехникуме. А осенью все равно уходит в 1-ю ступень. Ученье в Г. П. И., конечно, будет продолжать.

Идут дожди, пасмурно и очень прохладно от холодных ветров. Мы ходим в пальто. Небо бывает голубым лишь на короткий срок. – *Умер Хирам II*[166].

В комнатах так пусто и грустно, что он не сидит на руках или плече. Он был серо-серебряный с длинной ангорской шерстью. Он открывал маленький, кукольный рот, когда что-нибудь просил, но голоса у него почти не было. Еще раз даю обещание не брать к себе животных. У Веры мне очень скучно. Ей нравится выращивать желторотых поэтов. Чтение их стихов, обсуждение, болтовня на случайные темы...

Дорогой Дмитрий Сергеевич, расскажите мне, что Вы знаете о Б. Анрепе, авторе статей в *Аполлоне* (о живописной технике), авторе поэмы в *Альманахе муз*[167]. Именем его (не подписанным) украшено много стихотворений А. Ахматовой. Еще, если можно, расскажите о *Шилейко*[168].

Еще раз благодарю Вас и Алису Гуговну.

Всегда Ваш ДЩ

PS1. Был на обсуждении рассказа М. И. Слободского – тема: взаимоотношения ингушей-стражников и крестьян в помещичьих владениях в 1906 году. Написан хорошо и интересно.

PS2. Уезжает в Москву навсегда Катя. Потеря громадного, крупного размера. С ее отъездом мы остаемся лицом к лицу (в материальном отношении) с П. С. Архипповой, моими дядями и Верой. Думаю, что Катюша осенью найдет Вас и расскажет Вам о нас.

PS3. Милый, скажите, можно ли послать блокнот в Деденево[169]? Или отложить до осени. Что знаете об Андрее? Писать ли ему в Москву или он выехал куда-то на лето? ДЩ

PS4. Милый Дмитрий Сергеевич! Если Вы не уничтожили мое письмо безобразное, грубое, о рубенсовых женщинах[170] – пришлите мне его обратно. Умоляю Вас! Ваш Евгений.

Лето все же будет, но передвинется, очевидно, на август и сентябрь. Утром ясно, к 11 беспросветное небо, к 1-2 мелкий осенний, но не холодный дождь. Вечером – прекрасное звездное небо (Из письма от 7.VII, полученного 13.VII.1932).[171]

3 МАЯ 1932[172]

Кунгахелла

1932.

3-ье мая

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил очень короткое Ваше письмо со стихами Кочеткова «К подкове счастья» – в ответ на 2 моих письма: о Владикавказе и 2-ое со стихами Кочеткова: «С пустынной ратуши льет полночь серебро».

Кочетков прислал Вере 2-ю большую поэму (1-ая: «Деревья»), – «Княжна Елизавета» (Тараканова)[173]... Встречался ли он с Вами? Боюсь, что он очень нелюдим и туг на новые знакомства. Я ему не пишу, не надеясь на самого себя.

Вс. А-ч через ряд месяцев безмолвия прислал большое письмо, в котором радуется оживившейся с Вами переписке и говорит, что тариф удерживает его от прибывания к Вам в гости. Вс. А-ч собирается проехать через Владикавказ в Армению...

Дорогой Дмитрий Сергеевич! Нет ли у Вас биографических сведений о В. Бородаевском[174], о последних его произведения и о его смерти... И еще просьба: нельзя ли найти сейчас «Земную ось» с иллюстрациями Мартини[175]. Очень широко она продавалась в Петербурге в 1928 году и я упустил случай купить ее. Моя старая «Земная Ось» утрачена... 3-я просьба: Не откажите ответить на дополнительные вопросы (13-ть) к моей «анкете»... Я думаю послать ее и Всеволоду Ал-чу...

4-ая просьба: (О! ужас! Как много просьб у меня!) Не встретится ли Вам книжечка Кузмина: «Жизнь Иосифа Бальзамо гр. Калиостро»?

На этих днях ближе познакомился с библиотекой Давидочки; у него прекрасный подбор изданий «Academia», весь подобранный Аполлон, Сидоровское издание рисунков Бердслея[176], хороший подбор поэтов. 1-ую свою библиотеку он продал за 15.000 руб. Это – уже 2-ое накопление.

Понемногу начинаю перетаскивать отдельные книги из моей обреченной библиотеки, оставшейся в Новороссийске. С помощью Павла Александровича выписываю рассказы Кузмина, 2-ую книгу Бородаевского[177].

Но всю библиотеку, занявшую обширный стеклянный шкаф, я, конечно, не перевезу: это будет моя 4-ая библиотека, обреченная на гибель...

Посылаю Вам портрет моего шкафа, приехавшего с нами во Владикавказ[178].

О Кате и Михаиле Ивановиче я напишу отдельное письмо: пришлю их стихотворные аспекты (Верины)[179].

Как здоровье Бориса Александровича[180]. Поклон ему мой и постоянная память...

Обнимаю Вас крепко.

Ваш ДЩ

15 МАЯ 1932[181]

Кунгахелла

1932.

15.V.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Пользуюсь случаем послать Вам письмо и оттиск на машинке: «Черубина де Габриак, Д. Усов, В. Меркурьева: заметки на полях стихотворений Е. Архиппова»[182]. Это о них, давно умерших, погребенных стихах, в которых, вероятно, никогда и не было жизни. И уж, конечно, того доброго взгляда и похвал (хотя и отдельным строчкам) мои стихи совершенно не достойны...

Может быть, я пошлю и свой маленький альбом для автографов, в котором мне хотелось бы, чтобы расписались Вы и Алиса Гуговна, и поставили бы какую-нибудь строчку стихов. Хотелось бы, чтобы в книжке поставил бы свою подпись Борис Александрович (если строчку ему трудно, то хотя бы две буквы, и те две мне очень дороги).

А может быть лучше – этой книжечке погостить у Вас, в надежде, что там поставят свою подпись те, кому Вы пожелаете ее показать (Вс. А-ч, может быть, Сергей Михайлович...[183]).

Хотелось бы еще что-нибудь прислать для Вас, но не знаю, что именно и успею ли до отъезда Давидочки. Он будет в Москве и Ленинграде. Мне было бы радостно, если бы он увидел Вас и Вы расспросили бы его обо мне, о мелочах моей жизни в Орджо[184], о комнате, о книгах. Давид Абрамович – мой старинный дорогой друг, мой сочувственник и сокнижник. Трудно припомнить теперь, где начало нашей дружбы и нашего приближения (вероятно, 1907–1909 гг. во Владикавказе). Сейчас Д. А. Тарноградский – профессор Горского Сельско-хозяйственного института и редкий библиофил, обладатель интересного собрания книг, заключенных в подобранные цветные ткани.

У меня и Клоденьки радость большая. Максимилиан Ал-ч написал нам письмо и прислал новые акварели. Пишет, что зиму всю провел он задыхаясь (почти от каждого движения). Меня несколько забыл и называет Осиповичем, почерк его меня беспокоить стал, совсем неразборчивый и смутный. Дом Поэта без его согласия Союз Писателей сдал в аренду Партиздату. Это очень его опечалило. Перед этим письмом было следующее: 1) с трудами [?] Слободского и Кати и еще ранее 2) письмо с портретом шкафа.

Привет, постоянная память и поклон дорогой Алисе Гуговне.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш Евгений.

28 МАЯ 1932[185]

Кунгахелла ... 28.V.32 г.

Милый Дмитрий Сергеевич!

Пришло Ваше чудное письмо о постановке Гамлета. И неужели мыслима такая Офелия? Я содрогнулся, читая о ней...[186]

Спасибо Вам за дополнение в анкете. Мне так радостно читать Ваши ответы, ведь это наш дружеский и такой серьезный разговор. Мне нравится такая сжатость, нужная сухость и лаконичность. В. А-ч все ж местами приближается к исповеди. Но и это приятно, приятно, что он оценил мои вопросы, их необходимость и даже их постановку. Счастливый! Как я завидую ему, *остро, мучительно*[187], будто в этом и вся цель моей жизни... Сейчас?.. В Коктебеле!.. Я знаю, что сердце

будет стучать так, что рука бросится ему навстречу, чтобы схватить его стремительный, не рассчитывающий своих сил полет!

А как прекрасно повторить этот первоначальный рейс! После тряской дороги вдруг поворот и спуск: полуамфитеатром расположились невысокие горы, театральные, декоративные, вычерченные. И вот еще в автомобиле бросились в глаза черты этих гор: «вздымаемость», извергнутость их в напряженье, без нагромождений, без явной доказательности, что это был сдвиг пластов (что так противно в Кавказских горах, особенно второй цепи)... Минута, две... И я иду от почтовой станции в сторону моря, угадывать, где может быть жилище полубога... А по пути... с легким багажом, где только Гомеровская пища: вино и хлеб (особо приготовленный), как радостно дышать блаженным, невозможным воздухом и впитывать когтистые зигзаги Карадага.

Простите, милый, что я вслед за Всеволодом вновь ринулся в страну, которую полюбил горько, крепко и неотторжимо до конца дней.

Вы видите, мой дорогой Друг, я пишу Вам письма вне всякой очереди, и уже сумел Вам наскучить... Но кому я скажу всё это? И перед кем промолчу о незабываемой горести? Зная, что молчание мое будет говорить перед Вашим лицом внятными и точными словами...

Целую, обнимаю
Ваш Э.

ИЮЛЬ 1932[188]

О стихах: их тяжело переписывать, потому что они больше не рождаются (кажется, с 30 года). Последняя книжечка была названа: «Обиды Расе». Роченсальм 1930 г.[189]

О ней знает Вера Ал-на. Затем, я уже не помню, была ли приложена к *Лектистерниям* составная книжечка (из нескольких сборников): *Баллада камня и покрова* (а в ней стихи Фету, Инн. Анненскому: «В холодной комнате уставший твой портрет», о которых, помнится, я ждал Вашего слова). Напишите об этом, может быть, экземпляр *Лектистерний* был *без этого* приложения?[190]

– – –

Вс. Ал-ч откликнулся, прислал Новгородскую Софию, письмо и анкету, заполненную со слов Максимилиана Ал-ча и подписанную им.

Заглавия стихотворных книг мне нравятся следующие:

Почти все, выбранные Вами[191], кроме них:

Ночные часы.	Колчан.
Иней.	Тихие песни.
Седое утро.	Золотое веретено.
Пепел.	Горная тропа.
Тяжелая лира. Четки.	Венетийские прохлады[192] (предполагаемое)

Вера называет свою комнату, полутемную от массы густой зелени (садик и колоссальные деревья за церковной оградой), – Венетой и очень интересуется легендой об этом потонувшем городе. А я ничего не знаю...[193]

– – –

Адрес, конечно, можно упростить. Писать: Линейная и № такой-то. Бывший Владикавказ все же лучше сохранить, чтоб не пропало ни одно письмо.

Пишите мне!

Обнимаю Вас. Ваш ДЩ.

Заглавия Вс. Рождественского

Сумерки.	*Громокипящий кубок.*
Tristia.	*Дикая порфира.*
Окно в сад.	*Гаммы.*
Les Fleurs du Mal	
Les Trophées[194]	

20 ИЮЛЯ 1932[195]

Спасибо и за стихи Мандельштама. На них обращал мое внимание Михаил Иванович, но №-ра журнала[196] я не успел просмотреть, как уже пришли стихи от Вас. Вера требует от меня Ваших стихов, тех, что еще не подклеены в тетрадь. Я не очень охотно даю ей и тетрадь Вашу, и отдельные стихи: так как тетрадь пролежала у нее в столе уже полгода. Особенно влюблена Вера в стихи: «Они черней черновика»; *Переводчик*; «Милый друг! нас небо не забыло»; «Зимний свет и чахл, и жуток» (*Зимние стихи. Зимняя ночь*)[197].

Стихи Максимилиана Александровича об Аделаиде Герцык[198] и 1 ее стихотворение посылаю вместе с этим письмом. *Таноб*[199] я внимательно читал во время пребывания Вс. А. у меня в 27 году, но мне он его не оставил. *Таноб* довольно обширен в 7-8 главах. Экземпляр есть у Павла Александровича[200]: ему привезла ученица из Коктебеля, но боюсь, там много ошибок, искажающих стихи (список сделан торопливой и неопытной рукой).

Было 2 грозовых удушливых дня, сегодня снова дождь. Очень тяжело без загара, моря, без сверкания синей волны, без уверенности – когда захочу – ощутить ласкающую воду вокруг всего тела.

Крепко обнимаю Вас.

Ваш ДЩ

Кунгахелла

1932

20.VII

P. S.

Есть ли у Вас большое стихотворение *Парнок* «В форточку»[201], очень нравящееся Максимилиану Александровичу. Я могу прислать.

24 ИЮЛЯ 1932[202]

Кунгахелла 1932. 24. VII.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше большое интересное письмо. Усердно благодарю Вас за листочек о моих стихотворениях. Он для меня драгоценен.

Страница в Вашем письме об истерии и «гоноре» – восхитительна. Конечно, с нею согласен и удивляюсь меткости и тонкости Ваших определений.

Стихотворение «Из семейного альбома»[203] мне очень понравилось, читал его несколько раз и еще буду читать. Оно написано какими-то необыкновенными красками и с таким умением, что хочется вновь и вновь вглядываться в него, будто это старинный портрет. Вот стихотворение, в котором живет[204] радость, проникновение в соблазны.

Название *Душистый Горошек* я бы не принял для Вашей книги стихов. Но оно великолепно, как ассоциация к Вашему почерку. Я с удовольствием перепишу несколько стихотворений Черубины, но боюсь, что все они Вам уже известны. Последними были присланы стихотворения: «Домик под грушевым деревом»[205]. Несколько стихотворений прислала Лидия Павловна[206] после смерти Черубины. Писем, даже обычно кратких, не было со времени моего приезда в Петербург.

– – –

О своем столе. Он очень прост, по середине открывается как в конторке, сделан «моим приятелем столяром»[207], Казениновым, которым сделано почти все простейшее из мебели, что сопровождает нас.

На столе, кроме Ахматовой, портрет Максимилиана Александровича, портрет Клоди 1931 года. Над Ахматовой – изображение площади перед Исаакиевским собором. Подсвечник – подаренный очень давно Верой. На середине стола китайский серебряный подстаканник с драконами, головы их видны с обоих сторон. Ковш – простой, подаренный Давидом. Стол стоит *не на своем* месте. Под часами в маленькой раме портрет Уайльда. Это – все любимые снимки Клоди.

[3 слова нрзб.] Верой допущено *большое* преувеличение. Так, до сих пор своего взять Клодя не может и никогда не просила.

Еще раз благодарю Вас за оценку моих стихотворений, за то внимание к ним, которого они,

конечно, не заслуживают. То, что Вы пишете о фактуре стиха, всецело принимаю. Спасибо и за отбор моих строк и цитат из стихотворений. Все это для меня большая и редкая радость[208].

Дошла ли до Вас 2-ая, такая же книжечка стихов, посланная без письма?

Клодя шлет Вам и Алисе Гуговне сердечный привет.

Ваш ДЩ

Около М. А. Волошина – не группа, а маленькая его акварель, очень напоминающая те места, где мы гуляли втроем с Максимилианом Александровичем.

Шкатулка – ящичек на краю стола – Клодина, с ее нитками и принадлежностями для вышивания чехлов для книг.

Часы – обыкновенные, те же, что на фотографии директорской квартиры в Новороссийске. Стол теперь уже в другом месте. /19.X.32/.[209]

1 АВГУСТА 1932[210]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Сейчас пришло Ваше письмо о типах частных библиотек, с очень интересными соображениями.

То собрание книг, которые сейчас около меня (частью на галерее и на кухне), конечно, меня тяготит и удерживается мною на случай.

Мысль, прикрепляющая эти книги ко мне: мне захочется еще держать эти книги в руках. То, что снято на фотографии: только лирика; 2) кроме того – 2-е полки, перерезывающие комнату с 2-х [сторон] (с 3-мя отделениями каждая), образующие 2-ой шкаф; 3) маленький стол (сзади письменного стола) тоже доверху занят книгами. Вот все, что сейчас из книг, находящихся в комнате.

Здесь, во Владикавказе, я не приобрел пока никакой книги (за исключением Багрицкого; 2-ая книга[211]; Пастернака). Книга изгоняется совершенно, как только я совсем охладеваю к ней (например: Тихонов, Инбер и др.) В комнату допущены только те, что я хотел бы или надеюсь пересмотреть (Случевский, Пушкин и о Пушкине, Ф. Сологуб, Достоевский – всему этому нашлось место только на полках). Я только и думаю, как бы мне расстаться с наибольшим количеством книг.

И Судьба иногда приходит мне на помощь. Я потерял уже 3 библиотеки: 1) Владикавказ 1905 г. у П. С. Архипповой, 2) В селении Никольском-Долинском (около Нальчика), 3) Новороссийск 22-28 гг.

4-я еще держится в Новороссийске: огромный шкап, там Соловьев, Трубецкие, лекции профессоров Московского университета (по истории): Ключевский, Виноградов, Герье и др. Фет, Мей, Метлик[212], Уайльд, Сервантес. Там же: Щеголев, Чаадаев 2 тома, Брюсов, Сологуб (проза) и многие другие. Шкаф стоит в квартире Н. К. Франгопуло (родственника П. А. Вартминского).

Книги в парче и пестрых тканей, конечно, и меня не радуют. Мне хотелось бы большой строгости, суровости и однообразия.

– – –

Спасибо Вам за сообщение о Винете. «Винетийская прохлада» – это один из многочисленных сборников, миниатюрных, написанных рукой, сборник, подаренный Вере. Оглавление подобного же сборника, подаренного Клоде, я Вам посылал, но, вероятно, оно не дошло до Вас.

У Веры из стихотворений Вяч. Иванова (после 1917 г.) нет решительно ничего. Рукописные стихи *и письма только что похитили из окна. Они лежали в старинном кожаном футляре от перчаток матери Веры на письменном столе. Кто-то протянул руку в окно из палисадника и унес, конечно, из-за перчаток. Умерла Триша (27.VII.32)*[213]. Вяч. Иванов – это тема постоянных наших пререканий с Верой. Я не устаю укорять ее за то, что она ничего из стихов, писем и оттисков не собрала, за то, что она отказывается написать свои воспоминания о Вяч. Иванове. Но в последнее время она права, она говорит, что для этого нужна все же какая-то доля физических сил. Их нет от постоянного, иногда жестокого голодания.

Пришло известие от М. Волошиной[214], что М. А. выехать из Коктебеля не в силах. Он серьезно болен: кроме астмы воспаление легких. Уже 11 дней он не может лечь в постель. Врачей, тех, которые принесли бы действительную помощь, ни в Коктебеле, ни в Феодосии нет...

– – –

Клодя шлет привет Вам и Алисе Гуговне.
Я низко кланяюсь Алисе Гуговне.
Вас обнимаю. Всегда Ваш ДЩ
Кунгахелла 1 августа
1932

22 АВГУСТА 1932[215]
Кунгахелла
1932
22.VIII.
Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я получил прекрасные фотографии. Лицо Бориса Александровича – поразительно: сдержанное, высокое соперничество боли и презрения. Группы очень хороши: особенно та, где Вс. А. занимает среднее место. Но как Вы похудели, дорогой! Или это тени легли слишком густо? Расположение лиц, повороты – все нравится и все привлекает. Прекрасная манера Алисы Гуговны держать руки. Но в лице ее тоже много усталости... Вс. А. (там, где он в центре) как живой, совсем не изменился, почти такой, как в 26-м году. Улыбка идет к нему, а серьезность не красит его... На той же фотографии обращает внимание Ваша фигура – манера держать фуражку, опущенная к палке рука, слегка ее придерживающая, создают прекрасную и, я бы сказал, скорбную гармонию.

Спасибо Вам за все снимки и за объяснительное письмо: не один день мы будем их рассматривать...

О Максимилиане Александровиче сразу, одновременно, с трех сторон получил горестное известие: Вера показала сообщение в Известиях; Мария Степановна уведомила открытым письмом и, наконец, Ваше сообщение в конце письма.

Прийти в себя от этой (может быть, и подготовлявшейся) катастрофы мне очень трудно и труднее, чем я думал. Близкое, безраздельное (при полном отсутствии гостей) знание Максимилиана Александровича в его быту, в его кабинетах, на прогулках, в его манерах: сидеть в столовой, работать за акварельным столом – все это безжалостно отточило известие о его кончине и сделало сообщение глубоко ранящим...

Да, вижу ясно, что он был из малочисленной расы людей, перед которыми так естественно и просто склоняться до земли, быть «при ногу его»[216], не отводить взгляда от его знающих, светящихся, ласкающих и отдаленных очей...

– – –

Обязательно, дорогой Дмитрий Сергеевич, я отыщу Вам портрет Чаадаева. У меня был маленький, но испорченный, и был большой. Тот, что висел (3-й) в большой раме, сильно испорчен. Лицо изрезано осколками стекла (при перевозке).

Завтра же напишу Андрею и расспрошу его о его странном забвении...

– – –

Когда будете в Москве – не откажите спросить для меня новую (не февральскую) программу по рус. яз. и лит-ре и программу по географии (2 и 3-ю концентр.). Они выходят в августе. Простите, что опять беспокою Вас пустяками.

Привет и глубокое почтение от нас Алисе Гуговне. Клодя Вам шлет поклон. Мишка[217] Клоде очень понравился.

Крепко обнимаю Вас. Ваш ДЩ.

В последнее время стояли сумрачные, завешанные тучами, но бестревожные дни. Этот сумрак и неустанный медленный дождь – особенности этого лета.

Из письма от 2.IX.32.[218]

Из письма А. В. Звенигородского (до 13.IX. 32): «У О. Э. Мандельштам я познакомился с А. А. Ахматовой. Она на несколько дней приезжала в Москву. Она выглядит еще достаточно бодро. На ее лице нет еще ничего угрожающего. Мне было радостно с ней встретиться».[219]

СЕНТЯБРЬ 1932[220]

Бледно-зеленой расцветкой затканы
Опускаются стекла Винеты на дно.
М. Слободской[221].

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Опять благодарю Вас за Мандельштама. Все письма Ваши получил: о Федорове, о северном пейзаже, о посещении Марехолина ?

Здесь у нас все готовятся к отъезду Верочки: стихотворцы пишут стихи о погружении Винеты на дно; приехала Катюша, которая и повезет Верочку; распродаются вещи в комиссионном магазине Герша.

Вера говорит, что переживает свои черные дни, каких в такой черноте, никогда еще не было / Из письма от 27.VIII.32/[222]

Уже продан старинный с выпуклыми ящиками и резьбой бабушкин (Эмилии Васильевны) комод. Теперь очередь старинного восьмиугольного стола, сработанного еще крепостными мастерами. Это стол – вокруг которого объединился Вертеп. У него редкая резьба и ветвистые сложной работы ножки. Вера грустна и тревожна. Остро и мучительно не хочет покидать Владикавказа и своей Винеты на Красивой улице. Идут унылые размеренные дожди. Небывалые: август *и сентябрь в беспросветном небе и в сеяньи тончайшего, как пыль, дождя. В сборах Верочки мне выпала на долю укладка ее угóльного шкапика с книгами, письмами и памятными предметами всей семьи и еще укладка отдельного короба с книгами и картинами; в этот же короб я уложил и Вяч. Иванова (из письма от 24.IX.32)*.

С отъездом Кати и Веры во Владикавказе будет темно и жутко жить. Откроется 2-й Танезруфт. [223]

7. [224]

Сейчас еще больно ходить по Красивой, мимо Винеты и Винетийской рощи. Город потускнел, и теплота, каким-то чудом собиравшаяся вокруг Винеты, рассеялась... /Из письма от 10.X.32/[225]

Дорогой Дмитрий Сергеевич! Не хлопочите больше о программах. Мне очень стыдно перед Вами. Программы с запозданием, но бывают все же в ГорОно. Мне просто не хотелось делать выписки, потому что отдел далеко *не* всегда снабжает школы *одним* экземпляром. Точно также отложите в сторону и desiderata[226]: желаемого в них все же *не* много. Путеводитель Сабашникова[227], конечно, *не* мыслим по своей безобразной дороговизне.

– – –

С Клодей видимся мы в течение дня очень мало. У нее утренние зачеты (до 1/2 дня). У меня с 12 ½. Вечером прихожу в 7, в 8 часов. Клодя в это время уже на занятиях в Г. П. Институте до 9 часов и более.

Крепко Вас обнимаю.

Ваш ДЩ

Кунгахелла
1932

1 ОКТЯБРЯ 1932[228].

1.X.

Дома Эм. В. Меркурьевой и доктора (прекрасного врача) Я. Л. Рабинович на Красивой улице почти рядом.[229]

Последние дни после чествования Веры – 24.IX. – 25-27 были тяжелые и мучительные: ликвидация кошек, раздаривание разнородных вещей, отдача на хранение и полная неуверенность почти до отхода поезда, что найдутся деньги на отъезд. Особенно устала Клодя. Да и другие: Михаил Иванович, отвозивший вещи, сдававший их для отправки. На вокзале была вся Винета. Был Давид и Н. С. Архиппова[230].

Прекрасным жестом, каким-то особенным, слабым, величественным и благословляющим Вера простилась со всеми из окна вагона.

Зуша (Зузу) ангорская переселилась к нам...

11 ОКТЯБРЯ 1932[231]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

У нас уже холодно. В комнате – 12. Руки застывают. А было только что тепло. Позднее, брошенное из милости, сквозь – серость и сырость, – все же состоялось лето, с 15 сентября по 8 октября. Было пыльно и душно и очень тепло. Теперь опять стандартная погода: нависшее давящее небо, пригибающее к земле, сырой холод, ревматическими силами входящий в кости, и мельчайшая, висящая, белесоватая пыль-дождь.

Опять – котлованы среди тротуаров, наполненные водой и грязью. Опять – возвращение домой по промозглым и темным улицам. Ведь город не освещается: даже главный проспект. От этого – впечатление – лежащего ниже уровня допустимого – захолустья. И это город, сверкавший 17 лет назад чистотой и светом, город, наполненный звонким горным воздухом...

Вечером идти некуда: Винета затянута подводным мраком. Совершенно невероятным кажется приход Давида: стук в ставни, искание ключа и отпирание хрипящей калитки в каменных воротах.

Я ушел из 1-й комнаты, где обычно сидел. Теперь стол против окна в галерею и, через галерею, в сад. Слишком противен голый аракчеевский вид улицы с подлыми приниженными домами без деревьев... Хорошо было бы выезжать (хоть в 10 дней раз) в горы до 1-й станции. Но это стало совсем недоступным. Извозчик 40-50 верст за 9 дней. От Веры пришло обширное письмо к Клоде. (Я и не жду. Вера хорошо знает мои требования к письмам и напишет не скоро). Вера все еще уверена, что в Москве легко, давки около трамваев нет, новые дома не угнетают света штампованным видом... Это, вероятно, потому что Вера еще отлеживается после дороги...

Была ли, наконец, у Вас Катя? Приехал ли Всеволод Ал.? «2-е рождение»[232] у меня есть. А что Вы из него особенно оценили? Книжечка (с очень плохой бумагой) со стихами Черубины почти готова, скоро пошлю. Простите за внешний вид книжечки...

Передайте, пожалуйста, книжечку в желтой парче Всеволоду Ал-чу. Она тоже сделана очень грубо. В Новороссийске этого бы не было...

Обнимаю Вас крепко и грустно

ДЩ

Кунгахелла

11 октября

1932

19 ОКТЯБРЯ 1932 [233]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Все верно, все очень точно сказано Вами о «домашнем, настоящем» Вс. Ал-че. Очень хороши строки о затыканиях и мямленье. В таких случая рот принимает особенно неприятное, пассивное расслабленное выражение. Прекрасно место о пристрастии к кулисам. У меня тоже Вс. А. просил свои письма для любования и услаждения. Но их не было тогда дома.

О стихах последних я уже писал Вам, что многие из них меня беспокоят и наполняют недоброю, досадной тревогой...

Хочу сейчас ответить Вам на ряд вопросов в Ваших письмах. 1) «Милая жизнь! Ты покинула дом опустелый» и «Так хочет мира тайный мелос»[234] у меня есть; их переписала мне Вера. 2) Думаю, что А. С.[235] нехорошо и несправедливо относится к стихам Вс. А. Но раздражительно и активно недоброжелательно к ним относится М. И. Слободской. Вообще, мне очень тяжело было слушать некоторые высказывания в Винете: раздраженные и злые суждения о Вс. Р.; *сладкие и совершенно неосновательные восхваления «прозы Голлербаха» (со стороны Веры); расхваливание стихов Руднева М. Вл. и Никитина К . А.*[236]

19.X. 32. [237]

НОЯБРЬ 1932[238]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил Ваше маленькое письмо, где Вы спрашиваете о книгах Пешковского[239]. Здесь, конечно, его немыслимо достать. Почти все три части были у меня в Новороссийске, и оставлены мною на произвол судьбы (вместе с несколькими сотнями книг) в опустошенной квартире. Здесь,

в Орджо, я наведу справки через Руднева, имеющего отношение к библиотекам. Давид вернулся из Тифлиса. Там полное книжное запустение. Не нашел ничего. Книгу и письмо я еще не успел передать, так как встреча наша была в кондитерской, откуда я проводил его в Институт. Он занят выставкой своих станций при ГСХИ. Там будут интересные отделы (связь с Европой), будут и животные, носящие его имя...

Лето, по-видимому, кончилось. Оно длилось до вчерашнего дня с небольшим перерывом (с 20 сент. по 8.X. и с 13.X по 4 ноября), лето при голых сучьях, при сверкающих горных снегах и при невообразимой деревенской пыли, так как улицы, даже главная, никогда не метутся. Письма стали редкими, и я не сетую, потому что ничего не мог бы рассказать, например, Вере, Кате, Всеволоду: жизнь бессмысленно-суетлива и тягостна.

В последнее время занят был продажей книг, главным образом, книг, подаренных мне кем-либо: изданий Academia; Рабле, Лесков «Очарованный странник» (Acad.), однотомник Лермонтова и других. Все это для пополнения зарплаты. Продает часть своего собрания и Михаил Иванович. Вера продала и просто рассеяла перед отъездом. Не продают только Давид и Горячкин[240], хотя последний к своим книгам не прикасается уже много лет.

У меня к Вам просьба, дорогой Дмитрий Сергеевич! Не сообщайте Вере *никаких стихотворений Черубины* и не давайте ей на руки, точно также не давайте ей *никаких сведений о Черубине*. Она этого не стоит. Сделайте это ради меня. Если будет у Вас просить *Гипсовую* или *Золотую Маски*[241] или стихи мои – откажите ей. Она как-то спросила меня по поводу моих отказов в стихах *Черубины*; – «Что это, злопамять?» Я ответил – да, и это *за* злопамять, которую я буду лелеять. Все это относится и к Кате, потому что она полученное всегда передаст Вере.

Вы, вероятно, с ними уже виделись...

Всегда Ваш Д. Щ.

7 НОЯБРЯ 1932[242]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я был у Давидочки, передал ему пакет с бандеролью и письмо.

Он очень был рад книге Ю. М. Вермеля[243] и, вероятно, будет Вам писать. Сейчас он занят подготовкой квартиры к зиме, чтением лекций... Скоро поедет опять в Тифлис за женой и сыном.

Из краткого упоминания в письме Веры я узнал, что Вы были у ней. Она очень печалится, что к Вашему приходу она оказалась в черновом виде, с пыльной тряпкой в руках.

Мне, конечно, очень интересно Ваше впечатление от Веры и те вопросы, которых касалась Ваша беседа. Особенно интересны те сообщения, которые сделает Вам обо мне Вера, и та система отрицательных и порицательных оценок меня, которую она введет в разговор. Она пишет, что каждый вечер видится с Александром Сергеевичем, встречается с Шервинским. Говорит, что у Шервинского есть замечательный силуэт Максимилиана Александровича (о том, что знакомство с Максимилианом Александровичем всегда проходит три зоны). Она сравнивает лицо Шервинского с ликом Чаадаева, и сравнение это мне неприятно.

От Кати известий нет, и я не знаю, была ли она у Вас.

Я, кажется, говорил Вам, что у Веры есть целый ворох стихов Александра Сергеевича. От ранних лет до этого года. Есть тетради, обрамление которых сделано мной. При поэтах Вертепа и Винеты судьба отвела мне роль «картонажного мастера»[244]. У Веры есть и три последние мои аспекта: «Год в Винете»[245], прочитанные на прощальном собрании.

Правда ли, что скоро Вы переходите в новый дом на Арбате и покидаете Новодевичий? Об этом говорил Вс. А-ч.

А. С. и поселился с каким-то голландским поэтом и занят переводами А. Гидаша[246].

Вчера я приволок на себе деревянную часть вертепного стола, оцененного Верой в 300 руб. и, конечно, не проданного...

Дела мои с продажей книг пошли туго. Требуются классика и книги изд. Academia. Решил продать лишние экземпляры *Anno Domini, Огненного столпа* и *Возмездия*[247].

Катя служит в Ком. Академии вместе с Евгенией Яковлевной[248]. Присылает Клоде большие письма, из которых можно запомнить только одно, что неустанно ездит на трамвае по хоз. поручениям Веры и Евг. Як.

Глубокий поклон Алисе Гуговне.

Обнимаю Вас
Крепко
ДЩ
Кунгахелла
1932
7 ноября

13 НОЯБРЯ 1932[249]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Пришло Ваше письмо с рассказом о встрече с Верой. Вы чрезвычайно верно подметили всю систему Веры в ведении беседы. Вот так, как перед Вами, она всегда действовала тяжело своими необыкновенными вздорными суждениями и – еще хуже – своими улыбками превосходства и всезнания, своим «ухмылением», долженствующим разбить и уничтожить противоположное мнение. Это в разговоре создавало тяжкую и душную безвыходность... Чтобы избежать резких слов надо было вставать и уходить... Но я никогда не вставал и не уходил, – говорил именно резкости с полным и не сдерживаемым намерением сделать свои слова наиболее весомыми по нанесению боли.

Вера признавалась, что она нарочно, намеренно приводила меня к этому состоянию...

Чего стоят утверждения Веры: «Волошин загубил жизнь Черубины»; «Кочетков – почти гениальный поэт»; «Слободской – мастер стиха».

Что особенно грустно, Вера не всегда может держать данное слово: вопреки моему настойчивому требованию мои стихи были выданы Кочеткову. Одни из последних стихотворений Вс. Ал-ча были выданы Слободскому для глумления...

Вера резко разграничивает две группы: Д. С. Усов, Вс. Рождественский, причисляет сюда и меня, и 2-я группа: она, Кочетков, с присоединением (не всегда) Слободского. И чувствуется преимущественное право 2-ой группы судить первую...

Горюю я, что не могу помочь Вам в добывании книг Пешковского. Не написать ли Павлу Александровичу[250]? Он более полгода мне не пишет. Вместо него пишет Светлана из Теберды...

Конечно, дорогой Дмитрий Сергеевич, если Вам совсем не нужны *Крылья*[251] – пришлите.

По-видимому, я сам не знаю, что мне нужно.

Если «Год в Винете» у Вас и если Вам там что-либо понравится, скажите.

По-моему, у Веры хорошо бы побывать вечером, когда бывает Кочетков, Шервинский, Катя и Евгения Яковлевна и когда Вера чувствует себя уже во главе нового интересного круга.

Андрей после длительного и намеренного молчания прислал открытку, в которой сообщает, как А. А. Ахматова одобряла его стихи и как охотно она дала ему свою запись...[252]

Спасибо Вам за письмо.

Обнимаю Вас
Ваш ДЩ
Роченсальм
1932
13 ноября

25 НОЯБРЯ 1932[253]

Роченсальм.
1932
25.XI.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Получил письмо со стихами Л. Горнунга и отвечаю сейчас же и по порядку.

О выставке иконописи: хороша ли была Владимирская, открытая и отмытая Анисимовым А. И.[254] А какова судьба его, я вспоминаю посылку, обращенную к нему М. А. Волошиным...

«Деревья» А. С. Кочеткова я давно бы Вам прислал, но не хотелось брать их и переписывать, так как одновременно старательно переписывали все наследство Кочеткова Руднев и Никитин.

О моих работах. Конечно, лучше не давать *ничего*, чтобы данное не служило для глумления персонажей, ныне группирующихся вокруг Веры: А. С. Кочетков, Шервинский. К тому же от

многого я отошел. Посыпятся замечания, которые давным-давно сделаны мне мною самим. Для отказа всегда есть слова: Вы могли их не найти, позабыть, где они и т. д. Наконец, и просто сказать, что я просил *никому* (включая и Веру) не давать моих *старых* рукописей, так как намерен их заново пересмотреть.

Спасибо Вам, что не назвали моих рукописей о Черубине.

Ни *Гипсовой*, ни *Золотой маски* у Веры не должно быть. Мной были предприняты меры к тому, чтобы у нее ничего почти не осталось из моих работ. Она могла иметь лишь окольным путем, через Катю.

Такое решение о рукописях у меня сложилось после того, как мои стихи были выданы А. С. Кочеткову на просмотр и разбор.

Конечно, книги воспоминаний я писать *не* буду. Мне интересны только фрагменты воспоминаний, когда тучи расходятся и видится зовущее голубое небо, в котором так много тепла и обещаний. Такие фрагменты почти все исчерпаны. Осталось очень немногое: 1905-й год на Пресне; Максимилиан Волошин; несколько сцен из детства – и все.

Жалею, что портрет Ольгинской библиотеки[255] остался в руках Веры. Ему незачем там быть. Он должен бы быть у Вас. У меня – только 1 экземпляр, висит в раме.

Решительно не помню, кого я мог назвать из современных поэтов. Возможно, что выбор мой был сделан полемически. Помню, что я говорил о Заболоцком... и Брауне[256], но о них Вера и понятия не имеет. *Столбцы* Заболоцкого я не прочь бы иметь...

Конечно, стихотворения Льва Горнунга[257] останавливают и мое внимание. Явственно слышный голос М. А. Кузмина сквозь строки Горнунга очень ценен и приятен. В присланных Вами стихах (большая за них благодарность!) я чувствую некоторое намерение поэта удержать себя на грани свежеющей, прекрасной сухости... На этой грани нежность становится строгой, едва раскрываемой, и поэтому влекущей и пронзительной. Прекрасно: «сумрачное блаженство» рядом с «зодиакальным совершенством», блаженство, пронизанное «глухой тоской». Очень хороши строки:

И крепко я держу в руке
огромный шар – пустую память.

– – –

Спасибо Вам за письмо. Я не могу написать Вам такого наполненного и интересного письма. Мой мир – тесный и сиротский (после ухода Максимилиана Александровича).

Обнимаю Вас. Ваш ДЩ.

В стихах Горнунга всегда есть приятная свежесть, тронутая раздумьем. Так приятно и так сдержанно в них охлаждены печаль и скорбь и радость /1.III.33/.[258]

12 ДЕКАБРЯ 1932[259]
Роченсальм
1932
[12] декабря[260]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Пришло Ваше письмо о Горнунге и Ахматовой, со снимками и со стихотворением Мандельштама. За все очень благодарю Вас. Снимки очень хороши. Лицо Андрея здесь мне мало нравится. Из видов Новодевичьего монастыря у меня скоро составится прекрасная серия. И я утешаю себя надеждой, что скоро, может быть, будет и снята могила Владимира Сергеевича[261].

Вымысел Веры относительно содержания Ваших писем мне очень неприятен. Я нарочно показал это место Вашего письма – Михаилу Ивановичу, и он подтвердил, что В. А. «опять наплела», но с «хитрецой», чтобы оставить себе возможность отступления. Я представлен ворчуном и привередником, которому с фактами плохо и без фактов плохо.

Я знал, что Вера сумеет положить много неприятных теней на мое лицо. К взваливанию на меня всяких небылиц и нелепостей я привык...

Письма же Ваши за все время принимал без единой тени неудовольствия и разочарования. О сухости никогда не могло быть речи. Насыщенности Ваших писем всегда завидовал. Письма Ваши всегда ставил в пример моим корреспондентам, в том числе и Вере...

Фактичность писем всегда удивляла и восторгала меня. Факты интересны, переданы сжатым, превосходным языком...

– – –

Нужно сказать еще, что после всей путаницы, предвзятости и раздражения, которые вносила Вера в беседы со мной и обо мне, – *я перестал* до конца открывать ей свое лицо и даже намерен теперь сам говорить о себе в такт ее непонимания...[262]

– – –

Спасибо Вам за обращение ко мне Масанова[263], за *Крылья*, за программы. Программы, правда, именно такие у меня уже есть. Масанову послал свои псевдонимы. Их 2: Д. Щербинский и Марселий Струнский. Послал и краткую биографическую справку.

Если у Вас сохранилась справка обо мне для словаря ГАХН – не откажите прислать, так как я не могу найти ее в своих бумагах, боюсь, что потерял...

– – –

Сейчас очень холодно и сыро. Обычная температура в комнате 9–10°, а при топке (в день топки) 11–11 ½. Топить печь некогда и невозможно чаще. Необходима экономия с дровами. Малый воз – 150 руб. Здоровье мое не лучше. Изменяются заболевания, но от меня не отстают. Большие нелады у меня с колитом и др. желудочными заболеваниями – от невозможности есть нормальный хлеб. Все лето пришлось есть хлеб из кукурузы (с размолотыми кочанами). И теперь хлеб тяжелый, суррогатный. Обычный человеческий хлеб на базаре – 10 руб. кило (серый лаваш). А кроме того, одну карточку пришлось отдать Прасковье Степановне и двум старикам – ее братьям...

Вот и получилась бытовая, житейская страница, стоило только заговорить о хлебе и холоде...

Очень своевременно Вера унесла отсюда ноги. И воплей ее о разлуке с Владикавказом – не понимаю.

Привет и поклон от нас дорогой Алисе Гуговне.

Обнимаю Вас крепко. ДЩ

20 ДЕКАБРЯ 1932[264]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Вы спрашиваете о той книге, где хранятся наклеенными Ваши стихотворения...

Это обыкновенная толстая тетрадь в переплете, оклеенная серо-голубой бумагой. Ярлык – большой, овальный, с сине-голубыми кораллами. Надпись пунктиром: Д. Усов. Стихотворения. Бумага английская (не гладкая, крупитчатая). Тетрадь заполнена почти. Внешний вид – не новый. Существует с 1921 года. В нее вошли все Ваши стихотворения, которые доходили до меня.

Листочки со стихами, если они были неудобны или велики, срезывались с нескольких сторон. Маленькие тетрадочки со стихами вклеивались целиком без расшивания. Если стихотворение было в письме, среди текста, письмо приносилось в жертву стихам: само письмо помещалось в тетрадь. Если это безболезненно – стихотворение отделялось от текста.

Последние стихотворения с лета 31 г. еще не наклеены, вследствие недостатка марочной бумаги, поставщицей которой была Катя. Книга, с Вашего разрешения, была в руках двух лиц: Вс. А-ча и Веры.

О моих статьях и работах в рукописях.

Они все – без поправок – лежат в 1-2 папках, отдельно от тех, что «отбиты» на машине. Рукописей крайне мало. К ним не прикасаюсь давно. Больно и нет охоты трогать и перечитывать. Такое отношение к рукописям создалось под влиянием ряда неудач (в их напечатании), а также под влиянием суждений о них некоторых лиц (в частности, В. А-ны).

Кстати, я недавно вспомнил, как резко Вера оттолкнула Ваш венок[265], посланный вскоре после появления его у меня. Он был отослан мне обратно без единого слова. А при встрече было сказано, что это – мертвая вещь.

Никогда не прощу Вере еще одного суждения. В то время как я в первый раз с благоговением и страхом взял с прилавка драгоценную и траурную книгу, вестницу славы и смерти, «Кипарисовый ларец»[266], В. А-на глубоко оскорбила меня, сказав, что эта книга стихов – мертвечина, и одновременно восхвалялся ею уже терявший самого себя Бальмонт.

Конечно, всё, что я пишу Вам, дорогой Дмитрий Сергеевич, о В. А-не, это только для Вас. К моим письмам старым и настоящим В. А-на не должна иметь доступа.

Вероятно, надо было себя как-то переломить и уметь многое прощать, но это не мои правила.

Без пощады, не забывая, не закрывая глаз на жаждущие раны!
«Полынь кладу на жаждущую рану!»[267]
Вас обнимаю крепко.
Ваш ДЩ
Роченсальм
1932
20.XII

PS: Не нужно ли Вам прислать книжечку: Памяти Акима Львовича Волынского. Ленинград, 1928. Издана в количестве 500 экз. – Статьи Голлербаха, К. Федина, Эйхенбаума, Гизетти и Е. Грековой.
Е.
– – –

1933.
ЯНВАРЬ 1933[268]
Дорогой Дмитрий Сергеевич!
Пришла Ваша маленькая записка в сопровождении стихов Верховского[269]. Из нее я заключил, что три моих последних письма остались безответными (а, может быть, некоторые из писем и просто не дошли). Вы знаете, дорогой, по опыту прошлых длительных молчаний, что это НЕ упрек. Хотя, возможно, рассказы Веры и ненужные добавления Кати могли Вас несколько оттолкнуть от писем...
Стихи Ю. М., Д-и[270] у меня есть, присланы были Вами в маленькой тетради и сейчас переплетены вместе с другими Вашими миниатюрными тетрадями (*Дом поэта, Россия*[271] и др.).

– – –

Вопрос, который меня сейчас живо интересует: возможное и близкое возвращение Веры во Владикавказ. Катя окольным путем старается подготовить меня и Клодю к возвращению Веры. Через Михаила Ивановича она спрашивает: что думают Архипповы о возвращении (к ним) В. А.? – Я, конечно, отношусь к возвращению Веры резко отрицательно. Не скрою, что меня беспокоит мысль о невозможности какой-либо (хоть и малой) материальной помощи. Жизнь сейчас совершенно не та, что была в сентябре 1932 года. Конечно, не хочется быть снова водворенным в одну комнату. Жизнь вместе была бы *очень* стеснительна и трудна: я не выношу чудовищного табачного дыма и бесконечных и многочисленных посещений... Если увидите Веру, узнайте данные о ее возвращении и точные причины (заключенные договоры я не считаю в какой-либо мере обеспечивающими Веру на расстоянии Владикавказ – Москва), время возвращения и на что именно рассчитывает Вера во Владикавказе. – Я ведь с Верой уже давно *не* переписываюсь.
Михаил Иванович назвал возвращение Веры глупостью, я считаю это безумием.
Вы спросили об отношении Кати к Михаилу Ивановичу. Это ее кумир, которому она поклоняется. Поклонение возникло с тех пор, как М. И. был предметом спора трех лиц: Т. В. Сушилиной, Кати и Клоди Архипповой (Смирновой). Все симпатии М. И. были на стороне Клоди... но вдруг катастрофически был заключен брак Клоди с Нилом Сушилиным и последовал отъезд в Сибирь. Так же (я думаю) катастрофически последовало сближение М. И. с Татьяной Сушилиной.
Для Кати М. И. – неизмеримо более ценный стихотворец, чем Кочетков. Допускаю, что Т. Сушилина женила на себе Михаила Ивановича. Суждения Кати об обоих что-то уж крайне сбивчивы и составлены совершенно неверно. Ученичество ее шло через мои альбомы, составленные мною для сестры, и одновременно – через влияние Михаила Ивановича. Все, что есть в моих письмах о Кате и Вере – только для Вас одного.
Нельзя ли заказать в Москве «Маски» А. Белого[272], если это не дико дорого. Может быть, попадутся Вам (случайно) программы 33-го года (они вышли) по рус. яз. и лит-ре (в одном выпуске с историей и географией). Но серьезно ни в коем случае не затрудняйте себя этим. Всегда Ваш ДЩ.

ФЕВРАЛЬ 1933
Роченсальм
1933
3 февр.
Лист 2-й

О «случайных работах» не может быть и речи. Могут быть только случайные единичные уроки, причем коренной ученицей и плательщицей станет опять Клодя. Поступление на службу («Вот достану слуховой аппарат и приеду служить в школах») – конечно, миф. Учащиеся моментально взовьются на потолок от одного вида новой учительницы...[273]

Думаю, что помощь Вере во Владикавказе затруднительна еще и тем, что до сих пор не погашены долги (деньги на выезд из Владикавказа). Давиду – 170 руб. и В. Вас-чу – 120 руб.

– – –

Спасибо Вам за стихотворения М<андельшта>ма. Я поместил их вместе с теми, что присылали Вы мне раньше, и с теми, что недавно были напечатаны в Лит. Газете[274]. *Полночь в Москве* (июль <19>31 г.)[275], *К немецкой речи* (авг<уст 19>32 г.).

– – –

Не сразу я мог откликнуться на Ваше письмо: заболела Клодя: длительный грипп и печень. Сам чувствую себя *очень* плохо, но выхожу: мы одни, Прасковья Степановна на другом конце города. В городе, кроме затруднений с хлебом, сыпной тиф. В канцелярии школы насекомые путешествуют по полу; забираются на пальто учительниц... После 2-х уроков в холодных классах (с выбитыми стеклами) ноги у меня леденеют совершенно. О каком же здоровье здесь может быть речь...

P. S.: Только что получил от Вас Брюсова с рисунками Мартини[276]. Очень Вас благодарю и давно жду, когда Вы скажете о стоимости всех книг, что Вы прислали за последнее время. Еще раз большое Вам спасибо. ДЩ.

Мих. Ив. (спасибо ему!) послал Вере обширное письмо с местными ценами и описанием трудностей. Письмо последовало за запросом Кати к М. И.: «готовы ли Архипповы встретить В. А-ну». За это Катя подверглась отчитыванию и выговариванию...

В Москву экстренно выехал Давидочка. У него мои desiderata, конечно, неосуществимые. (Но он все-таки за них взялся, на случай).

Обнимаю Вас крепко.

Д. Щербинский.

Привет, почтение и память дорогой Алисе Гуговне от Клоди и меня.

ФЕВРАЛЬ 1933[277]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я получил оба Ваших письма, касающихся приезда Веры. Только от Вас я услышал верные и веские слова относительно предполагаемого приезда... Я охотно отвечу Вам на Ваши полувопросы, рассеянные между строками.

1) На каких началах происходит проживание В. у Евгении Яковлевны?

2) Каково само материальное бытие Веры? – 1) На началах полного безоплатного пансиона со включением одевания и обувания В. за счет Е. Я-ны. 2) Материального бытия Веры не существует *никакого*. Уроки даются Верой в Москве двум лицам: Кате и мужу ее приятельницы.

Я слышал, что В. А. собирается во Владикавказ. Думаю, что делать этого нельзя: в намерении это – безумие, в осуществлении – трагедия» /было писано А. С. Кочетковy/.

Давидочка обещал в Москве привести в чувство Веру А-ну и Катю /1.III. 33/[278]

Да! Я не знаю, почему мы должны обрекать себя на жертву ради В. А-ны, причинившей мне *достаточно* огорчений, о последнем Вы можете даже ей сказать как-нибудь). Вообще, всегда помните, дорогой Дмитрий Сергеевич, что знаете меня *Вы*, а Вера *не имеет права претендовать* на знание меня. Исходя из этого, Вы всегда можете чувствовать себя уверенно в разговоре с В. обо

мне. Можете, если понадобиться, сослаться на меня: я отвергаю извращенное знание обо мне. Я часто принимал меры, чтобы знание В. обо мне уже не вышло более на верную, четкую дорогу... Это – после ее обид.

И тем не менее решительную оборону от В. я организовать не могу, это могли бы те, кто около В. в Москве: Катя, Евгения Яковлевна, Александр Сергеевич. Но они, видимо, этого не хотят, остаются глухи к тому, что им пишут о трудности жизни во Владикавказе и *не* особенно удерживают Веру в Москве.

Ответы, данные Вам (на мои вопросы) считаю возмутительными и издевательскими. Особенно отвратителен ответ: «Со мною им, может быть, будет все же легче». Это упование на свою *магию* улучшения жизни одним своим присутствием. Мне несколько раз, в разные годы, внушалась <1 нрзб.> *образом* мысль: «выступающие против нея (Веры) всегда терпят тяжкое возмездие...»

5 МАРТА 1933[279]
Роченсальм
1933
5-ое марта

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Вс. А. прислал мне после длительного молчания небольшую записку, в которой говорит об издании *Земного сердца*[280] и упоминает о тех ценных советах, которые Вы ему дали относительно подбора стихотворений для книги. Мне очень хотелось бы узнать эти Ваши указания, если, конечно, это не затруднит Вас, и еще, писал ли Вам Вс. А-ч о моем разборе летних его стихотворений...

Скажите, не попадалась ли Вам книжечка Гиляровского о Старой Москве (я, вероятно, неточно привожу заглавие), изд., кажется, Союза Поэтов (1924-25? гг.)[281], с виньетками и заставками гравера Павлова[282]. Я очень хотел бы ее иметь: там мне нравятся главы о Хитровом рынке и о московских трактирах.

Вс. Иванович[283] прислал мне (даже из Кисловодска) стих. Э. Багрицкого «Стихи о поэте и романтике» («Я пел об арбузах и о голубях, О битвах, убийствах, о дальних путях...»). Там говорится о романтике в образе совы и женщины, о романтике в жизни.

[Романтика в партии! Сбоку наган,
Каракуль на шапке зернистой икрою][284]

О предательстве Гум<иле>ва и проч. Длиннейшее стихотворение. Вс. Иванович пролечил все деньги в Москве (от болезни сердца) и вернулся в Минутку. Службу в техникуме он оставил, и я никак не пойму, на что он существует. Он видел Марию Степановну[285] в Москве. Удивительно, что он не продает своей библиотеки, а у него не менее 3000 книг. <У него есть несколько рукописей, в которые>[286] вошли все стихотворения М. А-ча, когда-либо им написанные. Как живет Борис Александрович[287]? Всегда его помню. Всегда тяготею к его прозе. Очень хотел бы знать что-либо из его последних новостей. Передайте ему мой поклон.

М. И. преподает физкультуру и служит в осетинском ОНО[288]. Он приходит к нам теперь редко. Он должен объезжать район.

Очень холодно. Легла опять белая устойчивая зима. Сегодня 5 марта, а весны нет.

Привет Александру Сергеевичу.

Всегда Ваш. Д. Щ.

12 МАРТА 1933[289]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Мне хотелось бы, чтобы это письмо было известно Вере (и Александру Сергеевичу). Переговоры Давидочки о неприезде Веры *не* имели успеха.

– – –

Все зависит от получения паспорта. Вера твердит только одно: Получу аванс и приеду.

Пишите, дорогой мой, скорее!

Поблагодарите, если увидите, Катю за внимание и за заботу о нас. Посылку получили.

Ваш ДЩ

12.III.33 г.

МАРТ 1933[290]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Приехал Давидочка. Ничего, конечно, не привез, о «Масках» на может быть и речи. Даже простейшее из моих намерений: приобрести в Москве палку (не трость) и то не осуществилось Давидочкой... ведь был в затруднениях и неудачах (хотя и не полных) относительно Института (Г. С. Х. И.[291]). К Вам он совсем собрался и уговорился с Верой, но она заболела и все расстроилось...

Привез Давид и грустное известие, я бы сказал: тяжелое – Вера не оставляет упорного своего намерения приехать во Владикавказ. Я, конечно, не говорю о том случае, когда пришлось бы выехать вследствие паспортизации. Это было бы просто άτη[292] тяжелая судьба, сопровождаемая омрачением. Нет! я не об этом говорю. В письме, переданном через Давида, Вера пишет: «Если удастся получить перевод и аванс, приеду, как только потеплеет». – Вот перед чем опускаются руки: перед нежеланием принять те неопровержимые доводы против приезда, которые доведены были до Веры и Михаилом Ивановичем, и Давидочкой[293]. Я не говорю о себе, потому что ни одному моему слову и движению никогда не было веры у Веры. В лучшем случае они встречались просвещенной усмешкой. И это всегда угнетало...

Продолжаю утверждать, что приезд, – даже при получении аванса (которого хватит едва ли на неделю), – есть безумие и усугубление несчастья. Меня очень трогает беспокойство Веры о нас, но оно и в личном присутствии ничем помочь не может. Ни утешения, ни разговоры здесь ни при чем, – остальное вне силы Веры. Беспокойство и тревогу о нас нужно просто снять. А ни к чему реальному они привести не могут, да и не должны. А душа Вера только напрасно себя расстраивает. Ни о размерах трудностей, ни о размерах голодания я, конечно, писать не буду. Но неужели недостаточно того, что я упоминаю об этом, чтобы воздержаться от приезда и от внесения еще больших, может быть, непоправимых трудностей?..

– – –

Теперь я говорю уже: милый! не молчите долго. Перед этим я послал заказное и две открытки.

Всегда Ваш ДЩ

1 МАЯ 1933[294]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Холода кончились относительно, только на время... Сегодня опять холодно. Льет дождь. Перед тем было несколько теплых дней, но безобразно пыльных и грязных. Деревья частично позеленели, но скупо и туманно, как на далеком Севере. Топить пока мы почти перестали. Дрова необходимы, чтобы сберегать огонь для пищи. К керосинке прибегать нельзя, так как керосину нет уже 3 месяца[295].

Утром, просыпаясь, я стараюсь встать до того момента, когда уйдет Клодя, иначе, я боюсь, совсем не встану. Бодрости, даже утренней, не бывает совсем. Этот год небывалый, невиданный, несравнимый ни с чем год. 21 и 22 год легкие и обильно насыщенные сравнительно с 32 и 33 годом.

Очень хочу лежать и читать, но жизнь такова, что раздружила даже с любимыми книгами. Вот, кажется, время, когда я могу отпустить от себя почти все книги. Но некому их отпустить... Собрание книг кажется мне уже невероятной тяжестью. Чувства, связанные с Новороссийском в момент отъезда, до сих пор не уходят. Остро больно вспоминать нашу миниатюрную, уютную квартиру, прощание поздним вечером в аллее перед домом с Павлом Александровичем[296]. Такое мужественное, сдержанное и скорбное прощанье... Тяжело без сухого воздуха, без солоноватого запаха, без морской дали, которая во многих случая врачевала меня. И еще горько, что никогда не буду ни в Феодосии, ни в возлюбленном Коктебеле...

У меня такая усталость, что я не могу выбраться на гору к Давидочке. Спасибо ему, что он не оставляет меня. Это – единственное посещение, которое не угнетает меня.

Уж давно никто не пишет. Но беспокоит только отсутствие Ваших писем. Когда пишете Вы, то кажется, что и все мне пишут. Когда нет Ваших писем, тогда Кавказский мрак сгущается до темноты Эреба...

Крепко обнимаю Вас и люблю. Ваш ДЩ.

Роченсальм

1.V. 33 г.

PS. В письме В. А. к Клоде произнесена, наконец, ожидаемая фраза. «Как только получу же-

ланный аванс, так сейчас же домой к Вам». Думаю, что письмо мое, не считаясь с глубокомыслием Кати, необходимо будет показать В. А. «Тонкие» соображения Кати приводят к тому, что от них бывает еще хуже другим... Кочетков точно так же утаил мое письмо от В. А-ны, как и письмо Михаила Ивановича.

PS 2. К последнему письму В. А-ны к Клоде приложены 2 стихотворения: А. С. Кочеткова «Земля! когда грудь задохнется отчаяньем, едким, как дым...»[297] и В. М-ой: «Отчего под кожею белой чернота у твоей руки?»[298]. Не нужно ли переписать для Вас эти стихотворения?

PS 3. Если можно, осведомьте Веру о переселении стариков (в 1-ю очередь отца Клоди) к нам. Катя все равно это скроет. «Ушел» от λιμός'а[299] брат Прасковьи Степановны – мой дядя...

ДЩ

7 ИЮНЯ 1933[300]

Роченсальм
Лист 1-й
7.VI. 1933
И люди-тени, люди-трости
на непомерных площадях.
В. М.[301]

Хлеба нет – зато жасмин цветет.
В. М.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Это я составлял для Давида книжечку избранных стихотворений В. А-ны... и вот в уме остались строчки. В книгу я включил: Посвященное Вяч. Иванову, «Бабушка русской поэзии», «Как все», «Хлеба нет», «У двери каменные гости» (стансы), «Каждый раз себя приоткрывая», «Маленькое верит сердце»[302], «Люди любовь берегут как бьющуюся посуду», «Это будет как-нибудь очень просто», «Евгению Архиппову», «Цепь забот»; «В доме тихо»[303].

Я не пишу не потому, что мне трудно, а потому что жизнь стала тревожна и скудна. Лучшее в ней – это около Давида и его книг. М. И. Слободской занят изданием сборника, куда войдет его рассказ и переводы ингушских поэтов.

Я не знал, что Вы так сильно заняты, я думал, что темы моих писем, их «нищета содержания» и вопрос о λιμός'е заставили Вас на время перестать мне писать. Вы знаете, я мечтаю сейчас о двух вещах: о палке (с широким свободным загибом, полукругом, наподобье *клюки*, хорошего дерева) и о лупе. Катя отказалась мне в этом помочь, она предложила отнять палку у Прасковьи Степановны, когда-то подаренную ей Катей... Буду просить об этом Давида при следующей его поездке в Москву. А. С. Кочеткову написал 2-е письмо (все о «Леноре»[304]). 1-ое письмо (заказное) он говорит, что не дошло. Но это говорится для того, чтобы не отвечать мне. Конечно, я хочу иметь «Аббатство Трех Долин»[305].

О котах не беспокойтесь, дорогой Дмитрий Сергеевич! Уж очень большая возня – отыскивать их. Много уходит времени. Может быть, Гиляровский встретится скорее: «Москва и москвичи», маленькая книжка изд. Союза Поэтов[306]?

Лист 2-й
7.VI. 33 г.

Гейне совсем не ищите. Я достал нужные вещи у Давида в переводе *Шенгели*[307].

Что цените вы из статей Тынянова в сборнике «Архаисты и новаторы»[308]?

Начались опять бессонные ночи. Ложась в 11 часов, я неизменно просыпаюсь в 4 и уже никак не могу забыться к утру. Днем устаю быстро: два выхода из дому мне тяжелы. К 11–12 часам дня уже полная усталость, даже если я ничем не занимался, а просто что-нибудь поделал для дома. Ни один год не уносил так много здоровья, как этот. Клодя чувствует себя не лучше, но бодрится сильнее, чем я. Все еще мучит себя занятиями в институте (до 1-го июля).

Скоро, вероятно, пришлю список того, чего у меня не достает из стихотворений Черубины сравнительно с Вашим списком, и буду Вас очень просить переписать мне стихотворения в маленькую тетрадку. Скажите, кто переводил Гафиза, кроме Фета и Вл. Соловьева? Я потерял ма-

ленькую книжку творений Саади изд. «Всемирной литературы» СПБ-Берлин[309].

Обнимаю Вас крепко,
Ваш ДЩ.
Роченсальм
1933
7.VI.

22 ИЮНЯ 1933[310]

Роченсальм. 1933. 22 июня.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Очень грустно, что переписка наша этим летом не состоится. Вы будете заняты все лето, и я буду занят с 1 августа. Конечно, я буду доволен и в том случае, если переписка пример открыточный характер, только уж на открытке тогда пишите побольше (можно и карандашом).

Как-то в письме (1925 г.) Вы писали, что любите, когда я спрашиваю. Но теперь я [1 слово нрзб.] стараюсь умерять свои вопросы, и все-таки их, кажется, много.

1-я просьба касается переписывания для меня очень немногих стихотворений Черубины, которых у меня нет. Может быть, с этой просьбой можно обратиться к Алисе Гуговне? Я пришлю маленькую тетрадочку. Мне очень неприятно, что последние стихотворения Черубины были переписаны на такой ужасной бумаге. Я думал, что Вы все равно их переписываете в одну единую тетрадь.

2-я просьба. Нельзя ли раскрыть инициалы корреспондентки Черубины, и рассказать о ее существе и ее судьбе. 3-я просьба сообщить все сведения о сестре и брате Черубины. Брат изображен на фотографии, которую показывали мне в С<анкт->Петербурге вместе с бабушкой и маленькой Черубиной. Когда он умер? Его жизнь и судьба?[311]

Давид сейчас тоже чрезвычайно занят печатанием своего журнала (для обмена с иностранными учеными учреждениями). Издал маленькую книжечку о собирании животных[312] с поразительными (наклеенными) четко изображенными фотографиями и подарил мне. Я переписал для него в миниатюрное (мое) издание «Ленору», «Золотую ветвь»[313]. И «издал» для него маленький (мой) сборник избранных стихотворений Веры Меркурьевой. Вообще у Давида сосредоточено порядочное количество моих рукописных изданий (Вс. Рождественский, Ник. Гумилев, Максимилиан Волошин). Вероятно, скоро я перепишу для Вас и те стихотворения Черубины, к-рые все выяснились после сведения алфавитных списков[314].

Что слышно о Сергее Михайловиче[315]? Видели ли Вы Юлиана Щуцкого[316]? в действительности или на фотографиях? Сведениями о нем очень интересуюсь. Красив ли он? Он получил из наследства Черубины Ее перстень?

Действительно ли Всеволод Александрович будет в Коктебеле? Меня очень беспокоят все художественные и литературные богатства, оставленные Максимилианом Александровичем. Боюсь, что не были зафиксированы порядок и расположение предметов на акварельном и письменном столах в зимнем (нижнем) и верхнем (над мастерской) кабинетах. Вообще распоряжение наследством и охрана его (идущие через Марию Степановну) меня очень беспокоят (хотя я и не имею права так беспокоиться о нем).

Еще не исчезла надежда, что Клодя всё же приедет из Красноярска. Прасковья Степановна очень изменилась и очень слаба. Катя не пишет, Вера не отвечает на письма даже Клоде. Под давлением Веры не отвечает на мои письма и Александр Сергеевич. Вера обиделась и на Антонину Павловну Бёме[317], написавшую ей, что приезжать во Владикавказ можно, имея 15-20 рублей на каждый день. Условия жизни здесь нисколько не изменились. Я и Клодинька опять болели от мамалыги и хлеба (из барды[318]). Клодя только и мечтает, что о скорейшем оставлении Владикавказа, и только теперь неизвестно, куда теперь двинуться и мыслимо ли будет (при вторичном материальном разорении) передвигаться. Коммерческого и дешевого хлеба нет. Хлеб из кукурузы 8-9 руб., черный 12–14 руб. кило.

Конечно, на мои вопросы я буду ждать ответа, только рассчитывая на отдых или перерыв в Ваших занятиях.

Обнимаю Вас крепко. Ваш ДЩ.

15 ИЮЛЯ 1933[319]
Роченсальм 1933.15.VII.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Недавно только встал с постели: опять болел, высокая t и желудок. Это все мои поражения от попыток усвоить хлеб. От него болеет и Клодя, но она более выносliва, чем я. Пролежал *6 дней* и с трудом встал. За время болезни был Давид: он принес очень ценный подарок: несколько литров керосина. Это на день-на два освобождает от разведения костра во дворе, на кирпичах. Кипятить воду и готовить пищу можно только таким первобытным образом. Уже полгода как керосин опускается по 1-2 литра на месяц. Относительно хлеба, вероятно, придется беспокоить Катю. Она как-то говорила, что можно будет выслать.

Большое Вам спасибо и за письмо, и за заполнение моей книжечки. Конечно, я напрасно беспокоил Вас относительно Н. Д. А.[320] Получил и сонет В. А.[321] Но он мне никак не нравится: нет Вашего образа в сонете, очень путанно и слишком искусственно. Игривость последних строк мне не приятна. «Расина том берет наперевес»[322] надо просто удалить из сонета. Это грубовато и совсем не выражает Вашей манеры обращения с книгой!

Скажите скорее, приехал ли Вс. Ал-ч в Коктебель. Я давно послал ему туда письмо и книжечку для черновиков по адресу: Санаторий Ленинградских писателей.

Нет ли у Вас случайно лишнего экземпляра «Завещания Вийона» в переводе Эренбурга? Кстати, причастным к вийонизму Вера Александровна считает А. С. Кочеткова, а Максимилиан Александрович – Мандельштама, похитившего у Максимилиана Александровича им же подаренный «Камень».

Как это замечательно, что Вы собрались, наконец, в Коктебель. Как это грустно, что Вы там будете без меня!

Сначала августа я должен быть уже на службе. И если б даже службы не было, я тоже не приехал бы. От Владикавказа до Коктебеля в 10 раз труднее дорога, чем от Москвы. И наконец, состояние средств таково, что я не поехал бы даже в Кисловодск к Попову.

Листов со стихами Державина[323] мне, конечно, *не* нужно. В. А-на всегда умело дарит то, что мне не нужно. Она наградила меня страусовым яйцом, когда я ждал фарфоровую чашку. Я очень рад, что разбилось это яйцо. О палке пусть Катя совсем не беспокоится. Отбирать у Прасковьи Степановны пусть даже данное ей на 1 час, я, конечно, никогда не буду. А кроме того, мне подержанных вещей *не* надо...

Привет и почтение Алисе Гуговне.

Всегда Ваш ДЩ.

Лист 2-й
Роченсальм 1933
15.VII.

Нужно ли говорить о В. А-не? Недели две назад она прислала Беме Антонине Павловне сообщение и все о том же, что по получении аванса выезжает во Владикавказ «доживать свой век» и отсюда будет пересылать свои переводы в Москву. Одновременно та же Антонина Павловна получила письмо от Евгении Яковлевны[324], что удержать Веру в Москве никакими силами невозможно.

Погода установилась точно такая же, как прошлое лето: дожди, сырость, грозы, мрак.

Было письмо от Э. Ф. Голлербаха, он говорит, что был с 20.I. по 6.V. в «санатории»[325] и затем в двух психиатрических клиниках. Он в восхищении от нового Петергофа («Египта Ленинградской области»). Бранит Валентина Иннокентьевича[326] за неотдачу каких-то давних денег и адресует к нему строки В. Инбер:

Лучший друг почти свинья
И лежит на блюде[327].

Скажите, неужели А. С. так хорошо знает латынь, что будет переводить римских поэтов[328]. В проспекте Academia объявлено о будущем выходе А. С. Кочеткова; Анакреонта в переводе С. В. Шервинского; Феокрита (его же); Марциала в переводе Ярхо[329]; Теренция в переводе С. М. Соловьева.

Были ли Вы во 2-м МХТе на *Униженных*[330]?
Если можно, расскажите о постановке.
Обнимаю Вас крепко. Ваш ДЩ.

20 СЕНТЯБРЯ 1933[331]
Кунгахелла
1933
20. IX.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

В перерыве между заболеваниями спешу написать и поблагодарить глубоко за присланное письмо. Я уже ждал его, – традиционного письма о пребывании у Вас Вс. А. Я очень рад, что открытки мои доходят до Вас. За это время не было ничего интересного. Погода (я ведь знаю, что я специалист по погоде!) на редкость тяжелая. Дней 8–10 висящие темные тучи, без дождя, затянули Владикавказскую котловину. Сырость и тяжесть. Два дня назад началось сеяние дождя, почти непременное, угнетающее. В сентябре – это невыносимо. Летний унылый дождь (недели 3), он как-то более приемлем. Нет этой промозглости и беспросветности. В соответствии с дождем и сыростью я и болею. Каждое утро Клодя говорит, что пора вернуться в Новороссийск, хотя бы ради тепла и близости к Коктебелю. Мысли об отъезде у нее всегда вызываются моим кашлем и болью в боку... Она боится, что у меня болезнь Якова Максимовича... Давидочки – нет. Он на озере Кёл, на большой высоте в горах. Потащил туда складную лодку, прибывшую из Германии, предварительно испытав ее на Треке.

У Кати умерла мать и умирает сестра.

9 ОКТЯБРЯ 1933[332]
Роченсальм
1933
9.X.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Клодя и я сердечно благодарим Вас и дорогую Алису Гуговну за память о нас и за подарок, уводящий нас в давнопрошедшие кондитерские времена. Прошли краткие, сквозь горе и горечь, свидания с Катей. Только 5-го она могла придти к нам. С сестрой провела несколько часов (около суток): Лидия Андреевна скончалась на ее руках. Ни подробных отчетов, ни длительных сообщений от Кати не удалось слышать. Это не походило на мой отчет о Коктебеле во Владикавказе. 3 раза на 1 ½, на 1 час была с нами Катя, но и этому я безмерно благодарен: слишком велика глушь и тьма в городе... Были вчетвером: я, Клодя, Катя и Михаил Иванович.

Я был очень удивлен, что К. принесла Вам свои рукописные книжки. Я подарил ей только: стихи Черубины о Петербурге. 2-ая книжечка стихов составилась помимо моего желания. Это, вероятно, выписка Клавдии Яковлевны из *Каравеллы Проклятых*[333], увезенной в Сибирь, выписки, сделанные для Кати. Я об этом узнаю *впервые*. *Балладу камня и покрова* – я дарил. *Крест и Стрелы* – никогда. А зачем она принесла *Фернампикс* – не знаю, в нем всё Вам известно[334]. Очень хотел бы, чтобы Вы полузаглавиями сообщили, что находится в этом 2-ом сборнике стихов Черубины. Есть еще стихи Черубины у Руднева М. Вл. Он говорит, что привез их из Петербурга от Извекова, а я боюсь, что это тот же путь – от Клавдии Яковлевны – к Кате, к Рудневу. Извеков – кажется, – приятель Всеволода Александровича. Он устраивал «сватовство» Извекова со мною в Новороссийске, но оно не состоялось. Как не состоялось и личное свидание, по воле Максимилиана Александровича, Вс. И. Попова – со мною. Уклоняющейся стороной, конечно, являюсь я...

«Силуэт» Шервинского был прочитан им Вере Александровне вскоре после приезда его в Москву... В. А-на прислала огромные листы со стихами В. В. Державина. Напрасно. Они останутся непрочитанными. 2. Прислала безграмотно составленное заявление В. А. Меркурьевой в Горком писателей. Подлинник подписан М. Н. Розановым, Вересаевым, Чулковым, Мандельштамом, Пастернаком и Пильняком[335].

Крепко обнимаю Вас и благодарю ДЩ

Еще В. А. прислала свои стихи «Прежде рыцарь к славе Дамы»[336] и *Летний отдых* (о перипоэтике, перележатике, перетрепатике и проч.)[337].

17 ОКТЯБРЯ 1933[338]
Роченсальм
1933
17-го.II.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я очень благодарен Вам за письмо, где Вы говорите о перенесении останков Гоголя, Аксаковых, Хомякова и Веневитинова. Я страшно люблю Ваши письма, где Вы говорите о нашем литературном прошлом и о наших писателях...

Список стихотворений Черубины (весь сборник, 31 стихотворение) является для меня большой новостью и неприятностью. Здесь он не был мне показан и от меня скрывался, так как Кате известно было нерасположение мое к распространению стихотворений Черубины.

А в распространении Катя потрудилась уже достаточно. Сборник побывал у Руднева, ее фиктивного супруга и, несомненно, у М. И. Слободского (!). Не менее виновата в этом и Клодя (К. Я.), в руках которой были все мои тетради и «Каравелла». Все это сделано без моего согласия и мне очень неприятно. В получение М. В. Рудневым стихотворений Черубины непосредственно из петербургских кругов тоже не верю. Источник один: К. Я. и Катя.

Что Вам рассказать о Кате? По частям, мне кажется, я сообщил уже все. С детства во Владикавказе. Отец – начальник технического училища (давно уже умер). Подруга К. Я. Архипповой, ее вечная тень, следующая за нею всюду. Окончила Педагогический институт в 31 году. Очень преданный, сдержанный человек. Замужество ее прекратилось в 27-ом году. Цацхалов (ни разу его не видал), кажется, инженер, неожиданно оставил К. и уехал в Закаспийские края. Ни на какие письма и розыски не отвечал. Говорят, теперь он в Москве. Цацхалова хорошо знает М. И. Слободской. В Винете при всех обсуждениях, спорах и вспышках К. хранила молчание или дремала. Из винетийцев выше всех ставит М. И. Слободского, предпочитает его Александру Сергеевичу, чрезвычайно внимательна и заботлива к нему. При чрезвычайном преклонении Кати перед М. И. Слободским, меня крайне удивил ее интерес к Черубине, он несомненно внешний, созданный в подражание Клавдии Яковлевне.

Вот уже несколько месяцев – неожиданно оборвалась моя переписка с Клодей. Может быть, она недовольна, что я не помогаю Прасковье Семеновне...

Спасибо Вам, дорогой Дмитрий Сергеевич, за доброе слово о *Lectisternia*. Конечно, мне очень жаль, что они попали в руки В. А-ны. Я намеренно устраняю от внимания В. А-ны все, что могу, из моих «писаний»...

У меня – большая радость: стихотворение: *В закатный век любви, в земле обетованной* (Шатобриан-Стивенсон-По-Волошин) посвящено мне[339].

Крепко Вас обнимаю.

Всегда Ваш ДЩ

ДЕКАБРЬ 1933[340]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я получил от Вас письмо с 2-мя стихотворениями А. С. Кочеткова. Очень давно я ждал от Вас письма, Вы ведь тоже очень редко пишете. Спасибо Вам за последнее письмо, в нем много интересного. О В. А-не, вновь собирающейся во Владикавказ, и я могу Вам рассказать, но то, что, вероятно, Вам уже известно. Прежде всего, Кате при отъезде во Владикавказ был дан наказ поменьше говорить о В. А. и побольше смотреть, есть ли тут дрова и картофель. Потом пришло письмо от В. А., на имя Клоди, с сообщением, что жить ей больше в Москве невозможно и «чуть аванс от Academia – сейчас же к Вам. Я уже наметила место для моей кровати в Вашей комнате: по длинной наружной стене, между печкой и дверью во 2-ю фасадную комнату... Я все думаю, как Вы меня встретите». И опять вопросы о керосине, хлебе и «картошке». Катя взяла на себя смелость утверждать о якобы поправившемся нашем состоянии... и этим еще раз подтолкнула В. А. к переезду из Москвы.[341]

Исключительно в целях правдивого освещения нашей жизни во Владикавказе, а также на случай, если бы Вы пожелали передать эти данные В. А-не, я расскажу Вам, насколько улучшилась наша жизнь сравнительно со страшным годом. Дров хватит вряд ли до середины января. При отоплении t поднимается до 8°. Вынуждены топить только через день. *Кофе, которое и можно было бы пить и которое нужно В. А-не, в продаже нет. Говорят, будет много кондитерских товаров, но это – недоступное.*[342] Картофеля (отвратительного, который мы избегаем есть) хватит до 1 января. Керосин сейчас драгоценность. В открытой продаже нет. Есть в торгсине. Выдают, но не каждый месяц, по 1 литру на месяц. У спекулирующих на базаре 1 литр – 3 руб., четверть – 12 руб. Коммерческий хлеб есть, но мы его покупать не можем: денег не остается. Мой заработок – 130 руб. в месяц. Сколько бы В. А-на не привезла (если допустить, что она способна привезти деньги), хватит ровно на неделю. В. А-на не может и не способна думать о чужих тратах на нее, и 1/3 заработка Кати уходит на продукты для В. А. Та же Катя сообщала, что в профсоюзной организации моя тезка[me] вывешена на черную доску за неуплату долгов (сделанных в связи с В. А-ной)... Клодя еще не ответила на письмо В. А-ны, я буду рад, если ее молчание продлится более серьезный срок. Аналогичное письмо было получено Антониной Павловной, которая сейчас же ей отписала, что ни одной копейкой ей помочь не может. (У Антонины Павловны прекрасный дом и полный достаток). Я, конечно, ничего предпринимать не буду. Достаточно сказанного в прошлую зиму. Отдаю все в руки судьбы. Давидочка был возмущен письмом о постановке кровати, и <я> должен был отговаривать его писать В. А-не.

Видите, милый, какое опять невозможное получилось письмо.

Крепко Вас обнимаю. Всегда преданно Ваш ДЩ.

P. S. Не нужна ли Вам книга «Искусство перевода» (К. Чуковский и А. Федоров; изд. Academia 1930 г.? Сообщите об этом. В *Лит. Газете* статьи «Новые переводы Бальзака» Н. Кравцов и «Разгримированный Шекспир» (о переводе Анны Радловой) – статья Эйдельмана.

P. S. К <вопросу>[344] об освещении: керосин уже дороже 3 руб. (4 и 5). Электричество не горит. Трамвай больше не ходит. С 5-6 часов мы сидим при светильнике. На улицах – чудовищный мрак.

ДЕКАБРЬ 1933[345]

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Это мой 2-й ответ на письмо с 2-мя стихотворениями Кочеткова. О «Земном сердце»[346] я только что хотел писать Вам, как получил сообщение, что книги в Москве нет. Это очень грустно. Свой экземпляр я подарил Давидочке, вернее, Марии Николаевне[347], очень желавшей иметь Рождественского! Это сделано в надежде получить 1 экземпляр от Вас наложенным платежом. Что же теперь делать? Нельзя ли просить Вас, через своих знакомых, выписать «Земное сердце» из СПБ-га. Скажите.

P. S. *Земное сердце* не высылайте. Отыскан здесь 2-й экземпляр. Сверх того, Катя предлагает Михаилу Ивановичу выслать из Москвы.

Альвинг изображен Верой Александровной в следующем виде: «Он давно знаком с Шурой[348], на ты с ним (по «литровкам»), это тщательно одетый, когда-то красивый (! – Е. А.) пожилой человек с грустными и преданными глазами. Нуждается хронически остро, болел...»

О Мандельштаме: «Он очарователен, забавен, нелеп, высокомерен и трогателен... Заболела его жена, к которой он болезненно как-то даже привязан. Она славная, кроткая, грустная, заботливая». Об Анне Ахматовой и выписывать не стоит: так нелепа сама встреча: «Я молчала, она тоже. Я стала уходить. Я онемела». Это просто неумение данный судьбой срок превратить в встречу[349].

Было еще письмо от Эриха Федоровича[350] после громадного интервала... Все оно заполнено тем, что автор письма поносит Валентина Иннокентьевича[351] на все лады. «За последнее время он морально столь же грязен, как и физически... Теперь, увы, я слишком хорошо изучил сей ананас».

Мы раза два были у Михаила Ивановича, у которого на столе бывают азиатские и армянские кушанья, только приготовленные. Но хозяин почему-то избегает водки, предпочитая коньяк. А водка в таком холоде и в таком блистательном городе прямо необходима. Вполне разделяю

склонность к ней Александра Сергеевича.

Дорогой Дмитрий Сергеевич! Вы случайно не ответили на два вопроса: 1) как Вы оцениваете сонет Веры Александровны, обращенный к Вам, и 2) Можно ли достать в Москве книгу Гиляровского «Москва и москвичи» (Изд. 1924 или 1926 г.).

Вы спрашиваете о Яхонтове. Нет, Вы мне о нем не писали[352]. Из газет я знаю только о Закушняке[353] (недавно умершем).

Недавно я с удовольствием переписал для себя «Дитя Аллаха» из «Аполлона»[354]. Коктебельский дневник прочно остановился. Читать и писать приходится редко: нет керосина. Горит маленький светильник, свидетель тяжелых лет <19>21-22 гг. в хижине на Цемесской. Течение жизни и трудности, их постоянный поток, заставили закрыть страницы, посвященные Максимилиану Александровичу.

Крепко обнимаю, всегда помню.

Ваш ДЩ

Примечания

[1] См. о нем: А. В. Лавров. Архиппов // Русские писатели. 1800–1917. Т.1. М., 1989, с.212; Нешумова Т. Ф. Невидимый трилистник: Черубина де Габриак, Д. С. Усов, Е. Я. Архиппов // Toronto Slavic Qaurterly № 20 (http://www.utoronto.ca/tsq/20/neshumova20.shtml).

[2] Пометка Усова: «Получено 4.X.1920. В Астрахани». Письмо написано по старой орфографии.

[3] Первая жена Архиппова.

[4] В 1919–1920 Архиппов работал с Мейерхольдом в подотделе искусства Отдела народного образования Новороссийского ревкома: читал лекции по античной трагедии и работал библиотекарем в руководимой Мейерхольдом театральной студии.

[5] Упомянуты статьи Архиппова, хранящиеся в его персональном фонде в РГАЛИ (ф.1458): о трагедии И. Ф. Анненского «Фамира-кифаред», об А. В. Звенигородском; о поэте Арсении Альвинге (настоящее имя Арсений Алексеевич Смирнов, 1885–1842), редакторе издательства «Жатва», выпустившего книгу статей Архиппова о русской поэзии и составленную им библиографию И. Ф. Анненского.

[6] Символистское издательство, основанное в 1899 г.

[7] В. Э. Мейерхольд, Ю. Бонди. Алинур. Сказка в 3 д., с прологом и эпилогом. Пг.- М., 1919; «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Материалы к постановке под ред. В. Мейерхольда и К. Державина. Пг., 1919.

[8] «Скифы» [СПб.] – литературный сборник, в котором принимали участие В. Я. Брюсов, С. А. Есенин, М. М. Пришвин, А. М. Ремизов, Е. И. Замятин и др. Вышло 2 выпуска. 1-й – в 1917; 2-й – в 1918.

[9] А. Белый. Рудольф Штайнер и Гете в мировоззрении современности. М., 1917.

[10] Мы [Сборник стихов]. М., Книгоиздательство при Всероссийском союзе поэтов «Чихипихи», 1920.

[11] [Маяковский В.В.] Всё сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919.[Пг., 1919].

[12] Дочь Е. Я. и Н. С. Архипповых.

[13] Сиповский Василий Васильевич (1872–1930) – историк литературы, педагог.

[14] Помета Усова: 4.I.1921. Первый лист письма отсутствует.

[15] Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) – религиозный философ, правовед, князь; в период гражданской войны находился при Добровольческой армии. Умер в Новороссийске 23 января 1920.

[16] «Записки мечтателей» – нерегулярно выходивший в петроградском издательстве «Алконост» в 1919–1920 гг. литературный журнал. Объединял вокруг себя преимущественно писателей-символистов: Александра Блока, Андрея Белого, Алексея Ремизова, Федора Сологуба, а также Иванова-Разумника, Владислава Ходасевича, Мариетту Шагинян, Михаила Гершензона и др.

[17] Алперс Борис Владимирович (1894–1974) – театровед, педагог. Автор книги о театре Мейерхольда: «Театр социальной маски» (М.-Л. 1931).

[18] «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня» (Евангелие от Иоанна, 13, 21); «Рус-

скому императору-самодержцу Александру Первому».

[19] И. Ф. Анненский, культ которого сложился в кружке близких к издательству «Жатва» литераторов. В письмах Усова и Архиппова именуется «Он» – всегда с большой буквы.

[20] Из альбома Б. Григорьев «Intimit » (Пб., 1919), навеянного парижскими впечатлениями.

[21] Шерлинг Мирон Абрамович (1890 [?] – 1958) – петербургский фотограф-художник.

[22] В. А. Меркурьева и И. Е. Архиппова.

[23] Портрет В. О. Ключевского, выполненный художником Леонидом Осиповичем Пастернаком (1862–1945). Сейчас хранится в историческом музее Москвы.

[24] Вероятно, Гарри (Генрих, в Православии – Андрей) Матвеевич Блюменфельд (1893–1920).

[25] Неустановленное лицо.

[26] Е. И. Васильева (Черубина де Габриак).

[27] Кн. Сергей Волконский. В защиту актерской техники// Аполлон. 1911. №1.

[28] А. Трубников. Демонизм Иеронимуса Босха.

[29] [И. фон] Гюнтер. Стефан Георге, его время и его школа // Аполлон. 1911. №4.

[30] Аполлон. 1911. № 7.

[31] Игнацио Зулоага (1870–1945) – испанский художник.

[32] Эрне (1882–1917), философе, друге юности Е.Я. Архиппова.

[33] Драма (1904), вошла в сборник Брюсова «Земная ось».

[34] Лаодамия – в древнегреческой мифологии дочь иолкского царя Акаста и супруга фиолакского царя Иолая, образец супружеской верности. Этот миф лег в основу утраченной трагедия Еврипида; И. Ф. Анненский написал на этот сюжет собственную пьесу «Лаодамия» (окончена 1902, опубликована 1906). Так же о Лаодамии были написаны трагедии Ф. К. Сологуба «Дар мудрых пчел» (1907) и В. Я. Брюсова «Протесилай-умерший» (1913).

[35] Прешерн Франце (1800–1849) – словенский поэт.

[36] Правильно: Cor ardens. (Пламенеющее сердце), 1911. Оговорка, по-видимому, связана с наложением названия книг Иванова на заглавие книги М. Волошина сб. «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»).

[37] Т. е. 16-м стихотворением, имеющим отношение к 14 сонетам венка и 15-му магистралу, было посвященное Майе (Марии Павловне) Кювилье (1895–1985; см. о ней: Т. Н. Жуковская, Е. В. Снежкова. Майя Кювилье: образ, возникший из писем // «Серебряный век» в Крыму... М.-Симферополь-Судак, 2007. С. 79-90.

[38] Упомянуты однофамильцы: автор сонетов Долинов Михаил Анатольевич (1892- 1936), стихи которого вошли в совместный с поэтом Александром Александровичем Конге сборник «Пленные голоса» (СПб., 1912), и сонетов не писавший агитпроповец Морис Евгеньевич Долинов.

[39] Вопросительный знак поставлен Архипповым.

[40] Доленко Петр Гаврилович (1896?–1920) – поэт, врач. Участник новороссийского литературного кружка, проникнутого влиянием акмеистов и В.Э. Мейерхольда, в который помимо Архиппова входили Л. Иванов, Б. и С. Алперсы. Умер от туберкулеза горла, не доехав до Каира. Архиппов посвятил его памяти 3 стихотворения.

[41] Борис Борисович Божнев (1898–1969) – поэт первой волны эмиграции. Наиболее полно его наследие представлено в книге: Борис Божнев. Собрание стихотворений: В 2 т. / Сост. Л. Флейшман. – Беркли, 1987–1989. Однако ни переписанного Архипповым стихотворения, ни указания на причастность Божнева к петербургскому кружку Гумилева здесь нет. Согласно Л. Флейшману, первая публикация стихов Божнева состоялась в Софии, в 1920-м г., но это были другие тексты. Все остальные известные стихи Божнева – более позднего периода.

[42] Вероятно, номер письма после возобновления переписки.

[43] Помета Усова: Получено 4 янв. 1931.

[44] Российская морская крепость в Финляндии, существовавшая с конца XVIII века и сожженная в 1855 г. в ходе Крымской войны. На домашнем языке Архиппова – обозначение Новороссийска.

[45] Отец Е. Архиппова, Яков Максимович, умер в 1908 г.

[46] В семье Архиппова были две Клоди: сестра Клавдия Яковлевна Сушилина (?– не ранее 1928) и вторая жена – Клавдия Лукьяновна (Лукинична) Архиппова. Здесь речь идет о первой из них, уехавшей в 1928 в Красноярск.

[47] Волошин. С осени 1927 г. Архиппов через Рождественского заочно познакомился с Волоши-

ным и переписывался с ним.

[48] Перечислены книги: Модзалевский Б. Л. Пушкин [Сборник статей]. Л., 1929; Каратыгин П. А. Записки. В 2-х тт. Л.: Academia. 1929–1930; Мгебров А. А. Жизнь в театре. В 2-х тт. Изд. Academia. Т.1. Л. 1929. Т.2. М.-Л. 1932; Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.-Л.: Academia. [1930]; Гроссман Л. Алиса Коонен. М.-Л., 1930.

[49] Книготорговое отделение Государственного издательства.

[50] ДЩ, Д. Щ. – Дмитрий Щербинский, псевдоним Архиппова, взятый по фамилии деда.

[51] Цикл стихотворений В. А. Меркурьевой, посвященный памяти сестры, «Осталась» см.: Тщета. С. 325-336.

[52] Пометка Усова: Получено 25.I.31.

[53] Софья Михайловна Дельвиг (1806–1888) – жена А. А. Дельвига. Перечислены работы о поэте: Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг: Материалы биографические и литературные. Пг., 1922; Модзалевский Б. Л. Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг // Пушкин: Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР. [Л.], 1929.

[54] Гофман Модест Людвигович (1887–1959) – поэт, критик, литературовед.

[55] ФЗС – фабрично-заводская семилетка.

[56] Всеволод Иванович Попов (1887–1936) – педагог, библиофил, знакомый Волошина. Минутка – станция Северо-Кавказской железной дороги.

[57] Кривич Валентин Иннокентьевич (наст. фам. Анненский, 1880–1936) – поэт, сын И. Ф. Анненского. *Годичное* – т. е. написанное в ответ на ежегодные письма Е. Я. Архиппова к годовщинам смерти И. Ф. Анненского, 30 ноября.

[58] Пометка Усова: Получено 3 мая 1931.

[59] Нил Владимирович Сушилин (1900–1938), репрессирован. Составлял перепись населения в бассейне Подкаменной Тунгуски. Книга Сушилина о северных народностях не вышла.

[60] О Днепрострое Вс. Рождественский написал два стихотворения: «Дід Дніпро» (позднее название – «Когда рождался Днепрогэс», 1929; опубл.: Новый мир, 1931, №7, вошло в его кн. «Земное сердце» – Л., 1933) и «Котлован». В письме к Усову от 14 июля 1930 г. Рождественский писал: «Днепрострой – не правительственный циркуляр. Днепрострой – творимая легенда» (цит. по кн.: Вс. Рождественский. Стихотворения. Л., 1985. С. 522).

[61] Русь. Русские типы Б. М. Кустодиева. Слово Евг. Замятина. Пб.: Аквилон, 1923.

[62] Безумие (др.-греч.).

[63] Коваленская Н. Н. В. А. Тропинин (1776–1857). М., 1930; Михаил Кузмин. Всеволод Воинов. Д.И. Митрохин. М., 1922 (или: Рисунки и гравюры Д. И. Митрохина. 1908–1925. Каталог выставки. [Казань] 1925); Эфрос А. М. С. Чехонин. М.-Пг., [1924].

[64] Квадратные скобки и вся помета – Усова.

[65] Выделенное курсивом – вписано Усовым.

[66] Пометка Усова: Получено 10 июня 1931.

[67] Неточная цитата из стихотворения «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак...». Первое слово у Архиппова – «голодный», у Цветаевой: «...От века поэтовы корки черствы, / И дела нам нету до красной Москвы!/ Глядите: от края – до края – / Вот наша Москва – голубая! // А если уж слишком поэта доймет / Московский, чумной, девятнадцатый год, – / Что ж, – мы проживем и без хлеба! / Недолго ведь с крыши – на небо».

[68] Вартминский(?-?) – учитель Новороссийской гимназии, друг Е. Я. Архиппова.

[69] Голодать (др.-греч.)

[70] Голод (др.-греч.).

[71] Итоговые записи о пребывании Архипповых в Коктебеле см. в дневнике М. А. Волошина от 25 и 27.IV. 1931 (Максимилиан Волошин. Собр. соч. Т. 7 (2). М., 2008. С.189–191).

[72] Жена Архиппова.

[73] Мама К. Л. Архипповой.

[74] Сестры Архиппова.

[75] Пустынность, безлюдье, одиночество (лат.).

[76] Вартминский.

[77] Пометка Усова: Получено 21.VI.1931.

[78] Выставка акварелей Волошина проходила в 1924 г. Москве, в ГАХН. Усов служил в ГАХН с 1923 г.

[79] Помета Усова: Получено 24 авг. 1931 (Влахернская).

[80] Помета Архиппова: старого стиля, т.е. в праздник Преображения Господня.

[81] «Дом Поэта» – программное стихотворение М. А. Волошина 1926 г.

[82] Т.е. уже упоминавшиеся Юрченко, Слободской, Тарноградский, а также профессор-кавказовед Леонид Петрович Семенов (1886–1959) и его брат, поэт Сергей Аргашев (наст. имя: Сергей Петрович Семенов (1902–1985); см. о нем в упомянутой книге Е. Тахо-Годи, с.625-652).

[83] Деревня Дмитровского района Московской области, где летом 1931 отдыхали Д. С. и А. Г. Усовы.

[84] Приписано Архипповым на полях письма. «Эпиграмма в терцинах» («Есть на Большой Никитской некий дом...») из т. н. вермелевского цикла О. Э. Мандельштама.

[85] Помета Усова: Получено 17 окт. 1931.

[86] Веры Меркурьевой.

[87] Садовском.

[88] Венок Д. С. Усова «Любимые поэты» (1921), «Императорский венок» (1922) Б. А. Садовского см. в его кн. «Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы» (Сост., подготовка текста, вступ. ст. и прим. С. В. Шумихина. СПб., 2001, с.125–133).

[89] Волошина Мария Степановна (1887–1976) – вторая жена М. А. Волошина. Ср. запись в дневнике Волошина от 7/VII. 1931 г.: «Вчера за работой вспомнил уговоры Маруси: «Давай повесимся». И невольно почувствовал всю правоту этого стремления. Претит только обстановка – декорум самоубийства. Смерть, исчезновение – не страшны. Но как это будет принято оставшимися и друзьями – эта мысль очень неприятна. Неприятны и прецеденты (Маяковский, Есенин). Лучше «расстреляться» по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. И довольно» (Волошин. Указ. соч. С.196).

[90] Корнилов Борис Петрович (1907–1938, репрессирован) – поэт.

[91] Т.е. Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949). «Вячеславом Великолепным» именовала его в стихах В. А. Меркурьева. Кочетков, общавшийся с ним 17-летним мальчиком, считал себя его учеником.

[92] Голлербах (1895–1942) – историк искусства, прозаик, поэт, библиофил, друг и первый биограф В. В. Розанова. Д. С. Усов и Е. Я. Архиппов общались с Э. Ф. Голлербахом летом 1928 во время отдыха в Царском Селе и позже переписывались. См.: Эрих Голлербах. Встречи и впечатления. СПб., 1998. С.358. Стихотворения Голлербаха были изданы значительно позже. Вероятно, до Архиппова в искаженном виде дошел слух о новом переиздании книги Голлербаха «Город муз» (1-е изд. 1927; 2-е изд. 1930, оба – Л.).

[93] Помета Усова: Получено 28 окт. 1931.

[94] Отец Е.Я. Архиппова.

[95] Воспоминания Льва Никулина «Записки спутника» печатались в журнале «Новый мир» (1931, №7–10). Фрагмент о Гумилеве: №8, с. 62-63.

[96] Уткин Иосиф Павлович (1903–1944) – поэт.

[97] Т. е. Вяч. Иванов.

[98] Таиах (Тайа) – египетская царица, жена фараона Аменхотепа III (ок. 1455–1419 до н.э.), слепок бюста которой воспевший ее в одноименном стихотворении М. А. Волошин привез из Берлинского королевского музея в свой Коктебельский дом. Архиппов упоминает о ней в своих воспоминаниях о Волошине (в кн.: Волошин М. «Жизнь – бесконечное познанье»; Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. Посвящения / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., краткая биохроника, комм. В. П. Купченко. М.: Педагогика-Пресс, 1995).

[99] Помета Усова: Получено 7 окт. 1931.

[100] Кап-Кой – старое осетинское название Владикавказа.

[101] Выделенное курсивом – вписанный Усовым текст Архиппова.

[102] Вертеп – кружок молодых поэтов (М. Слободской, Е. Редин, Л. Беридзе, приезжающий из Кисловодска А. Кочетков), собиравшихся вокруг В. А. Меркурьевой во Владикавказе в начале 1920-х гг.

[103] Пометка Усова: Получено 16 ноября 1931.

[104] Здесь и далее набранное курсивом – текст Архиппова – вписанный рукою Усова.

[105] Усов был знаком с Анастасией Цветаевой. На экземпляре ее книги «Дым, дым и дым» (М., 1916), подаренном Усову (хранится в книжных фондах Государственного литературного музея)

дарственная надпись: «Дмитрию Сергеевичу Усову – мою давнюю книгу, ото всей *внутренней* стороны которой давно отошла, но которую люблю как любят блудных сыновей. И которую – не советую любить. – В обмен на еще более древнего моего блудного сына – «Королевские размышления». /Анастасия Цветаева/ Москва, 1926». 10 августа 1926 Усов писал Архиппову из подмосковного санатория «Узкое»: «Ася Цветаева уехала незадолго до моего приезда. Я отчасти об этом сожалею, отчасти радуюсь (от неё не отвяжешься)». О М. И. Цветаевой Усов на основании ее ответов на анкету, посланную через Б. Л. Пастернака, написал статью в словаре «Писатели современной эпохи», изданном ГАХН в 1928 г.

[106] Соловьевых.

[107] Вышел только первый том словаря «Писатели современной эпохи» (М., 1928). Он был непохож на другие энциклопедические справочники послереволюционной эпохи почти полным отсутствием идеологического компонента. После опалы Троцкого стал библиографичесой редкостью, так как содержал статью о нем и изымался из библиотек. В перестройку был переиздан (М., 1991), а по сохранившимся материалам был издан Н. А. Богомоловым и второй том (М., 1995). Анкета Архиппова, написанная для словаря, хранится в РГАЛИ, но ни в 1-й, ни во 2-й тома не включена.

[108] Пометка Усова: Получено 31 октября 1931.

[109] Волнистая линия. Внизу страницы под такой же волнистой линией Архиппов поясняет:

Пал Танезруфт

и пал Роченсальм, –

пусть будет жить теперь Кунгахелла...

Танезруфт – гигантское мертвое плато в центре пустыни Сахары. На домашнем языке Архиппова и его друзей – символическое обозначение Новороссийска.

Роченсальм – см. выше, прим. 43.

Кунгахелла (Конунгахелла) – древний скандинавский город на территории Швеции, разрушенный в XII веке морскими пиратами. В сознании европейского читателя начала двадцатого века он был оживлен Сельмой Лагерлёф, написавшей сборник новелл «Герои Кунгахеллы». Все три названия фигурируют в рукописных книгах Архиппова как места их «издания».

[110] «Город муз» (1-е изд. 1927; 2-е изд. 1930, оба – Л.) – книга Э. Ф. Голлербаха о Царском Селе. Усов писал о нем Архиппову в 1927 г.: «Об Э. Ф. Голлербахе... Что ж о нем сказать? Он сын Царскосельского кондитера, окончил *Естественный* Факультет, потом дилетантски занялся искусствоведением и музейный делом. Очень «изъявляет» себя в плане библиофильском. Человек явно глупый и безвкусный (адрес его *телеграммы* Волошину: «*Феодосия. Коктебель. Мастеру стиха Волошину*»!). И всё же, всё же и его (ныне) можно предпочесть многому и многим...» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр. 78. Л. 141–142).

[111] Описка. Правильно: Надеждой. Бромлей Надежда Николаевна (1884–1966) –прозаик, драматург, поэтесса, актриса и режиссер. См. о ней статью Ю. М. Гельперина в кн.: РП. Т.1. С.329.

[112] Соловьева.

[113] Ч. Диккенс. Жизнь и приключения Мартина Чезльвита, его родных, друзей и врагов.

[114] Сестра Архиппова, Клавдия Яковлевна Сушилина.

[115] Пометка Усова: Получено 7 янв. 1932.

[116] Спасский Сергей Дмитриевич (1898 – 1956) – писатель. Его повесть «Парад осужденных» вышла в 1931 г. в Ленинграде. В 1940-м г. Усов писал из Ташкента А.В. Федорову: «Читали ли Вы в свое время повесть С. Спасского «Парад осужденных» (кажется, самая первая его повесть – до «Новогодней ночи» и др.)? Мне она при первом чтении показалась очень выразительной и стилистически насыщенной. Посмотрите её при случае!»

[117] Опираясь на воспоминания Е.Я. Архиппова о В.А. Меркурьевой, М.Л. Гаспаров писал: мать Мелания (Эмилия) Васильевна, урожденная Архиппова, – дочь крестьянки Воронежской губернии и солдата николаевских времен. Раннее детство – в Тифлисе, потом родители разошлись, мать поселилась во Владикавказе с пятерыми детьми<...> Мать – черный чепец, строгое, почти игуменское одеяние, прекрасный народный язык в сочетании с высоким стилем 1840-х; «с Верой, как и со всеми молодыми людьми, Эмилия Васильевна была наставнически строга и благостна» (Гаспаров М. Л. Указ. соч. С.8).

[118] Женская Ольгинская гимназия существовала во Владикавказе в 1863–1918 гг. Архиппов преподавал там до революции.

[119] Умершая сестра В. А. Меркурьевой.

[120] Гимназическая подруга В. А. Меркурьевой, адресат многих ее стихотворений. Вместе с С. В. Шервинским передала в 1961 г. сбереженный архив Меркурьевой в РГАЛИ.

[121] Помета Усова: Получено 21 янв. 1932.

[122] Усов Сергей Андреевич(1867–1931) – биолог, дядя и отчим Д.С. Усова.

[123] В воспоминаниях Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (М.,1930) целая глава посвящена известному зоологу и искусствоведу профессору московского университета Сергею Алексеевичу Усову (1827–1886) и его семье. Имя отца Д. С. Усова нам неизвестно, он носил отчество по отчиму Сергею Андреевичу Усову, происходившему «из купцов», поэтому родственные связи Д. С. Усова с семьей Сергея Алексеевича Усова не очевидны.

[124] Вагинов Константин Константинович (1899–1934) – поэт, прозаик. Речь идет о его книге стихотворений «Опыты соединения слов посредством ритма» (Л., 1931).

[125] А. Альвинг. Введение в стиховедение. (М., 1931).

[126] Речь идет о романах Ольги Дмитриевны Форш (1873–1961) «Сумасшедший корабль» («Звезда», 1930. № 2, 3, 4, 6, 12; отд. изд. – 1931) о жизни знаменитого «Дома искусств», приютившего петроградских литераторов в 1920-21 гг., и «Художник неизвестен». Усов писал Архиппову 26 января 1932: ««Сумасшедший корабль», о котором Вы писали, прочел в ряде №№ «Звезды». Вероятно, там многое очень точно и очень напоминает петербуржанам всё, что было действительно – но тогда ценность произведения, мне кажется, внелитературная. Просто вещь не складывается ни во что целое, а дробится и распадается на кубики с кусками *разных* картин. Форш просто «не очень замечательный» художник, хотя бытописание даже больше в её силах, чем что-либо» (ОР РНБ. Ф.207. Ед. хр. 94. Л.21-22).

[127] Как мы пишем. [Очерки технологии литературного мастерства]. Л., [1930].

[128] Из перечисленных стихотворений опубликовано «Из вихря, холода и света» – КОЧЕТКОВ-1985, с.33.

[129] Державин Владимир Васильевич (1906–1975) – поэт, переводчик.

[130] Предположительно, Булатов Иван Михайлович (1870-после 1933). См. о нем: А. Цветаева. Непонятная история о венецианском доже и художнике Иване Булатове // Юность, 1988, №1, с.34-36. Местонахождение портрета неизвестно.

[131] Помета Усова: Получено 30 янв. 1932.

[132] Брюллова-Владимирова Лидия Павловна (1886–1954?) – поэтесса, антропософ, дочь художника П.А. Брюллова, внучка архитектора А.П. Брюллова, внучатая племянница Карла Брюллова. Подруга Е. И. Васильевой. Была четыре раза арестована (в 1920, 1927, 1935, 1941). В последний раз была приговорена к 10-ти годам концлагерей. Освобождена 30 марта 1951 года. Умерла на поселении. Реабилитирована посмертно. Ее сын – поэт-обэриут Юрий Дмитриевич Владимиров (1908–1931).

[133] Эс-Хабиб-Вафа. Бунт. М.: ГИХЛ, 1931. Авторизированный перевод с индустани А. Кочеткова.

[134] Помета Усова: Получено 24 февр. 1932.

[135] Фирн – плотно слежавшийся многолетний снег, промежуточная стадия между снегом и льдом.

[136] Среди опубликованных произведений Кочеткова такого стихотворения нет. Письмо Усова о нем в настоящий момент неизвестно.

[137] Речь идет о воспоминаниях Волошина о Черубине де Габриак и о книге о Черубине, задуманной и осуществленной Архипповым (стихи ее, стихи, ей посвященные, воспоминания и статьи о ней).

[138] Помета Усова: Получено 15. III. 1932.

[139] Анкета Архиппова, на которую ответили М. А. Волошин, Вс. А. Рождественский, В. А. Меркурьева, А. С. Кочетков, А. В. Звенигородский и Д. С. Усов, хранится в РГАЛИ. Частично опубликована.

[140] Скобки – Архиппова. Поэмы «Деревья» опубликована: КОЧЕТКОВ-1985, с. 137–141.

[141] «Поэты поэту» (лат.).

[142] Помета Усова: Получено 2 апр. 1932.

[143] Цитата из стихотворения Меркурьевой «Стансы» (1918) (Тщета, с.42).

[144] В настоящий момент нам не известно.

[145] Горнунг Лев Владимирович (1902–1993) – поэт, переводчик, фотограф, мемуарист.

[146] Перечислены: Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978) - искусствовед, член-корреспондент АН СССР, поэт, переводчик; Соловьев Сергей Михайлович (1885–1942) – поэт и священник; Инбер Вера Михайловна (1890–1972) – поэт; Розанов Матвей Никанорович (1858–1936) – литературовед, академик АН СССР (1921).

[147] Франц Верфель (1890–1945) – австрийский писатель. Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938) – поэт, переводчик. Репрессирован в 1937. Роман Верфеля «Человек в зеркале» в переводе Зоргенфрея вышел в 1922 (М., Пб.).

[148] Гиппиус Василий Васильевич (1890–1942) – литературовед, поэт, переводчик. Его поэма «Волшебница» (1913) была опубликована в журнале акмеистов «Гиперборей».

[149] Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова; 1884–1934) – поэт. Роман в стихах Л. Столицы «Елена Деева» (1916) трижды был издан в Москве (дважды в 1916, затем в 1917) и переиздан в Берлине в 1923. Вероятно, Усов прочитал роман в последнем, берлинском издании. См. о ней: М. В. Акимова. Л. Я. Дворникова. «Дионисов чудный дар». Материалы для биографии Л. Н. Столицы // Лица. Биографический альманах. Вып.7. М., СПб. 1996. С.5-55.

[150] «Витрина» – стихотворение А. С. Кочеткова (не опубликовано).

[151] Помета Усова: Получено 10 апр. 1932.

[152] Усов так и не побывал в волошинском Коктебеле.

[153] Возможно, Усов цитировал стихотворение Ф.И. Тютчева «Напрасный труд – нет, их не вразумишь...».

[154] Архиппов – автор двух статей о Лаодамии: «Три аспекта античной Лаодамии», «Безвестная Лаодамия» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр. 18, 20). Последняя была опубликована в альманахе «Жатва» (кн. 6-7. М., 1915).

[155] Пометка Усова: Получено 14 апр. 1932.

[156] Стихотворение А. С. Кочеткова «Подковы счастья»: О чем, двуликая находка, / Ты так блаженно мне поешь, – / Как в бубен, радостно и четко / Свою вызванивая ложь? / Доныне преданный поверью, / Внемлю, и ясная дуга / Мне вожделенной мнится дверью / На юной страсти берега. / Но, утомясь дыханьем мирры / И счастье обернув в руках, / Я вижу легкий очерк лиры / В ее изогнутых боках... / Не потому ль ты мне и пела / О счастье выспреннюю ложь – /Так целомудренно и смело,/ Как ты влюбленным не поешь?

[157] Корнилов Борис. Все мои приятели: Стихотворения, 1930–1931. Л.; М.: ГИХЛ, 1931.

[158] Борис Александрович Садовской (1881–1952) – поэт, прозаик. Перечислены его книги: «Морозные узоры. Рассказы в стихах и прозе» (П.,1922), сборник исторических рассказов «Узор чугунный» (М., 1911); сборники статей «Русская Камена» (М., 1910) и «Ледоход» (П., 1916).

[159] Садовской говорил: «Мой путь от Фета к Филарету».

[160] Мельников-Печерский (наст. фам. Мельников) Павел Иванович (1818–1883) – прозаик, историк, упомянута его повесть «Старые годы» (1857).

[161] Пометка Усова: Получено 8 июля 1932 (на Влахернской).

[162] Б. А. Садовском.

[163] Книги С. А. Усова: Гистогенез маскулатуры у Bombyx mori (L). Особый способ образования маскулатуры в животном царстве. М., 1926. – НКЗ Московская центральная шелководная станция. Кабинет гистологии и эмбриологии. Труды. Под ред. проф. С. А. Усова. Т.1. Вып.4. Резюме на нем. яз.; Сравнительная эмбриология осевого скелета ... М., 1912. То же: Ученые записки Московского ун-та, отделение естественно-историч. Вып. 32; Московская центральная шелководная станция. Предварительные сообщения из текущих работ Станции. Т.2. Вып. 1-2. [М.], 1927.

[164] См. выше, прим. 62.

[165] Бенуа А.Н. Остроумова-Лебедева. М.-П., [1924].

[166] Кот Архипповых.

[167] Анреп Борис Васильевич (1883–1969) – поэт, художественный критик, художник-мозаичист. Альманах муз. Петроград, изд-во «Феллана», 1916. Там опубликована поэма Б. Анрепа «Человек».

[168] Шилейко Владимир Казимирович (1891–1930) – филолог-востоковед, поэт, переводчик, второй муж А. А. Ахматовой.

[169] Деревня в Дмитровском районе Московской области, где летом 1932 отдыхали Д. С. и А. Г. Усовы.

[170] Письмо нам неизвестно.

[171] Курсивом выделен текст, вписанный Усовым.

[172] Пометка Усова: Получено 10 мая 1932.

[173] Перечисленные произведения А. С. Кочеткова, кроме поэмы «Деревья», до сих пор не опубликованы.

[174] Бородаевский Валериан Валерианович (1874–1875) – поэт. См. о нем: Ю. М. Гельперин. Бородаевский // Русские писатели. 1800–1917. Т.1. М., 1989. С.314-315.

[175] Брюсов В. Я. Земная ось. Рассказы и драматические сцены. Изд. 3. Обложка и семь рисунков Альберто Мартини. М.: Скорпион, 1911.

[176] О. Бердслей. Избранные рисунки. Предисл. и комм. А. А. Сидорова. М., 1917.

[177] В. В. Бородаевский. Стихотворения. Элегии, оды, идиллии. (СПб., 1909).

[178] Фотография шкафа хранится в архиве Архиппова (РГАЛИ).

[179] Тщета. С.445, 451 (стихи, посвященные Слободскому); С.464 (стихи, посвященные Юрченко).

[180] Садовского, жившего, как и Усов, в Новодевичьем монастыре.

[181] Пометка Усова: Получено 6.VI.32 (с Д.А. Тарноградским).

[182] Переплетенный в отдельную книжечку хранится в фонде Архиппова в РГАЛИ.

[183] Соловьев.

[184] Владикавказ в советское время (1931–1944, 1954–1990) назывался Орджоникидзе.

[185] Помета Усова: Получено 1 июня 1932.

[186] Речь идет о спектакле театра им. Вахтангова «Гамлет» (премьера состоялась 19 мая 1932).

[187] Неточная цитата из «Моцарта и Сальери» А.С. Пушкина.

[188] Пометка Усова: Получено 25 июля 1932 (на Влахернской).

[189] Курсивом выделен текст, вписанный Усовым. Подчеркнуто Архипповым. *«Обиды Расе»* – книга стихотворений Архиппова (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп.1. Ед. хр.8).

[190] Неизданные книга мемуарных очерков Архиппова «Лексистернии» и сборник его стихотворений, посвященных другим поэтам, «Баллада камня и покрова»: РГАЛИ. Ф.1458. Оп.1. Ед. хр. 38.

[191] Пометка Усова:

[*Мои заглавия*:

Вполголоса.	Крутой подъем.
Волшебн. фонарь.	Позднее утро.
Крест и стрелы.	Нездешние вечера.
Иволга.	Лето.
Вереск.	Ямбы.
Подорожник.	Морские камешки.]

[192] Архипповым, Усовым и Рождественским названы сборники следующих поэтов: И. Анненского («Тихие песни»), Е. Архиппова («Крест и стрелы», не опубликована), А. Ахматовой («Четки», «Подорожник»), Ю. Балтрушайтиса («Горная тропа»), А. Белого («Пепел»), А. Блока («Ночные часы», «Седое утро», «Ямбы»), Ш. Бодлера (*«Les Fleurs du Mal»* – *«Цветы зла»*), Н. Гумилева («Колчан»), М. Зенкевича («Дикая порфира»), Г. Иванова («Вереск»), М. Кузмина («Нездешние вечера»), А. Кусикова («Сумерки», название, восходящее к одноименному сборнику Е. А. Баратынского), О. Мандельштама («Tristia»), С. Парнок («Вполголоса»), А. Романовской и Д. Рема («Морские камешки»), Вс. Рождественского («Золотое веретено», «Лето», «Окно в сад», «Иволга»), Б. Садовского («Позднее утро»), И. Северянина («Громокипящий кубок»), П. Соловьевой («Иней»), В. Ходасевича («Тяжелая лира»), М. Цветаевой («Волшебный фонарь»), А. Чичерина («Крутой подъем»), Ж.-М. Эредиа (*«Les Trophées»* – *«Трофеи»*). «Венетийские прохлады» – в последующих письмах исправлено: «Винетийские прохлады» – название рукописного сборника, составленного Е. Я. Архипповым. Винета – легендарный затонувший город, не раз упоминаемый в средневековых документах и сагах и вплоть до 17 века фигурировавший на европейских географических картах. В самоназвании поэтического кружка вокруг В. А. Меркурьевой Винета сменила Вертеп.

[193] После разъяснений происхождения этого названия Усова Архиппов стал писать правильно: «Винета».

[194] Курсивом – вписанное Усовым.

[195] Пометка Усова: Получено 19 июля 1932 (на Влахернской).

[196] «Новый мир» в 1932 г. печатал стихи Мандельштама в 4 и 6 номерах.

[197] В настоящий момент опубликованы: «Переводчик» (Гаспаров М. Л. «Переводчик» Д. С. Усова: с русского на русский // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992, с. 434), «Зимний свет и чахл, и жуток» – Ново-Басманная, 19. М., 1990, с.81-82; оно имеет название «Ночь» и входит в триптих «Зимние стихи» (1929).

[198] Стихи Волошина о поэте, прозаике и переводчице Аделаиде Казимировне Герцык (Лубны-Герцык; в замужестве – Жуковской; 1874–1925) – «Аделаида Герцык» (1929): Волошин М. А. Собр. соч. Т.2. М., 2004. С. 89-90.

[199] «Таноб» – поэма Волошина в 7 главах, которую предполагалось включить в цикл «Путями Каина», однако место ее в этом цикле так и осталось не определено. См.: Максимилиан Волошин. Ук. соч., с.70-76.

[200] Вартминского.

[201] Стихотворение Парнок посвящено Волошину. См.: Sub rosa. Аделаида Герцык. София Парнок. Поликсена Соловьева. Черубина де Габриак. М., 1999, с. 393-394, 644.

[202] Помета Усова: Получено 31 июля 1932 (на Влахернской).

[203] Стихотворение Усова. Опубл. в кн.: Ново-Басманная, 19. М., 1990, с.78.

[204] Вписано: которое несет.

[205] См., например, в кн. Sub rosa.

[206] Брюллова-Владимирова.

[207] Неточная цитата из стихотворения В. Ходасевича «2-го ноября».

[208] Речь о письме Усова к Архиппову от 20.VI.1932.

[209] Курсив – вписанный фрагмент из письма Архиппова рукой Усова.

[210] Помета Усова: Получено 9 авг. 1932 (на Влахернской).

[211] Здесь, видимо, речь о кн.: Мандельштам О. Вторая книга. 1923.

[212] Возможно, имеется в виду Метерлинк.

[213] Курсивом – текст Архиппова, вписанный Усовым.

[214] Волошина Мария Степановна (1887–1976) – вторая жена М.А. Волошина.

[215] Помета Усова: Получено 28 авг. 1932 (на Влахернской).

[216] Евангелие от Луки; гл. 17, стих 16 или 7, 38.

[217] Кот Усовых.

[218] Курсивом – текст Архиппова, вписанный Усовым.

[219] Курсивом – текст А.В. Звенигородского, вписанный Усовым.

[220] Помета Усова: Получено 24 сент. 1932.

[221] Цитата из стихотворения Слободского, посвященного В. А. Меркурьевой. См.: Вера Меркурьева. «Умейте жить минуткой...» (подг. текста и комм. Т.Ф. Нешумовой) // http://www.utoronto.ca/tsq/24/merkurjeva24.shtml.

[222] Выделенное курсивом – вписано рукою Усова.

[223] Выделенное курсивом – вписано рукою Усова. *2-й Танезруфт*, т.е. пустыня.

[224] Помета Усова: Получено 7 окт. 1932.

[225] Выделенное курсивом – вписано рукою Усова.

[226] Разыскиваемое (лат.).

[227] Путеводитель «По Москве», выпущенный издательством Сабашниковых в 1917 г.

[228] Эта цифра, м.б., обозначает время суток. Правильная дата письма строчкой ниже.

[229] Выделенное курсивом – вписано рукою Усова.

[230] Архиппова Надежда Сергеевна – первая жена Е. Я. Архиппова.

[231] Помета Усова: Получено 15 окт. 1932.

[232] Книга стихотворений Б. Л. Пастернака.

[233] Помета Усова: Получено 25 октября 1932.

[234] Авторство этих стихов нам неизвестно.

[235] Кочетков.

[236] Неустановленные лица. О Рудневе см. в следующих письмах. Сомнительно, чтобы упомянутый в справочнике Л. В. Турчинского поэт Михаил Руднев, издавший в 1914–1915 гг. пять сборников в Орехово, и упоминаемый владикавказский поэт были одно и то же лицо.

[237] Выделенное курсивом – вписано рукою Усова.

[238] Пометка Усова: Получено 9 ноября 1932.

[239] Пешковский Александр Матвеевич (1878–1933) – языковед. Здесь речь, вероятно, о его книге «Учебная книга по грамматике для школ II ступени и рабфаков... Книга для учителя» (Ч.1-3. М.-Л., 1927).

[240] Неустановленное лицо.

[241] Автобиографии Архиппова. «Золотая маска» подготовлена нами к печати.

[242] Пометка Усова: Получено 17 ноября 1932.

[243] Вермель Юлий Матвеевич (1900?–1943?; по другим сведениям – р.1906; арестован в 1935(?), судьба неизвестна) – зоолог, ламаркист, работал в комакадемии и МГУ; двоюродный брат Усова по материнской линии. Ему адресованы шесть шуточных стихотворений О. Э. Мандельштама, условно называемых «Стихи к Вермелю». В соавторстве с будущим другом Мандельштама Б. С. Кузиным и Е. С. Смирновым, Вермель написал книгу «Очерки по теории эволюции» (М., «Красная новь», 1924), а позже издал монографию: «Эскизы о факторах, направляющих эволюцию» (Труды НИИ Зоологии. Т.4. Вып.3) (М., 1931; неверно указано имя автора: Юрий).

[244] Цитата из стихотворения Н.С. Гумилева «Отвечай мне, картонажный мастер...».

[245] Это сочинение Архиппова нам неизвестно.

[246] Гидаш Антал (1899–1980) – венгерский поэт. В 1934 вышла стихи Гидаша в переводах А. Кочетков и А. Ромма: «Венгрия ликует. Ева» (Л.).

[247] Книги Ахматовой, Гумилева, Блока.

[248] Рабинович.

[249] Пометка Усова: Получено 21 ноября 1932.

[250] Вартминскому.

[251] Роман М. А. Кузмина.

[252] В ответном письме Усова 11.09.1932 о Звенигородском уточнялось: «Он, кажется, очень и очень часто посещает О. Мандельштама и однажды встретился там с А. А. Ахматовой, о которой отзывается более чем сдержанно. В записной книжке (переплетенной в галстух Дмитрия Владимировича) он *заставил* (форменным образом!) ее записать ему ее стихотворение «Не бывать тебе в живых», и она нацарапала его карандашом, с явным нежеланием» (упомянутое стихотворение посвящено памяти расстрелянного Гумилева – с этим связано и «нежелание» записывать этот текст для неблизкого знакомого, каким был для нее А. В. Звенигородский. Дмитрий Владимирович – брат А. В. Звенигородского.

[253] Пометка Усова: Получено 2 дек. 1932.

[254] Анисимов Александр Иванович (1877–1937) – искусствовед, научный руководитель Комиссии Наркомпроса по сохранению и раскрытию памятников искусства и по реставрации настенной живописи и древних икон. Был арестован в 1919, 1921. Возглавлял реставрацию икон и настенной живописи Феофана Грека, Андрея Рублева и др. Преподавал в Московском университете, во ВХУТЕМАСе, ГАХН. В 1930 г. был арестован по делу о «шпионаже и вредительстве через Центральные государственные реставрационные мастерские», осужден на 10 лет лагерей. Отбывал наказание на Соловках. В 1937 г. был переведен в Беломоро-Балтийский лагерь (лагпункт Кузема) и вскоре расстрелян. Волошин посвятил Анисимову стихотворение «Владимирская Богоматерь» (26 мая 1929).

[255] Т. е. библиотеки при женской Ольгинской гимназии во Владикавказе, где до революции преподавал Архиппов.

[256] Браун Николай Леопольдович (1902–1975) – поэт.

[257] Горнунг Лев Владимирович (1902–1993) – поэт, переводчик, фотограф, мемуарист. Значительная часть стихотворений Горнунга издана: Горнунг, Лев. Упавшие зерна; Горнунг, Анастасия. Бегущие ландыши. М.: BALTRUS, 2004. Однако цитируемые в письме стихи в это издание не вошли.

[258] Выделенное курсивом – вписано рукою Усова.

[259] Письмо написано зелеными чернилами. Пометка Усова: Получено 17 дек. 1932.

[260] Скобки – Архиппова.

[261] Соловьева.

[262] Ср. стихотворение Меркурьевой: «Своей вы меня считаете? / Простой, как вода и соль? / Не знаете вы, не знаете, / Какого я чина голь. // Приветливою, улыбчивой – / Я по милу хороша? / А нет заразы прилипчивей, / Чем эта моя душа. // Заботливою раделицей / Вы чаете меня – да? // А я рождена Метелицей, / Погибелью повита. // Любовью неописуемой / Дарю я на малый

час – / И до неба вознесу я вас, / Чтоб о землю грянуть вас. // О, тварь моя земнородная, / Подательницею благ / Не чтите меня – свободна я / От благости и от зла. / 17.VIII.1931» (Тщета, с.286; в книге не отмечено, что стихотворение имеет посвящение – «Е.» – т. е. Е. Я. Архиппову).

[263] Масанов Иван Филиппович – (1874–1945) – российский библиограф. Его письмо к Архиппову связано было с собиранием материалов для основного труда Масанова: «Словаря псевдонимов писателей, ученых, общественных деятелей...».

[264] Письмо написано зелеными чернилами. Пометка Усова: Получено 29 дек. 1932.

[265] Венок сонетов Усова «Любимые поэты» (1921) – см. в статье: Нешумова Т. Ф. Дмитрий Усов в начале 1920-х годов (по письмам к М.А. Зенкевичу) // Ежегодник ОР ИРЛИ (в печати).

[266] Книга стихотворений И. Ф. Анненского.

[267] Цитата из стихотворения Архиппова «Во мне тоскует кровь святого Себастиана...» – см. на сайте «Поэзия Московского университета»: www.poesis.ru/poeti-poezia/arhippov/verses.htm.

[268] Пометка Усова: Получено 30 янв. 1933.

[269] Верховский Юрий Никандрович (1878–1956) – поэт, переводчик, историк литературы. Его стихи недавно изданы: Верховский Ю. Н. Струны. М.: Водолей Publishers, 2008.

[270] Ю. М. – возможно, Вермель.

[271] Стихотворения М. А. Волошина.

[272] Роман А. Белого «Маски» (М.; Л.: ГИХЛ, 1932.). См. о нем: Иоанна Делекторская. «Маски» и маски Андрея Белого // http://www.utoronto.ca/tsq/22/delektorskaya22.shtml.

[273] Весь абзац – о В. А.Меркурьевой.

[274] 23 ноября 1932 г., стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...».

[275] Принятая датировка этого стихотворения – Май – 4 июня 1931 г.

[276] См. прим. 173.

[277] Пометка Усова: Получено 22 февр. 1933.

[278] Рукою Усова – курсив.

[279] Пометка Усова: Получено 8 марта 1933.

[280] Книга стихотворений Вс. Рождественского (Л., 1933).

[281] Гиляровский Вл. Москва и москвичи. Издание Всероссийского союза поэтов. 1926.

[282] Павлов Иван Николаевич (1872–1951) – гравер, народный художник СССР. У А.Г. Усовой был экслибрис работы Павлова, изображающий ее вместе с сестрой в образе «тургеневских» девушек.

[283] Попов.

[284] Скобки поставлены Архипповым.

[285] Волошину.

[286] Предположительное чтение: эта строка совершенно размыта.

[287] Садовской.

[288] Отделе народного образования.

[289] Пометка Усова: Получено 16.III.1933.

[290] Пометка Усова: Получено 1 апреля 1933.

[291] Государственный сельскохозяйственный институт.

[292] Безумие (др. греч.).

[293] Речь идет о страшном голоде на Северном Кавказе (и Украине) 1933 г.

[294] Пометка Усова: Получено 7 мая 1933.

[295] Ср. строки Меркурьевой из стихотворения 6.XII. 1931 г.: «Тонкий бумаги лист, чуть-чуть керосину, / щепка сухая, горсточка темных углей – / как мало надо, чтоб не совсем застынуть / на олютелой, глухой, как мороз, земле» (Тщета, с.292).

[296] Вартминским.

[297] См.: КОЧЕТКОВ-1985. С.32.

[298] См.: Тщета. С. 358. Стихотворение датируется 3 апреля 1933.

[299] Голода (др. греч.).

[300] Пометка Усова: Получено 13 июня 1933.

[301] Цитаты из стихотворений Меркурьевой «Стансы» и «Хлеба нет – зато жасмин цветет...» (Тщета, с. 41, 300).

[302] Этого стихотворения нет среди опубликованных текстов Меркурьевой.

[303] В «Тщете» (с. 328) стихотворение называется «Разлука» («Тихо в доме...»)

[304] «Классическая» «Ленора» - баллада немецкого поэта Бюргера (1774), но здесь, вероятно, речь идет о неизвестном нам произведении или переводе Кочеткова.

[305] Книги с таким названием не было издано в СССР. О чем идет речь нам выяснить не удалось.

[306] Гиляровский В.А. Москва и москвичи. Воспоминания. М., Всерос. союз поэтов. 1926.

[307] Шенгели Георгий (1894–1956) – поэт, переводчик, стиховед. Речь о кн.: Гейне Г. Избранные стихотворения. Пер. Г. Шенгели. [М., 1924].

[308] Тынянов Ю.Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.

[309] Саади. Гулистан. Избранные рассказы. Пер. Е. Бертельса. Гиз, Берлин, 1922.

[310] Помета Усова: Получено 1 июля 1933.

[311] См. о них, например, в книге: Лариса Агеева. Неразгаданная Черубина. М., 2006.

[312] Краткая инструкция по сбору животных и растительных организмов в горных реках Сев. Кавказа. Сост. проф. Д. Тарноградский. Орджоникидзе, 1933.

[313] «Золотая ветвь» – стихотворение Черубины.

[314] В РГАЛИ. (Ф.1458. Оп.1. Ед. хр. 2) – в рукописной книге Архиппова содержится оглавление составленного им рукописного сборника «Петрокеравия», Коктебель, 1931 (включающий произведения М. Цветаевой, Вл. Ходасевича, С. Парнок, М. Волошина, Ю. Верховского, А. Сидорова и С. Шервинского) – с указанием «Собственность Д. А. Тарноградского» (Л.66). Там же (Л.72 об.) – запись о подаренной книге ««Коктебельская элегия» (в голубой обложке). Миниатюрное издание. 1932. Собств. Д.А.Т.». Там же (Л.75) – запись о подаренной Д. А. Тарноградскому книге «Избранные стихотворения Веры Меркурьевой. Выбор Дм. Щербинского. Вступление Е. Архиппова. Посвящение Меркурьевой Вяч. Иванова. Роченсальм. 1933. Июль. Темная квадратная книжка с желтой [1 слово нрзб.] наклейкой». Там же (Л.79) – запись о 2-м томе (с оглавлением) избранного Веры Меркурьевой, принадлежащем Д.А. Тарноградскому. Там же (Л.83) – «Надпись на книге Черубины де Габриак. Собрание стихотворений. Каллиэра. 1928: С большой радостью отпускаю в книгохранилище блистательной библиотеки моего Прекрасного Друга Д. А. Тарноградского эту страдальческую книгу Черубины, погребенную, как и она, «в степях чужбины». Роченсальм. 1933. 23.VII». Там же (Л.96) – «Д. Усов. Избранные стихотворения. Выбор Евгения Архиппова. Вступление Всеволода Рождественского. (15.II. 1928 г.). Роченсальм. 1934. Собственность Д. А. Т. Содержание: Петербург: 1. Город, многажды воспетый».

[315] Соловьеве.

[316] Щуцкий Юлиан Константинович (1897–1938) – востоковед, синолог, переводчик. Близкий друг Черубины. См. о нем в выше упомянутой книге Ларисы Агеевой.

[317] Бёме Антонина Павловна (1877?–1940-е?) – гимназическая подруга Меркурьевой, адресат нескольких ее стихотворений.

[318] Барда – отход производства этилового спирта. Благодаря содержанию клетчатки, углеводов, белка и микроэлементов, является вторичным сырьевым ресурсом, может служить сырьём для производства корма для животных Ср.: Николай II издал указ «О приготовлении хлеба из барды и соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного ржаного хлеба».

[319] Получено по возвращении из Уфы 12.VIII.1933.

[320] Не ясно, о чем (о ком) речь.

[321] Сонет В.А. Меркурьевой, посвященный Д.С. Усову: Кто, не чуждаясь беззаконной смеси / Трагических и комедийных сцен, / Укрыт за толщей монастырских стен / От буйства многолюдной, шумной веси, // Расина том берет наперевес – и / Уходит в сад, где медом дышит тлен, / И там сдается в лепестковый плен / Девице-в-зелени и барской спеси. // А возвращаясь к полноте кошниц – / Пушистых лар домашние пометки – / Находит вязь изысканных страниц // И – лучшее из лучших – дремь ресниц / И выгиб стана, сквозь атласной сетки, / Живой и теплой, смуглой Танагретэтки» (Тщета. С. 472). Он отвечал четверостишием: Если б не курево, / Было бы слаще / С Верой Меркурьевой / Видеться чаще.

[322] Усов перевел трагедию Расина «Атала» (Расин «Избранные трагедии», т.2., «Academia», М.-Л., 1937).

[323] В. В. Державина.

[324] Рабинович.

[325] Э. Ф. Голлербах был арестован («санаторий») по обвинению во вредительской деятельности («Дело Иванова-Разумника»), но после заключения оправдан.

[326] Кривича.

[327] Цитата из стихотворения В. Инбер «Жил да был на свете еж...».

[328] Не осуществившийся план.

[329] Ярхо Борис Исаакович (1889–1942) – литературовед, переводчик.

[330] Премьера спектакля по «Униженным и оскорбленным» Ф. М. Достоевского (режиссеры И. Н. Берсенев, С. Г. Бирман, Нелли – С. В. Гиацинтова) состоялась во 2-м МХАТ в 1932. Интерес Архиппова к спектаклям МХАТ не случаен: в студенчестве он служил там статистом.

[331] Помета Усова: Получено 27.IX. 1933.

[332] Помета Усова: Получено 15.X.1933.

[333] Вероятно, составленная Архипповым антология, перекликающаяся с замыслом Усова, писавшего Архиппову в 1923 г.: «Князя А. Звенигородского я отношу к числу немногих русских «проклятых поэтов», придавая этому яркому, но не достаточно определенному верлэновскому термину следующее значение: 1. глубина и трагизм творчества. 2. известная немощность в литературном проявлении. 3. пребывание данного автора в изысканном кругу «поэтов для немногих».

Для России я подвожу под эту рубрику: К. Случевского, Инн. Анненского, Черубину де Габриак, кн. А. Звенигородского, гр. В. Комаровского (Incitatus), И. Эренбурга, Лозину-Лозинского и Арс. Альвинга».

[334] «Баллада камня и покрова» (1927) и «Крест и стрелы» (1924) – поэтические книги Е. Я. Архиппова, хранятся в РГАЛИ. Содержание книги «Фернампикс» нам неизвестно.

[335] Опубликовано в кн.: Мандельштам О. Собр. соч. в 4 тт. Т.4. М., 1997. С. 203-204. Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – прозаик, поэт, публицист, мемуарист, литературовед.

[336] Тщета. С.469.

[337] Тщета. С. 470-471.

[338] Помета Усова: Получено 26 окт. 1933.

[339] Вероятно, речь идет о стихотворении Вс. Рождественского о могилах названных писателей.

[340] Помета Усова: Получено 20 дек. 1933.

[341] В оригинале описка: в М.

[342] Выделенное курсивом – дописано на полях.

[343] Е.Я. Рабинович.

[344] В оригинале: «?»

[345] Рукою Усова: Получено 28 декабря 1933.

[346] Рождественский Вс. Земное сердце. Книга лирики. 1929–1932. Л., 1933.

[347] Вероятно, жена Д.А. Тарноградского.

[348] Кочетковым.

[349] Об отношениях Меркурьевой и Ахматовой см.: Гаспаров М.Л. Вера Меркурьева (1876–1943) Стихи и жизнь// Лица. Биографический альманах. Вып.5. М. – СПб. 1994.

[350] Голлербаха.

[351] Кривича.

[352] Яхонтов Владимир Николаевич (1899–1945) – артист, чтец-декламатор.

[353] Закушняк Александр Яковлевич (1879–1930) – артист, чтец-декламатор.

[354] Пьеса Н.С. Гумилева.

Олег РОГОВ

Книга стихов о чеченской войне

Адольф Дихтярь. Чеченский дневник. Стихи о войне, которой не было. – М.: Хороший старт, 2008.

Адольф Дихтярь (1933-2008) закончил Саратовский государственный университет, работал в областной периодике, в 1961-1965 годах выпускал в Казахстане газету «Молодой целинник». В середине 60-х появляются его первые книги: сборник стихов «Истина», книга очерков «Там, где течет Терсакан» и документальные новеллы «Вся земля на ладони». Потом была работа, связанная с радио – на радиостанции «Юность», в журнале «Кругозор», редакции массовых звуковых изданий. В 80-е Дихтярь работает в научно-популярном журнале Академии Наук «Энергия». Среди его произведений книги о целине (с характерными названиями: «Рагузовская сопка. Повесть о целинном прорабе», «Степь любит мужество. Повести о делах и людях партии») и космонавтах (документальные книги «Жизнь – прекрасное мгновенье» и «Прежде, чем прозвучало “Поехали!”»).

«Чеченский дневник» – второй сборник стихов, отстоит от первого на сорок с лишним лет. Как по тематике, так и по стилистике.

Вот как писалось в 1965 году:

Вновь
Смерть грозит кому-то,
Но смерти вопреки
Сквозь смерть
Идут в коммуну
Латышские стрелки.
Звучит над снегом талым,
Над черною рекой:
«С интернационалом
Воспрянет род людской!»

А вот так в «Чеченском дневнике»:

Река.
Под ветром волны зыблются
И лижут звезды,
Как цукаты.

Костер.
Вокруг костра
Разведчики.
В котле уха из разнорыбицы.

В эфир шифровки шлют цикады,
Принявшее ислам кузнечики.

(«Ночной пейзаж»)

На дороге,
Среди камней,
Наполненная взрывчаткой коробка.
А на ней
божья коровка.

(«Чеченская танка»)

Николай Винник в 2001 составил неожиданный сборник «Время «Ч». Стихи о Чечне и не только», в которую вошли строки ста с лишним поэтов, от Семена Липкина до Дмитрия Кузьмина. Жаль, что туда не вошли стихи из этой книги. Адольф Дихтярь нашел верный и неожиданный ход, дающий доступ к прямому высказыванию – почти невозможному в наши дни без риторики, к которой современная лирика не без оснований относится все более подозрительно.

Поэт как бы передоверяет персонажам (солдат, старлей, прикомандированный милиционер) речь, стилистика которой может быть сколь угодно предсказуемой, столь же ожидаема и узнаваемая интонация «военной лирики» (Гумилев, Светлов и многие другие).

От этой отметки Дихтярь выстраивает текст, который уводит нас в самых разных направлениях. Тематическая «военная» интонация использует очень широкую лирическую клавиатуру – от кавказских стихов классиков

поэзии XIX века вплоть до изощренного опрощения в духе военных хореев Твардовского или фольклорных, песенных мотивов.

В таком контексте возможны и риторические имперские заклинания, и использование известных устойчивых форм:

Пять бравых новобранцев
В окрестностях Шали,
Пять храбрых голодранцев
На банду набрели.
Пять бравых новобранцев
Полезли на рожон.
Один из голодранцев
был пулею сражен.

<...>

А пятый новобранец?
Когда легли снега,
Сметливый голодранец
Ударился в бега.
Где пятый новобранец?
Удрал под Рождество.
Теперь он казахстанец.
Ищи-свищи его.

На фоне неизбежной цитации и соответствующих эпиграфов (Лермонтов, Полежаев, Бестужев-Марлинский), Дихтярь использует крепко сбитые схемы классических образцов, стыкуя их с современным контекстом.

Вершины конус кособокий
В двурогой стереотрубе
Белеет.
Парюсь одинокий
В своем заношенном хабэ.

(«Рассказ корректировщика»)

«Горные вершины
Спят во тьме ночной...»
Дрожь стальной машины
чувствую спиной.

«Не пылит дорога,
Не дрожат листы...»
Свесишься с отрога,
и
каюк-кранты!

«Тихие долины
Полны свежей мглой...»
А вверху
пчелиный
звезд бессонных рой.

Слышу голос Бога
с горней высоты:
«Подожди немного,
Отдохнешь и ты...»

Обратите внимание на сугубо фактурное отстранение от лермонтовского хрестоматийного текста, только за счет прописных букв в начале строк.

Потрясающая формальная изощренность надежно дистанцирует автора от слияния с лирическими героями («все это Колькин кореш // мне рассказал вчера»). Это «они» могут рифмовать «деды/победы», а другое стихотворение может быть построено, например, целиком на точных омонимических рифмах или «дорифмовывать» газетные строки.в духе конкретной поэзии.

Книга издана традиционно малым для поэтических изданий тиражом и сделана с любовью и тщанием. Рисунок бумаги напоминает потертые или даже обгоревшие листы, и рука во время чтения то и дело пытается стряхнуть «пылинку».

Надеемся, что в архиве Дихтяря остались другие поэтические тексты, которые ждут публикации.

Сергей ТРУНЕВ

О провинции без провинции

Провинция: теоретический альманах «Res Cogitans №5». – М.: ИД «Книжное обозрение», 2009. – 118 с.

Как известно, прежде чем исследовать что-либо как объект, необходимо от него отстраниться. Применительно к такому объекту исследования, как провинция, последнее означает выйти за пределы пространственных границ провинции, переместившись либо в

столицу, либо в провинцию любой иной страны (которая отчего-то провинцией у нас не называется, а именуется, скажем, «небольшим уютным городком на юге Италии»). Соответственно, не покидая границ провинции, по отношению к ней возможно лишь включенное наблюдение, т. е. нечто наподобие того, как мы утром рассматриваем собственное отражение в зеркале. На этом, в общем, можно было бы и закончить, ибо: 1) если мы говорим о провинции из столицы, мы говорим о чем-то ином; 2) если мы повествуем о провинции из провинции, то спектр наших оценок с необходимостью будет располагаться между двумя противоположными полюсами – негативным и позитивным. Основная масса текстов нового «Res Cogitans» вполне соответствует второму пункту, помимо нескольких, вообще не укладывающихся в заявленную тему и называемых главным редактором альманаха «околопровинциальными».

Как уже было сказано, собственное отражение в зеркале может либо нравиться, либо, соответственно, наоборот. Тем не менее, вне зависимости от колебаний оценки, в центре рассуждения будет находиться именно *наше* лицо. Именно поэтому большая часть текстов повествует совсем не о провинции, но об индивидуальном авторском ощущении собственного провинциального бытия. Отважусь заметить, что некоторые из опубликованных текстов и ценны только тем, что несут в себе неистребимый налет чистой провинциальной исповедальности. Впрочем, постараюсь в равной мере охватить все содержание.

С течением времени альманах обрел-таки свое неповторимое лицо, как по форме, так и по содержанию. По форме это скромная, но полноцветная обложка, вполне приличная полиграфия и верстка без изысков; по содержанию – это, разумеется, лицо Михаила Богатова. Точнее, его тексты, коих в альманахе насчитывается как минимум три. Цифра, вроде бы, не великая, если не учитывать общее число оставшихся авторов (семь), что неподписанное предисловие «от редакции» имеет все характеристики богатовского стиля, а также то, что последний текст представляет собой стенограмму обсуждения текста Михаила Богатова.

В предисловии редакция (состав которой, повторяю, не прописан) скупо представляет авторов и самозабвенно бичует провинциальную философию, впрочем, довольно точно определяя ее специфику, ибо здесь «оригинальностью называется банальное незнание, а актуальностью – несущественность исследования, которую никто таковой не признает, поскольку тогда необходимо было бы признать несущественной саму жизнь исследователя» (5).

Далее В. Афанасьева в тексте «Философия в провинции: место или качество» мягко отделяет философию от провинциальной философии, от суррогата, производимого бесталанными недоумками, коих, как известно, и в столицах немерено.

Так и не отделившись до конца от провинциальной саратовской философии, мы попадаем в провинцию М. Гуреева, который, начав с Д. С. Мережковского, заканчивает С П. Гуриным, а начав с констатации одичания, аморализма и атеизма поселков городского типа, заканчивает тем, что: «Именно в провинции человек может найти смирение и, следовательно, умиротворение» (27). Добавлю то ли собственное, то ли подмеченное кем-то более умным: в столицах живут, в провинцию приезжают умирать...

В бодрых провинциальных мечтах Е. Тюгашева грезится философский аналог васюкинской шахсекции. Цитирую: «Чтобы философский центр приобрел статус философской столицы, достаточно возродить в нем традицию “философского пира”. Методику организации подобных пиров следует обсуждать отдельно (*от кого и с кем?* – ***С.Т.***)» (32). А заканчивается все банальным тезисом о необходимости сближения философов и политиков, т. е. историческим оправданием близости нынешних философов к нынешним политикам с указанием конкретных имен и фамилий.

Следующий затем текст М. Богатова на корню уничтожает шахсекцию как воплощенное предательство дела философии. В целом я, как обычно, ничего не понял, однако удивительным образом приглянулось одно артикулированное автором наблюдение: «Нельзя, обратившись к существу дела философии, обойтись с ним как-то внешним образом, самому при том оставшись неизменным; здесь все обстоит наоборот: существо дела философии изменяет существо того, кто им занят [...]» (51). Столь

же категорично «нельзя» (*опять-таки, кому?*) относиться к философии как к чему-то подручному, использовать ее в качестве средства реализации иных, практических интересов. На самом деле говорить подобным образом – значит стараться удалить из философии самого ее носителя, т. е. человека со всеми его дурацкими человеческими потребностями и привязанностями, значит оставить в качестве единственного носителя философии лишь философа, т. е. существо (иного слова не подберу) никчемное, болезненное, отрешенное, бесполое, неуместное, но целиком и без остатка слившееся с существом философского дела. Я готов согласиться с тем, что это красиво, но я не готов расстаться с женой и детьми ради того, чтобы до конца своих дней навязывать чужим людям идеи, которые им совершенно чужды, и даже порой вредны. И никаких надежд на посмертный памятник в байронической позе...

Эссе Ф. Ткача «Универность» подкупает как искренностью размышлений, так и тривиальностью результата. Оказывается, надо просто быть собой и хранить в себе то, что когда-то вложили в тебя люди, которых ты считаешь своими учителями. В надежде, что когда-нибудь это кому-нибудь пригодится... Не знаю, почему, но здесь мне почудилась некая мудрая конфуцианская позиция: всю жизнь идти по пути Дао и лишь слегка надеяться на то, что Воля Неба рано или поздно заметит твои выдающиеся добродетели (*сам Конфуций, правда, в конечном счете разочаровался в Воле Неба*).

Далее мы перемещаемся в Шварцвальд, ибо никто, пожалуй, не напишет о бытии философа в провинции лучше М. Хайдеггера, резюмировать идеи которого можно следующим образом: философ остается верным провинции, поскольку крестьянский быт позволяет ему постоянно пребывать в уединении. В этом, собственно, и состоит глубочайшее отличие М. Хайдеггера от сугубо «городских» философов (*столичных или провинциальных – не имеет значения*): в укорененном и уединенном самостоянии на земле, диаметрально противоположном бегу наперегонки по залитой асфальтом поверхности. Навстречу столицам, пирам, элитарным тусовкам...

Следующие два текста, как уже было сказано, касаются темы провинции лишь отчасти. Так, А. Синицын на примере кинофильма Л. Бобровой «Бабуся» исследует феномен народного кино, т. е. кино, повествующего о судьбе «маленького человека» в пространстве «малого» города или деревни. Скажу честно: кинофильма Л. Бобровой я не видел, однако, если доверять оценке А. Синицына, «Бабуся» несет в себе не только глубокий смысл, но и отчетливый гуманистический пафос. Исследование А. Рясова посвящено, в свою очередь, анализу творчества Ф. Кафки, а также возможностям его сценической интерпретации. С текстом А. Синицына его роднит констатация неуместности главных героев Ф. Кафки и безразличия окружающих их людей. Данный мотив, собственно, на поверку оказывается сквозным мотивом всего альманаха...

Замыкают новый «Res Cogitans» доклады М. Богатова, в которых автор последовательно отделяет искусство от эстетики, а также искусство от искусства, т. е. от некоего лжеискусства, родственного бартовской идеологии, если я правильно понял. Впрочем, в отсутствии примеров хрупкие конструкции автора повисают в воздухе, вследствие чего следующее за ними обсуждение также повисает в воздухе, а затем стенограмма подозрительным образом обрывается...

Василий ЧЕПЕЛЕВ

Мужчины не плачут

Андрей Ильенков. Еще о женьщинах. Рассказы. – Санкт-Петербург: «Геликон Плюс», 2008. – 220 с.

Есть люди, которых очень жалко. Некоторым из них даже очень хочется немедленно помочь. Встречаются обстоятельства, попавших в которые людей – жалко всех, но помочь никому невозможно, пусть и хочется со страшной силой. А бывает категорически наоборот: человеку вроде плохо, и обстоятельства его жизни вполне ужасны, а пожалеть не получается. И помочь не хочется, потому что очевидно, что только зря потратишь время, или того хуже – потому что их сложности тебя никак не трогают. Как ни старайся, как ни крути, – но

тебе наплевать, неинтересно, неважно.

К героям литературных произведений, в особенности – произведений талантливых – выше сказанное относится в той же степени. В последнее время при чтении современной отечественной прозы все чаще приходится сталкиваться с ощущением, что абсолютно тебе непонятно, зачем ты читаешь: герой тебе неинтересен ну вообще, не жалко тебе его, что с ним произойдет – тебе неважно. При том, что не всегда сегодня авторы заботятся о занимательности сюжета, зачастую для читателя остается единственная мотивация для чтения – некая радость от языка, от интриги не событийной, а завязанной на внутреннюю логику текста, что ли. Ну и привитое долгими последними годами умение получать удовольствие от узнавания и разгадывания интертекстуальных загадок и связей. И наличие этого всего в прозаическом тексте – на самом деле вполне себе не мало.

Рецензируемая сегодня книга рассказов известного екатеринбургского писателя, вошедшая в лонг-лист «Национального бестселлера»-2008 именно такова. Читая большую часть книги, отчетливо понимаешь – очень далеки от тебя ее персонажи и их проблемы. Понимаешь, что герои – и главные, которых автор, в значительной степени сформировавшийся в Свердловске во времена расцвета «курицынского постмодернизма», ехидно называет «лирическим героем», и второстепенные, которые зачастую ненадолго внезапно становятся поярче главных, и повествователь, «голос за кадром», который есть почти всегда, – они из какого-то другого, нездешнего, нетеперешнего мира. Что обстоятельства, все эти любовно гиперболизированные общежития, безденежье, алкоголизм, аборты двадцати-десяти летней давности – давно утратили актуальность. Что борьба автора с сюжетом в какой-то момент и вовсе начинает раздражать: лишь только в рассказе складывается мало-мальски интригующая ситуация, лишь только становится интересно, что же будет дальше, как чуткий автор обрубает ее, срываясь – и очевидно, сознательно – в пространные рассуждения, сбиваясь на воспоминания и байки, уходя в глухое цитирование. И вообще очевидно, что в первой части книги автор делает все, чтобы поиздеваться над читателем – покажет ему завлекательное что-нибудь на минуточку, и тут же выбросит это завлекательное в какую-нибудь чавкающую грязь, чтобы читатель, не дай бог, не успел получить удовольствие и – кажется, это главное – доставить этим своим удовольствием удовольствие автору.

Поразительно при этом то, что читать все равно интересно! И удовольствие от умного текста, от своеобразия работы с вполне, казалось бы, – ан нет, доказывает Ильенков – освоенными Венедиктом Ерофеевым, Дмитрием Горчевым, Митьками, Анашевичем и др. пластами языка все равно, как бы автор ни старался читателю в этом помешать, получаешь неожиданно сильное. И ностальгическую оптику, миросозерцание это из девяностых, узнаешь внезапно от и до. Да так, что становится сладко-стыдно от этого узнавания и от возникающих воспоминаний, как сладко-стыдно бывает от разглядывания пыльных детско-юношеских фотографий и от встреч выпускников. Да, я сказал абзацем выше, что обстоятельства не увлекают. Однако наблюдается странный эффект: обстоятельства чужие, не трогают, не увлекают. Но стыдно становится тебе, читающему здесь и сейчас. Стыдно по-настоящему.

Андрей Ильенков, напомню, стал известен в начале 2000-х, сначала стихами, которые, будучи при всем безусловно виртуозными стихами филолога, настолько путали многих неожиданным сочетанием брутальности на разрыв тельняшки с герметичностью, что были опубликованы и в «Вавилоне», и в «Нашем современнике». Можно также добавить, что стихи Ильенкова той поры вполне можно назвать опередившими свое время и прошедшими за пределами тренда, который возник позднее и в который они вполне могли вписаться – я говорю о «новом эпосе». Чуть позднее читателю стала известна проза Ильенкова – в первую очередь, якобы «армейская», блистательная, ужасающая, остроумная и просто умная, мистическая, литературная, чернушная – ряд эпитетов можно продолжать. Героев той прозы, вышедшей с некоторой задержкой в 2007 году в издательстве «Зебра Е» книгой «Несгибаемая рота, или Сны полка», кстати говоря, было очень жалко. Страшно было за них и вообще. Поэтому выше описанная и вполне результативная работа автора с ощущениями читателя

в рецензируемых текстах очевидно воспринимается как сознательный переход к некоему новому этапу творчества и жизни.

При этом Ильенкову не очень-то везет с изданием книг. Выше я уже сказал, что армейская проза его была издана с изрядным опозданием. То же самое касается единственной на сей момент книги стихов. Рецензируемая же книга «Еще о женЬщинах» вышла хотя и, кажется, без особенных откладываний и задержек, однако в издательстве «Геликон плюс», что означает – вышла фактически без тиража, без традиционной дистрибуции, и на деле рядовому читателю доступна мало. Поэтому неизбежна, видимо, пара слов об основных текстах сборника.

Первый текст, «Палочка чудесной крови» – довольно объемен, на непристальный взгляд кажется важнейшим в книге и по жанру внезапно оказывается рождественской идиллией, чудесной историей любви, при том, что действие разворачивается в упомянутых выше общагах медицинского института. И с героями между основными событиями приключается, например, такое: «*Приходит домой, а жил на квартире у хозяйки (которая в финале и сошла с ума), положил голову в бельевую кастрюлю и поставил кипятить, чтобы, значит, разварить и отделить от костей ненужное ему мясо. Устал, перенервничал, прилег на диван и моментально уснул, а она, конечно, работала гардеробщицей в театре, а театр сгорел, тут она и приди...*» Второй рассказ, «Пепельница» – в свою очередь, нечаянный роман воспитания, если чуть-чуть утрировать. А говоря о прозе Ильенкова, по инерции, в след за автором, утрировать хочется. Главный герой этого рассказа, Петров его фамилия, – до предела незадачливый любитель ухаживать за, мы понимаем, женщинами. Который лишь сойдя с ума и получив официальное, со справкой, этому подтверждение, убедился, что все беды от этих самых женщин, вставил зубы, защитил докторскую и счастливо женился. Ну и так далее. Все рассказы – полны неожиданных поворотов не то что сюжета, а, как бы это сказать, внутреннего жизненного течения. Поэтому, несмотря ни на что, я остальные рассказы пересказывать и цитировать не буду, тем более, что по-идиотски получается пересказывать. Это книгу надо читать. Не зря Ильенков завершает рассказ «Пестрая ленточка, или Дворец беременных» цитатой из Максима Горького: «Тут пропущены детали, вот в чем дело... Детали – это иногда самое главное».

Разве что отдельно следует сказать о композиции сборника. Здесь тоже все не просто. Если разобраться, книг под обложкой по сути две... Первая книга – это пять длинных рассказов, занимающих 133 страницы из 220. Все сказанное в рецензии относится в большей степени к ним. Вторая часть – большой текст «Про женщин» – отдельная тема, сборник баек, анекдотов о женщинах, идущих подряд. Живя в Екатеринбурге, я не могу не знать, что Ильенков долгое время выступал с этим жанром – с байками и записками – в качестве колумниста в одной из популярных городских газет. Жанр этот сам по себе в последние десятилетия не то, что легитимизирован в русской литературе в качестве полноценного, он усилиями Довлатова, Линор Горалик и других стал любим и важен.

И умения Ильенкова-прозаика в байках проявляются ярко: сочный, смелый язык, острый взгляд и слух, чувство юмора и – по тому же Довлатову – чувство драмы – все это в них есть. Но задачи творческие автор в этих текстах – учитывая и сам формат, и историю их возникновения – вынужден решать абсолютно другие, отличные от текстов, расположенных в первой части книги. И как бы он ни обрывал байку на самом интересном месте, как бы ни сводил ее развязку к сознательно банальному решению в угоду авторскому эгоизму, вопреки себе он обращает в итоге внимание на читателя. Читатель ждет непредсказуемого развития событий, и вдруг, ни с того ни с сего, в байке получает его. А рассказчик забывает, что он вообще-то хотел читателя обмануть, разочаровать, что он хотел насолить ему, избавиться от него в первой части книги.

В результате книга распадается, как я уже говорил выше, на две неравнозначные части, друг с другом конфликтующие. Возможно, это просто редакторский просчет. Возможно, если бы байки поставить в начало книги, а рассказы – вслед за ними, было бы лучше. А еще лучше бы было – вообще их разделить на две книги.

И еще у меня один вопрос к издателю, ка-

сающийся аннотации к книге, которая в меньшей степени решает маркетинговые задачи по сравнению с названием, поэтому к названию я прискребаться не буду, хотя очень хочется. Итак, вопрос про аннотацию: да, я безусловно согласен, что книга Ильенкова, как и любое талантливое произведение искусства, вполне решает исследовательские задачи. Но вы уверены, что круг интересов этого исследования очерчен теми вопросами, которые вынесены на обложку: «Кто такие женщины? Что им нужно? К чему они призывают?» и так далее. Я – категорически не уверен. Уж больно часто женщины у Ильенкова существуют в качестве этаких второстепенных членов предложения, этаких обстоятельств, опять же, и дополнений.

Я думаю, что вопросы это исследование решает совсем другие. Смотрите первый абзац этой рецензии, только подставьте в нем к началу каждого предложения «Почему?».

Андрей ПЕРМЯКОВ

Что будет дальше?

бАб/ищи и глобальное потепление: сборник стихов / Послесловие Юрия Орлицкого, Данилы Давыдова, Владимира Герцика, Дмитрия Чернышева, Александра Макарова-Кроткова, Владимира Тучкова. – М.: Проект Абзац, 2009. – 68 с.

Четыре достаточно известных поэта: Юлия Скородумова, Дарья Суховей, Марина Хаген и Анна Голубкова в марте этого года презентовали литературную группу, кокетливо названную «Баб/Ищи» (впрочем, допускаются различные варианты написания).

Когда тексты четырех поэтов сопровождается шестью послесловиями, последние определенно становятся частью концепции. Однако с моей точки зрения роль этих послесловий осталась неясной. Совершенно поразительное явление: достойные авторы, явный интерес к сборнику как культурному феномену и почти абсолютный отказ от рассмотрения текстов.

Юрий Орлицкий начинает свою заметку так: «*Если рассматривать эту книгу не как сборник стихотворных произведений, а как некий человеческий документ...*» Интересно, отчего сборник стихотворных произведений следует рассматривать НЕ как сборник стихотворных произведений?

Вообще, авторы послесловий цитируют мало и неохотно. Относительное исключение – Данила Давыдов, но и он предпочитает говорить не об особенностях поэтики, а о мировоззрении: «*Мы имеем дело с поэзией подчеркнуто индивидуалистического субъекта – не женщины как лирически-страдательного существа... нет, именно просто существа, активно рефлектирующего над собственной невозможностью стать бездумной и счастливой частью внешнего мира*». Отлично. Только написав

Я, я, я – что за дикое слово
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Ходасевич разве не «рефлектировал над собственной невозможностью»? Осознание гендерной принадлежности или отказ от такого осознания тут не причем.

Послесловие Дмитрия Чернышева единственное, где позиция автора по отношению к материалу как-то определена. «*Создается впечатление, что мы стали свидетелями захватывающего эксперимента, пусть пока и не совсем удачного. Чтобы творить в изменившейся социокультурной ситуации, женщинам необходимы новые чисто языковые средства. Созданием такого* (какого??? – А.П.) *поэтического языка как раз и занимаются наши авторы*». Не имея чести принадлежать к прекрасной половине человечества, скажу, что новые *чисто* языковые средства весьма нужны и мужчинам-авторам тоже. Буквально через два предложения читаем: «*Да, пока мы видим только очередные* (после кого? кто стоял в этой очереди ранее? – А.П.) *попытки разрушения старого языка*». Все-таки: авторы разрушают старый язык или создают новый? Один язык или четыре (ну, допустим, два-три) разных? Нужно ли в условиях недостатка «языковых средств» создавать эти новые языки, или «средства» встраиваются в рамки языка существующего? Ответить на эти вопросы можно прочитав включенные в сборник стихи. Тем и займемся, благо стихи, как минимум, есть.

Книга открывается подборкой **Юлии Скородумовой**. Читал с интересом, отмечая что:

– в очередной раз понравилось
Моего первого мужа
можно было неплохо слушать.
Несколько хуже – смотреть.

Совсем никуда – танцевать,
зато иногда как петь!

– в очередной раз показалась лишней последняя строфа в «*Женщины любят китов...*»,

– снова пионерский значок перевел визуальный ряд в «*Дюймовочка живет у меня на пальце...*» из динамического в статический,

– снова оставил равнодушным «*Сокровенный Сократ*»,

– из не виденных ранее текстов почти восхитила «Саломея» – кабы не «*у них в глазах 1-с бухгалтерия*» (менеджеров среднего звена по мере анализа сборника придется еще вспомнить).

А вот дальше откровенно не случилось. Ни «Мужчина и женщина», ни «История милленниума», ни «Мистерия апокалипсо» не понравились. Причем Мистерия – первый текст Юлии, не понравившийся мне активно, до неприятия. Отложил книгу, перечитал через некоторое время – нет. Отношение осталось прежним. Но в целом подборка вполне достойная, другого от Скородумовой и не ожидал.

«Около восьми» **Дарьи Суховей** открываются довольно объемным, на разворот, авторским предисловием, где поэт объясняет концепцию своих текстов. Если верить этому предуведомлению, читать эти стихи рядовому ценителю поэзии должно быть страшновато. Но в действительности уровень непонятности не пугает человека, знакомого, скажем, со стихами авторов челябинско-кыштымского семинара Северная Зона. С тем, по какому принципу стихотворение относится к восьмистишьям, проблем тоже не возникает. Соблюдены и остальные пункты. Например,

видал страну, подернутую льдом
считал людей, ложащихся в тюрьму,
подвинулся умом –
все ни к чему.

безусловно, полувосьмистишье, а не что либо иное. Эти стихи Дарьи Суховей выполнены не из слов, а из селенита. Ни одного прегрешения противу вкуса, прекрасная обработка – видимые трещинки оказываются авторскими задумками – и ощущение холодной, полупрозрачной поверхности. Даже сложно выбрать «лучшее» стихотворение подборки. Разве что, самое типичное:

13 (ЛЕТ)
(по прочтении книжки про время и слово)
когда былые времена
страшат свои страшилки
я помню чьи-то имена
пусть помню по ошибке
еще считающей себя
по невскому в окне машинки

тогда вмещалось все-все
в шкатулке и стекляшке
где нет нельзя нехорошо
разбрасывать бумажки
и в зеркале сутулюсь я
я в клетчатой рубашке

Это хорошее стихотворение и, безусловно, вопреки числу строк, восьмистишье. И чего? Все-таки *искусство поэзии требует слов,* а не только селенита и владения методами его обработки.

Следом представлены тексты **Марины Хаген**. Контраст очень сильный. И он был бы еще сильнее, начнись ее подборка с «Истории болезни» – на мой вкус, главной поэтической удачи сборника. Объем рецензии не позволяет привести текст целиком, придется ограничиться его первой и двумя финальными строфами:

0.
папа, мы все каждый день умираем
и я, и ты, и твоя сестра
она не стала умирать быстрей
она стала умирать заметней
...
4.
отдам даром
крылышки ангела
крепление лентами
длина примерно 100-105 см,
сегодня вечером,
у метро Бауманская
нам не понадобились
5.
важно:
помнить о человеке когда его нет,
важно:
помнить о человеке когда он есть

Вообще, о стихах Марины Хаген (и в этом сборнике, и вообще) хочется сказать много хорошего. Тот самый случай, когда автор, осознавая цель, задает себе некие формальные ограничения и парадоксальным образом становится свободным.

Мои замечания к подборке тоже могут показаться парадоксальными. Собственно, замечание одно: некоторые короткие тексты я б еще сократил. Например, в

* * *

весна
потихоньку сползают с крыши
прозрачные щупальца осьминога
дотянутся ли до форточки
до весны

последние две строки несут формальную нагрузку, но поэтическую, кажется – нет.

И еще один текст хочется процитировать. На сей раз – без всяких пожеланий относительно его изменения. Просто он очень хорош:

* * *

мужская версия:
учат снеговика
снег не на века

женская версия:
участь снеговика
снег не на века

У вас по-прежнему возникает желание говорить о «размывании гендера»?

Сборник завершается стихами **Анны Голубковой**. Признаться, их я ждал с особым нетерпением. Во-первых, Анна – один из самых интересных с моей точки зрения прозаиков, во-вторых, вокруг ее стихов в последнее время было довольно много споров, но сами стихи наличествовали, кажется, только в разрозненных постах ЖЖ.

Первый же текст подборки поразил:

Секс по телефону,
Секс по Интернету.
А если мне нужно – дотронуться?!
Просто дотронуться
кончиками пальцев
до твоей теплой кожи...

Вот опять: причем тут первые две строки? Они абсолютно не нужны. А оставшиеся четыре – прекрасны. *Дотронуться* и еще раз *до-тро-нуть-ся* – потрясающая передача нежного жеста, чувствуется даже, что пальцы без маникюра, смешные такие, загорелые. И скользят по щеке тыльной стороной от мочки уха к расстегнутому воротнику, медленно. Что сразу приходит на память? Конечно, мандельштамовский «*Звук осторожный и глухой...*» Там тоже звук слышен, но неуловим, и меньше чем четырьмя строчками его не передашь. А телефон, Интернет... невозможность касания оставалась невозможностью касания и 1000 лет назад. Зачем плыть от вечного к преходящему?

Трогательно выглядят стихи про *поколение сидящих по своим углам...* с непременной ненавистью к «*уютному целлулоидному миру*» и жаждой революции, чтобы станцевать на обломках этого самого «*непередаваемо гнусного мира*»

ирландскую джигу
вальс-бостон
краковяк
польку-бабочку
аргентинское танго
самбу сертаки фламенко

Радикализм высказывания вполне подтвержден радикализмом действия – в аннотации к сборнику читаем: «*В целях борьбы с товарно-денежными отношениями книга распространяется бесплатно*», но, честное слово, это мы построили такой мир. Именно мы. Да, не по своей воле, но пирамиды тоже не волонтеры делали. И когда мир сметут, его сметут вместе с нами. Я искренне надеюсь, что жить в эту пору прекрасную...

Зато

* * *

В метро девочка
с выпученными глазами,
несколько раз подведенными
черной тушью.
Наверно, ей нравится
быть похожей на
медленную
глубоководную
рыбу,
еле ворочающую
плавниками
глубоко
под водой
там, где
нет солнца...

очень бы хотелось написать самому.

Есть в подборке Анны стихи, почти обреченные на популярность несколько более широкую, чем обеспечивают заявленные в выходных данных 300 экземпляров. Например, «Большие беззубые поэты», «Страдая от температуры» и в особенности – «Напиши мне настоящее письмо».

В завершение рецензии традиционно хочется пожелать продолжения праздника. Например, через год подержать в руках следующую книгу Бабищ. Увы. Зная даты написания отдельных стихов, начинающиеся с 199.., надежд на это не слишком много. С другой стороны, проекты ж могут расширяться. И вообще, всегда любопытно: что будет дальше. Это, пожалуй, интереснее всего.

Иван КОЗЛОВ

Три неожиданных фильма

Токио!

Время от времени возникает киномода на фильмы, в названиях которых упоминается город. Это традиция давняя, у всех на слуху: «Рим» и «Касабланка», или названия с «уточнениями»: «Рим – открытый город», «Берлин, Александерплатц». В этих фильмах городские архитектурные доминанты играют наравне с актерами, становясь естественными декорациями, а сам дух города диктует героям разнообразные эмоции и побуждает их к тем или иным поступкам.

Да и постсоветское кино отметилось в этом жанре названий, разумеется, столицами: «Москва» и «Питер FM».

Вторая особенность фильма состоит в том, что это сборник киноновелл. Эта тенденция также имеет давние корни, более или менее успешные классические образцы («Боккаччо-70», «Три шага в бреду») и недавние памятные ленты (дилогия «На десять минут старше», «11 сентября»). Ближайший аналог – и по коллективной режиссуре, и по заявленной в названии топонимике – фильм «Париж, я люблю тебя!», 18 пятиминутных историй.

Фильм «Токио!» сняли французы Мишель Гондри («Перемотка», «Вечное сияние чистого разума»), Лео Каракс («Любовники с Нового моста», «Дурная кровь») и менее известный у нас кореец Джун-хо Бон («Вторжение динозавра»).

Лео Каракс с его новеллой «Дерьмо» продолжает изучать всевозможных фриков. Главный персонаж этого фильма – городской сумасшедший, который живет в канализации и питается цветами (императорскими хризантемами) и деньгами. Каждое его появление на свет – в буквальном смысле – сопровождается криминальными скандалами и заканчивается бомбометанием в центре города. Монстра судят и приговаривают к смерти, его защищает столь же инфернальный адвокат, общающийся с подзащитным на непонятном и зловещем языке. Вполне постмодернистский пастиш, в котором можно вычитывать сколь угодно разные смыслы – от пробуждения империалистического прошлого Японии и антиамериканской риторики до экологии кошмаров коллективного бессознательного.

Мишель Гондри снял «Дизайн интерьеров» – о неприкаянной молодежи, пытающейся устроить свою судьбу в мегаполисе. Центральный персонаж фильма – девушка «без свойств», теряющая свою идентичность вплоть до превращения в предмет интерьера. Как ни странно, быть стулом – предназначение, которое ее устраивает. Новелла Гондри – ироничное размышление о возможности не плыть по общему течению социума с его требованием успеха, а найти свое место, вполне, кстати, достойное, в рамках, хотя бы, средневековой модели общества.

Третья новелла, «Сотрясающийся Токио» – рассказ о человеке с фобией замкнутого пространства и его любви к разносчице пиццы. Гротескный мир агорафоба может поспорить с сюрреалистической реальностью современного города, а сила эмоций – с механикой кнопочек роботов обслуги.

Общий вектор трех фильмов – как ни странно, отнюдь не Токио, играющий в фильме весьма второстепенную роль, а тема мутаций, столь любимая современным кинематографом.

Как бы там ни было, фильмы с упоминанием городов в названии привлекают зрителей.

В конце этого года, в продолжение проекта «Париж, я люблю тебя!», будет выпущен в прокат фильм про Нью-Йорк с таким же названием (в ленте должна быть новелла Андрея Звягинцева), а в ближайшие годы мы увидим «продолжения» проекта – фильмы про Шанхай, Иерусалим и Рио-де-Жанейро.

Похожим проектом занимаются и в России – готовится выход фильма «Москва, я люблю тебя!». Возможные красоты Читы или Пензы пока не нашли отражения в лентах отечественного или мирового кинематографа.

Ахиллес и черепаха

Очередной фильм любимого у нас Такеши Китано, такой же грустный и хулиганский, как и все остальные его ленты.

Это картина о художнике, который... пишет картины. Казалось бы, так и должно быть, все правильно, чем же еще заниматься художнику? Но вот в чем проблема – герой Китано (а он играет в своем фильме главную роль) больше ничего другого делать не хочет и не может.

Были фильмы об успешных ремесленниках, о гениях, которых не принимает общество, о трагических бездарностях. Китано снял ленту о моноидейном человеке, которого интересует только искусство.

Счастливое детство, вдруг прервавшееся финансовой катастрофой (передохли все шелковичные черви на фабрике отца), переносит героя в мир социальных тягот и лишений. Но он с маниакальным упорством продолжает писать картины, то механически воспроизводя классические образцы в ученический период, то пускаясь во все тяжкие авангарда.

Герой Китано – его зовут Матису – не гений и не бездарность. Просто, кроме искусства, для него ничего не существует. Оно и в иероглифах голых деревьев, и в реди-мейд объектах. Остается лишь жест, который, собственно, и превращает жизнь в искусство. Вот только зрителей художнику не хватает, что, впрочем, не мешает ему упорно продолжать – язык не поворачивается сказать «творить». Ну хорошо, продолжать заниматься живописью.

Вокруг него все время что-то происходит, люди помогают ему и обманывают его, умирают и рождаются, но жизнь проходит как бы по касательной. Все имеет значение лишь в том случае, если служит предметом для искусства, как, например, тело умершей дочери, окаменевшее лицо которой можно раскрасить, как холст, просто потому, что Матису сейчас вот так это увидел.

Все мы на что-то тратим свою жизнь (а что же с ней еще прикажете делать?). Матису вкладывает время «в одну кассу», швыряя туда год за годом, десятилетие за десятилетием. Прибыли никакой, семья разрушилась, признания нет. Но он пишет, прости господи, как птица поет. Выглядит это столь же смешно и трогательно, сколь и патологично.

Это похоже на попытки что-то поймать, зафиксировав. Акт совершен, но тут же надо ловить снова. И снова. Как Ахиллес, все-таки, не догонит черепаху, если мы будем разбивать их дороги на отрезки.

Остается добавить, что десятки картин Матису, мелькающих в фильме, написаны самим Китано специально для этой ленты. Интересно, куда они делись потом.

Вальс с Баширом

Израильский анимационный фильм Ари Фольмана производит странное впечатление.

Во-первых, мы еще не привыкли к такой фактуре для серьезных фильмов. Мультипликация в России – во всяком случае, для массового зрителя – по-прежнему остается «детским» жанром. Зрителя понемногу приучают к новому видению, стоит, хотя бы, вспомнить весьма популярные у знатоков фильмы Ричарда Линклейтера, например, экранизацию наркотриллера Филиппа Дика «Помутнение».

Во-вторых, перед нами фильм с «плавающим» жанром – психоделическое расследование амнезии превращается во второй части фильма в стилизацию под документальное кино. Наконец, в этом мультфильме есть и насилие, и порно (правда, опосредованное: эпизод, где офицер смотрит на ливанской вилле кассету), что усугубляет шок от этой ленты.

Фильм начинается со сцены в баре, где один из персонажей рассказывает герою (а нам его показывают) свой сон, в котором его преследуют 26 собак. Оказывается, ровно столько же псов он убил перед штурмом города, чтобы те своим лаем не выдали появление наступавших солдат.

У героя – свои проблемы, он обнаруживает, что не может вспомнить важные для него эпизоды ливанской компании. Он объезжает друзей, которые помогают ему восстановить утраченную реальность. Время от времени покуривая марихуану, герой вспомнит все. «Собака зарыта» в бездействии израильской армии во время расправы ливанских фалангистов над беженцами Сабры и Шатилы.

Не будет ни катарсиса, ни просветления. Внутренние раскопки обернутся рисованной документалистикой. И вот тут кроется самое интересное. Анимация превращает реальность в отстраненное художественное высказывание, уже сама по себе являясь своего рода актом терапии. И тут же сменяется реальными репортерскими кадрами, отрицающими возможность выхода из замкнутого круга совести.

Жанр для нас новый и непривычный. Будем привыкать. Но пока что трудно представить себе отечественный анимационный фильм, например, о чеченской войне.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 31 октября 2009 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.